

АРКАДИЙ
и
БОРИС
СТРУГАЦКИЕ
ОТЯГОЩЕННЫЕ
ЗЛОМ



АРКАДИЙ и БОРИС
СТРУГАЦКИЕ
ОТЯГОЩЕННЫЕ
ЗЛОМ

АРКАДИЙ и БОРИС
СТРУТАЦКИЕ

АРКАДИЙ *и* БОРИС СТРУГАЦКИЕ



ХРОМАЯ
СУДЬБА
•
ОТЯГОЩЕННЫЕ
ЗЛОМ



Москва 1997



ББК 84 Р7-4
С 87

ISBN 5-7516-0083-5

© А.Стругацкий, Б.Стругацкий, 1989, 1988

© «Текст», 1996

Хромая судьба

роман

Как пляшет огонек!
Сквозь запертые ставни
Осень рвется в дом.

Райдзан

Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этого романа не существует (и никогда не существовал) в действительности. Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь кто, не имеют никакого смысла. Точно так же вымышлены все упомянутые в этом романе учреждения, организации и заведения.

1. Феликс Сорокин. Пурга

В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и, вместо того чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев, и щетинистые пятна, и полосы кустарника на пустыре.

Москву заметало.

Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно пытавшееся здесь развернуться, и я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу — такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те...

Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться? — и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки «типпа» с заедающей от рождения буквой «з», и вставлена в нее незаконченная страница, и на странице читается: «...Башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он — мозг, дирижер этого оркестра смерти — жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах.

Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан — старик и молодой — растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг! — удары танковых пушек».

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев в ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма по моему поводу, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами мне все чаще приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне-то как раз и не следовало бы обо всем этом писать.

Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами.

Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека! Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Эта моя библиотека пятая и теперь уже последняя. От первой осталась у меня

только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью: П.В.Макаров. «Адъютант генерала Май-Маевского». По этой книге недавно снят был телевизионный сериал «Адъютант Его превосходительства», картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: «Дорогому товарищу А.Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского зам. Командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П.В.Макаров. 6.IX 1927 года, г. Ленинград». Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбило, и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года, до самого скандала со мной, преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше — решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре томика «Тарзана» на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; «Машина времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко «Всемирному следопыту» с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект «Вокруг света» за 1927 год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой.

В пятьдесят втором году по Вооруженным Силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжоу-гоского императора Пу И. И конечно же ни у кого не было ни

желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей груди агнцы, а где козлища, и приказано было списать ее целиком.

...Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и чумазые, как черти в аду, курсанты сустились, и летали над всем расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная «История Японии» на английском языке, «История сыска в эпоху Мэйдзи»... а-а, все равно, ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Паранайскому дому культуры, когда в пятьдесят пятом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой, честлюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в такой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

«На палубе «Коньэй-мару» было скользко, и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой».

(Тут ценно как можно чаще повторять «были», «был», «было». Стекла были разбиты, морда была перекошена...)

«Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. «Сэнтё, выходи», — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только

белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. «Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды», — приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. «Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен», — приказал майор».

(Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...)

«Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. «Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду», — приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. «Что он говорит?» — спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голоду. Он говорил на каком-то диалекте, вместо «ки» говорил «кси», вместо «цу» говорил «ту», понять его было очень трудно...»

Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего, это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и «Человек-тень» Эдогавы. Вот они стоят рядышком. Паранайскому дому культуры они были ни к чему. «Человек-тень» — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хираи Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Рампо — Эдгар Аллан По.

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обеими. Зря, ох, зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил что-то обещанное, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы... и уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я наконец намерен съездить на Банную.

Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стену горох. Ведь не гоняют же тебя, бумагома-

раку, говорил он, на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... не исполнил... подвел... разрушил... вообразил себя...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было мне купить вчера, а коньяку. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего Института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по несколько страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии... Никто у нас толком этого не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц — неважно, какие именно страницы и чего — тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще теревит нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны — ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь странным каким-то образом не на Банной, а наоборот, в Клубе. Я объ-

ясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, при чем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из «Зарубежного инвалида», куда отправился с Кап-Капычем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из «Инвалида» мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан «Псков». Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к «стенке», к самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать только натужно кряхтя — как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя мы встаем ото сна. Кряхтя обновляем покровы. Кряхтя устремляемся мыслью. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. «Упанишады», кажется. А может быть, и не совсем «Упанишады». Или не «Упанишады» вовсе.)

Кряхтя я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку — с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами: «Сэйнэн дзидай-но саку» — «Творения юношеских лет». В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, ВИПа — выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

«Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь...»

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

«— Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? — спросил вдруг шеф.

— Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы, или корейцы, или монголы. В общем, желтые...»

Да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

«Крепость пала, но гарнизон победил».

Так.

«— Видю тя! Видю тя! — взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху...»

А-а-а, это же я из Киплинга переводил, «Сталки и компания». Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего.

Кроличьи Яйца — Rabbit's Eggs. И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал «Rabbit's Balls». Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и «Случай в карауле». Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

«Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось...» — ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкралась к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном «Случае в карауле» было вот что:

«Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение уставов гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не ока-

зался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все — как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?»

До чего же странно все это перечитывать сегодня! Словно рассказывают тебе умиленно, как ты в три годика, не удержавшись, обделался при большом скоплении гостей. А ведь не три годика, а все двадцать восемь было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить напоказ печать любимца муз и Аполлона! И какое же это было горькое разочарование, когда «Суворовский натиск», дай бог ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что «Случай в карауле» не является типичным для нашей армии! Святые слова. За свою жизнь я простоял в караулах часов двести, и только однажды к шелесту листвы, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно: в кромешной тьме кто-то напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли «Стой! Стой, кто идет? Стой, стрелять буду!». Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке, убитого наповал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось...

Нет, не отдам я им мой «Случай в карауле» на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать: «Случай в карауле» или просто кресло с человеческой развалиной.

Я отложил «Творения юношеских лет» в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку был наклеен белый ярлык, а на ярлыке значилось: «Отрывки, неопубликованное, сюжеты, планы».

Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ «Нарцисс», написанный в пятьдесят седьмом году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа дю Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст... Упоминаются: Картсэ-Шануа, «полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет», а также Стэлла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа дю Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда «взгляд его был полон

желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви». И поскольку «воле Шуа дю Гюрзеля не мог противостоять даже сам Шуа дю Гюрзель», бедняга безумно влюбился сам в себя. Как Нарцисс. Дьявольски элегантный и аристократический рассказ. Там есть еще такое место: «К его счастью, после Нарцисса жил еще пастух Онан. Так что граф живет сам с собою, выводит себя в свет и кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную возбуждающую ревность к самому себе».

Ай-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои «Современные сказки» полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя Синяя Папка...

Нет, не дам я им моего «Нарцисса». Во-первых, потому, что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа «Товарищи офицеры» и пьесы «Равнение на середину!», не говоря уже о сценариях и армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантазмагии.

А дам-ка я им вот что. Пятьдесят восьмой год. «Корягины». «Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый, около 60 лет; Ирина Петровна, его жена, 45 лет; Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный офицер, около 30 лет. И еще семь действующих лиц — студенты, художники, слушатели военной академии. Действие происходит в Москве, в наши дни.

АНЯ: Слушай, можно задать тебе один вопрос?

НИКОЛАЙ: Попробуй.

АНЯ: А ты не обидишься?

НИКОЛАЙ: Смотря... Нет, не обижусь. Насчет жены?

АНЯ: Да. Почему ты с нею развелся?»

Очень хорошо. Антон Павлович. Константин Сергеевич, Владимир Иванович. Главное, не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим.

Отложивши за спину рукопись, я принялся запихивать и уминать в шкафчик все остальное, и тут в руку мне попала общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая от торчащих из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: «Вот где ты, голубушка!» — потому что это была тетрадь заветная, драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах.

Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии, карандаш не простой, а счастливый; все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом и никаким иным, хотя, признаться, был он довольно неудобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах и грифель при неосторожном нажиме проваливался внутрь.

Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналась эта тетрадка 30 марта почти ровно одиннадцать лет назад. Я писал тогда повесть «Железная семья» — о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо обморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хоть аванс не отобрали.

Я листал страницы с однообразными записями:

«2.04. Сдел. 5 стр. Всего 135 стр.

3.04. Сдел. 4 стр. Вечер. 1 стр. Всего 140...»

Это у меня верный признак: если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропасть. Впрочем, 7.04. странная запись: «Писал жалобу в правительствующий сенат». И еще: 19.04. «Омерзительный, как окурок в писсуаре». И 3.05: «Ничто так не взрослит, как предательство».

А вот и тот день, когда начал я придумывать современные сказки.

«21 мая 72 года. История про новосела-рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик защемил палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовой. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя».

Это еще не «Современные сказки», до «Современных сказок» было тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удалось, и сейчас я даже не помню, какой новосел? почему домовой? что за эликсир?

Или вот еще сюжет того же времени.

«28.10.72. Человек (фокусник), которого все принимали за пришельца из Космоса». В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом и разговоров: братья по разуму, Баальбекская веранда, Тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось: живет себе че-

ловек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают, участковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. «Это исчезающее яйцо, — говорит он, — не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения». Наконец, вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя расспрашивать, сколько церквей в его родном Забубенске, да кому там памятник стоит на главной площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается, и вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре... Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел: охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел.

Второго ноября записано: «Не работал, страдаю брюхом», а третьего — короткая запись «Вполсвиста».

С теплой грустью листал я свой рабочий дневник страницу за страницей. «Человек — это душонка, обремененная трупом. Эпиктет».

«Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий».

«Против кого дружите?»

«Ректальная литература».

«Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин».

«Гнал спирт из ногтей алкоголиков».

А это опять для «Современных сказок»:

«Кот Элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает «Кубические формы» Ю.Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Илича-Святича. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот Элегант о каком-то госте: «Этот Петровский-Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание».

Еще фразы:

«Путал сентименталов с симменталами».

«Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила, я у нее перекупила, стала чистить — три воши нашла, одна старая, еще по-аглички говорит...»

Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перенесся за стол. Это находит на меня иногда: беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинает мне казаться, что вот все это и есть моя настоящая жизнь — исчерпанные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, кто где стоит и куда смотрит, обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейше разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно-сухие: «Сделано 5 стр. Вечер. сдел. 3 стр.». А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и друзья-молчуны — все это сон, фата-моргана, мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет.

И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет, начало семьдесят третьего года.

«...Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней — кап-кап-кап — падает в каменное углубление Живая Вода. За год набирается всего одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду (по наперстку в год), они бессмертны. Но случайно узнаёт об этом шестой. А Живой Воды хватает только на пятерых. А шестой этот — брат пятого и школьный друг четвертого. А третий, женщина, Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго. Клубочек. А шестой вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных пятерых...»

Помнится, я не написал эту повесть потому, что запутался. Слишком сложной получилась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро: и слежка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закваске, и превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений...

В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передней звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл

дверь. Так и есть, явилась она, волшебница моя добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом, Клавочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и получилось мне сто девяносто шесть рублей прописью и одиннадцать копеек цифрами из Литконсультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда, она сперва отказалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей: «Приходите, Клавочка, почаще» — а она ответила: «А вы пишете побольше».

Кроме денег оставила Клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. «Господину Фериксу Арександровичу Сорокину». Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рю Таками, и писал по-русски.

«Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф.А.Сорокин! Есри вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской деригации писателей, вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу «Современные сказки». Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство «Хаякава» и журнал «Эс-Эф магазин», но наши издательства консервативны. Однако теперь благодаря тому, что Ваша книга пользуется успехом в США, наконец наше издательство стали обращать внимание на Вашу книгу и по-видимому иметь намерение издать Вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской и это — наша действительность. А как бы то ни было, то новое направление в нашем издательском мире так радостно и для Вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод Вашей книги в феврале будущего года. Но, к сожалению, я не понимаю некоторых слов и выражений (Вы найдете их в приложении). Я хотел бы просить Вас помощь. В началах каждой сказки процитировано фразы из произведения разных писателей. Если ничто Вам не помешает, прошу Вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить Вас и Вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если Вы сообщили мне теперешнее положение Вашей работы и жизни и послали Ваши фотографии. И я желаю читать

статьи и критики о Вашей литературе и узнать, где (в каких журналах, газетах и книгах) я смогу найти их. Мне хотелось бы просить Вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю Вас за помощь. С искренним уважением» (подпись иероглифами).

Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живейшей симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, боку-но отогибанаси-ва Ниппон-мадэ-мо ятто тассимасья...

Разнообразные чувства обуревали меня — вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки, и недоуменные риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: «Ты что же это, старик, а? Со всем уже, а?» Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл. И никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора «Товарищей офицеров» и, уж конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя «Современных сказок». И неоднократно мне даже присылали записки: «Не родственник ли Вы Сорокина, написавшего «Современные сказки»?»

Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумения Рю Таками позабавили меня, но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит.

А предстоит мне объяснять, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения: «хватить шилом патоки», «цвести, как майская роза», «иметь попсовый вид», «полные штаны удовольствия», «тяпнуть по маленькой» и «залить зенки»... Но все это было еще полбеды, и не так уж, в конце концов, трудно было объяснить японцу, что «банан» на жаргоне школьников означает «двойку как отметку, в скобках — оценку», а «забойный» означает всего-навсего «сногшибательный» в смысле «великолепный». А вот как быть с выражением «фиг тебе»? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плода фигового дерева, дабы не подумал Така-

ми, что слова «фиг тебе» означают «подношу тебе в подарок спелую, сладкую фигу». А во-вторых, фи́га, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента...

Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня.

Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы, оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его (выдернув из машинки незаконченную страницу сценария), вложил в конверт, заклеил и надписал адрес.

Теперь у меня было по крайней мере два повода выйти из дому.

Я оделся, кряхтя натянул на ноги башмаки на «молниях», сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут раздался телефонный звонок.

Сколько раз я твердил себе: не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки, как же мне было не взять трубку? И взял я трубку, и сейчас же раскаялся, ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов по прозвищу Шибзд.

У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутойярский звонит мне исключительно в те моменты, когда я ем суп — не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ, или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла за время телефонной беседы. Гарик Аганян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лени Баринова, то его специальность — звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет, а паче всего — рано утром, часов в семь, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: «Как дела?»

Леня Баринов по прозвищу Шибзд спросил меня низким подпольным голосом:

— Как дела?

— Собираюсь уходить, — сказал я сухо, но это был неверный ход.

— Куда? — сейчас же осведомился Ленья.

— Ленья, — сказал я теперь уже просительно. — Может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?

Да, Ленья звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух (до него всегда доходят слухи), будто всех писателей, которые не имели публикаций в течение последних двух лет, будут исключать. Я ничего не слышал по этому поводу? Нет, точно ничего не слышал? Может быть, слышал, но не обратил внимания? Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий... А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в Клуб? Как я думаю?

Я сказал, как я думаю.

— Ну, не груби, не груби, — примирительно попросил Ленья. — Ладно. А куда ты идешь?

Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на Банную. Лене все это было неинтересно.

— А потом куда? — спросил он.

Я сказал, что потом, наверное, зайду в Клуб.

— А зачем тебе сегодня в Клуб?

Я сказал, закипая, что у меня в Клубе дело: мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление.

— Опять грубишь, — произнес Ленья грустно. — Что вы все такие грубые? Кому ни позвонишь — хам. Ну, не хочешь по телефону говорить — не надо. В Клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет...

Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось, впору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и шапке, в тяжелых своих, жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и не заказным, ничего с ним не сделается, наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И Банная подождет, с нею тоже ничего не сделается до завтра... Ты посмотри, какая вьюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив — и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, всухомятку, с двумя сотнями рублей в кармане — тоже глупо и даже расточительно. А сбегаю-ка я вниз, благо все равно одет.

И я сбегал вниз, в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толются старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемежку

солидные портфеленосцы-кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяку и бутылку «Салюта».

И, поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая локтем к боку бутылки, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга была тому причиной, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья по разуму, не чужд, но мне стало ясно совершенно: раз уж суждено мне закончить этот день дома и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни Гоге Чачуа, ни Славке Крутойарскому, а закончу я этот день по-особенному — наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубному ресторану, а с тем, кого не знают нигде.

Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, расставим на плетеных салфетках бутылки и алюминиевые формочки с заливным мясом от гостиницы «Прогресс», мы включим по всей квартире весь свет — пусть будет светло! — и перетащим из кабинета торшер, мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем Синюю Папку и, когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки.

Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того — должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но, с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в Клубе, а если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой потянулась и выключила телефон.

И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему брэнчало за стеной неумелое пианино и доносилось через отдушину в потолке криканье и бормотанье магнитофонного барда.

И вот момент настал, но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты сорвавшаяся с цепи вьюга. А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А впрочем, мало

ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь.

Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволяю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... что? Вьюга? Леня Шибзд?

Заглавия на титульном листе у меня не было. Был эпиграф:

Я в третьем круге, там, где дождь струится...

Хотя проклятым людям, здесь живущим,
К прямому совершенству не прийти,
Их ждет полное бытие в грядущем...

И была наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей.

Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел, кроме меня, и видеть не мог никто во всем свете. Во всей Вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, вцепившись руками в край стола, вглядывался я в улицы, мокрые, серые и пустые, в палисадники, где тихо гибли от сырости яблони... покосившиеся заборы, и многие дома заколочены, под карнизами высыпала белесая плесень, вылиняли краски, и всем эти безраздельно владеет дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб... черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами, а людей на улицах нет, человек — незванный гость на этих улицах, и дождь его не жалует.

У меня их здесь десять тысяч человек в моем городе — дураков, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, множество чиновников, вояк, добропорядочных буржуа, полицейских, шпиков. Детей. И неопишное наслаждение доставляло мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами, в которые они у меня оказались замешаны...

Еще совсем недавно мне казалось, что я покончил с ними. Каждый у меня получил свое, каждому я сказал все,

что я о нем думаю. И наверное, именно эта определенность постепенно подступила мне к горлу, породила во мне душевное беспокойство и недовольство. Нужно мне было что-то еще. Еще какую-то картинку, последнюю, надо было мне нарисовать. Но я не знал — какую, и временами мне становилось тоскливо и страшно при мысли о том, что я так никогда этого не узнаю. Что ж, может быть, я никогда не закончу эту мою вещь, но я буду над нею думать, пока не впаду в маразм, а возможно, и после этого.

Клянешься ли ты и далее думать и придумывать про свой город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм, а может быть, и далее?

А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.

2. Банев. В кругу семьи и друзей

Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это никакой не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, это — жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала — просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве.

— Ты видишь? — сказала она высоким голосом. — Девчонка, соплячка... Дрянь! Ничего святого, что ни слово — то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно! Мерзавка, хамка...

Да, подумал Виктор, и с этой женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах... кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас

не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.

— Тебе, конечно, не до того, куда там, — говорила Лола. — Столичная жизнь, всякие балерины, артистки... Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы... Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил как хотел...

Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит, выставив колени... или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно... Виктор представил себе уютный вечерок: этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей, и вдруг входит Ирма... Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина...

— Ты сам должен понимать, — говорила Лола, — что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. — Она уже успокоилась, красные пятна прошли. — Я знаю, ты по своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь... Счастливой назвать себя я не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня — своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди...

Девочку придется забрать, подумал Виктор. Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный... Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки... Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру... Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой... Говорят, дети, которых воспитали отцы, — это самые лучшие дети. И потом она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но это все литература. А если все-таки честно? Если честно — боюсь. Потому что она

будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я ей сумею сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Поэтому и боюсь... Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому... Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себялюбиво, гнусенько. Честно.

— Что же ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься молчать?

— Нет-нет, я слушаю тебя, — поспешно сказал Виктор.

— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов...

А с нею тоже надо честно? — подумал Виктор. Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места, между двумя сигаретами.

— Пойми, — сказала Лола, — я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь, ты ни на что такое не годен. Но у тебя есть связи, знакомства, ты все-таки довольно известный человек — помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионаты, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке...

— Пансион, — сказал Виктор. — Да, конечно... Пансион. Сиротский приют... Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.

— А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...

— Слушай, Лола, — сказал Виктор. — Это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу.

— Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездельничаешь! Все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери...

О черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, нето-

ропливый, — дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.

— Ах, как ты мне надоел! — сказала Лола с неожиданной злостью. — Если бы ты знал, как ты мне надоел...

Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу. И ничего не стану обещать.

— Ни в чем на тебя нельзя положиться, — продолжала она. — Негодный муж, бездарный отец... модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел... Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец во сто раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне...

— Брось, Лола, — сказал Виктор морщась. — Ты все-таки, знаешь, как-то... Я отец, это верно, но ты же мать... Все у тебя кругом виноваты...

— Убирайся! — сказала она.

— Ну, вот что, — сказал Виктор. — Ссориться с тобой я не намерен. Буду думать. А ты...

Она теперь стояла, выпрямившись, и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару.

— А ты, — спокойно сказал он, — постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.

— До свидания, Лола, — сказал он. Лола не ответила.

На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем — свалка, там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не видел...И ни черта мы тогда не читали,

а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками-троечками: шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них — точно такие же, как мы: коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам... Времена новые наконец наступили, что ли? Нет, подумал он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже... А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я — отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да в конце концов и не почетно вовсе... А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного...

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего — в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по бульжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более — не слышно азартного гиканья и жеребьячьего ржания... Третий в черном вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно выгнали оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рявкнул:

— Отставить!

Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория — «мокрец» или «очкарик», как их звали за желтые круги вокруг глаз, — в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно-тяжело дышал, страдальчески задрал остатки бровей. По лысой голове стекала вода.

— Что случилось? — спросил Виктор.

Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились.

Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти... Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.

— Милый, — сказал Виктор. — Хватит.

— Мне показалось, что вы еще не очнулись, — сказал мальчик серьезно.

Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка — ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было.

— Кто же это меня? — задумчиво спросил он. — Надеюсь, не ты?

— Вы сами сможете идти, господин Банев? — сказал мальчик. — Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.

Виктор вспомнил, кто это.

— Я тебя знаю, — сказал он. — Ты — Бол-Кунац, приятель моей дочки.

— Да, — сказал мальчик.

— Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся.

Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.

— Я все-таки кого-нибудь позову, — сказал Бол-Кунац.

— Стоит ли?

— Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.

— В самом деле? — Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось. — Это тебе только кажется... Так. А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги... — Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими. — Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом... — Ему никак не удавалось перенести центр тяжести,

что-то мешало. Чем же это меня? — подумал он. Да ведь как ловко...

— Вы наступили себе на плащ, — сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше.

— Ага, — сказал он. — Значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо.

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.

— Куда же они все девались? — спросил Виктор.

Мальчик не ответил.

— Я тут один лежал? — спросил Виктор. — Вокруг никого больше не было?

— Давайте я вас провожу, — сказал Бол-Кунац. — Куда вам лучше идти? Домой?

— погоди, — сказал Виктор. — Ты видел, как они хотели схватить очкарика?

— Я видел, как вас ударили, — сказал Бол-Кунац.

— Кто?

— Я не разглядел. Он стоял спиной.

— А ты где был?

— Видите ли, я лежал тут за углом...

— Ничего не понимаю, — сказал Виктор. — Или у меня с головой что-то... Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там жибешь?

— Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.

— Очкарик?

Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.

— Н-нет, — ответил Бол-Кунац, подумав. — По-моему, они все были без очков.

— О господи, — сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку. — Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну знаешь, из лепрозория... Мокрецы...

— Не знаю, — сдержанно произнес Бол-Кунац. — По-моему, они все были вполне здоровы.

— Ну-ну! — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. — Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном...

— Это никакой не прокаженный! — с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац. — Он поздравее вас...

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло.

— Я не совсем понимаю, куда мы идем, — помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастности тоном. — Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.

Виктор все стоял, глядя на него сверху вниз. Два сапога пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина? Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина? Новые, знаете ли, времена... Чепуха, знаю я нынешних уголовников...

— Все правильно, — сказал он и двинулся дальше. — Мы идем в гостиницу, я там живу.

Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло — мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного.

— Должен тебе сказать, — самым доверительным тоном сообщил Виктор, — что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.

— Правда? — вежливо спросил Бол-Кунац. — И как же вы говорили?

— Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так: чиво?

Бол-Кунац пожал плечами.

— Вы хотите сказать, что это было бы лучше?

— Упаси бог! Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.

— Именно то, что наиболее естественно, — заметил Бол-Кунац, — менее всего подобает человеку.

Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.

— Естественное всегда примитивно, — продолжал между тем Бол-Кунац. — А человек — существо сложное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?

— Да, — сказал Виктор. — Конечно.

Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески

он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Четырнадцать, — рассеянно ответил Бол-Кунац.

— А-а...

Любой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был не из любящих мальчишек. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. Он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове...

Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей, и попадались прохожие, торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола, в блестящих плащах до пят. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания: «Президент — отец народа», «Легионер Свободы — верный сын Президента», «Армия — наша грозная слава»...

Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рывкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.

— А я думал, тебе лет восемьдесят, — сказал Виктор.

— Чиво-чиво? — противным голосом спросил Бол-Кунац, и Виктор облегченно засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурзмансора, Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера.

— У меня в детстве был приятель, — сказал Виктор, — который затеял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник.

— Да, знаю, — сказал Бол-Кунац.

— И ты не боишься?

— Нет.

Они подошли к отелю, и Виктор предложил:

— Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать,

а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами, в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить и безответственно болтать и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня; в предвкушении Юла Голема и доктора Р.Квадриги, и, может быть, что-нибудь случится — драка или сюжет вдруг заиграет, — и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом я поеду к Диане.

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда вперся?» — шипел швейцар. «У меня разговор с господином Баневым». — «Я тебе покажу разговор с господином Баневым, — шипел швейцар. — Шляешься по ресторанам...» — «У меня разговор с господином Баневым, — повторял Бол-Кунац. — Ресторан меня не интересует». — «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал... Вот я тебя отсюда вышвырну...» Виктор взял ключ и обернулся.

— Э... — сказал он. Он опять забыл имя швейцара. — Парнишка со мной, все в порядке.

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.

Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.

— Раздевайся, — сказал Виктор. — Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню, — сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.

— Валяй. — Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он отчетливо и громко произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую ку-

пальную простыню, вышел в комнату. «Вот тебе», — сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало.

— Благодарю вас, — сказал он. — Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...

— Простудишься, — сказал Виктор.

— Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и выгасил бутылку и стакан.

— Ирма мне много чего говорила, — ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.

— Она не передавала вам наше приглашение?

— Нет. Приглашений она мне не передавала. На, выпей.

— Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.

— Кто это — мы?

— Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.

— Гм, — сказал Виктор с сомнением. — Ты уверен, что это будет интересно всем?

— Я думаю — да.

— Все-таки я пишу не для гимназистов, — напомнил Виктор.

— Это неважно, — сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью. — Вы согласились бы?

Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь.

— Может быть, все-таки выпьешь? — спросил он. — Лучшее средство от простуды. Нет? Ну тогда выпью я. — Он осушил стакан. — Хорошо, я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг. Вы и я... Когда?

— Когда вам будет удобно. Лучше бы на этой неделе. Утром.

— Скажем, через два-три дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу, в одиннадцать. Это подойдет?

— Да, в пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить?

— Обязательно, — сказал Виктор. — О раутах, суарэ и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.

— Хорошо, я напомню, — сказал Бол-Кунац. — А те-

перь я, с вашего разрешения, пойду. До свидания, господин Банев.

— Постой, я тебя провожу, — сказал Виктор. — Как бы тебя этот швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары знаешь какой народ...

— Благодарю вас, не беспокойтесь, — возразил Бол-Кунац. — Это мой отец.

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло. Так, подумал он. Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверно, опытнее... Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности?.. Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад, чем это он меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от современного стула в «Жареном Пегасе» — это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета, я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским... Надо будет спросить Голема... Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться... И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить... «Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним лет, очень славная девочка, но мать у нее дура, и отец тоже дурак, так вот надо ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей...» Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю. Он посмотрел на часы. Хватит думать вообще. Хватит.

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. Брюхо растет, вот дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый жилистый человек... Даже и не брюхо, собственно, — благородное трудовое чрево от размеренной жизни и хорошей пищи, — а так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина Президента небось не такой. У господина Президента небось благородный, обтянутый черным лоснящийся дирижабль...

Повязывая галстук, он подвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но

мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина Президента, тоже не лишенное мужественности и элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин Президент изволили взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, и я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с танками — я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду... В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямоотой сообщили, что «балетрист В.Банев искренне поблагодарил господина Президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы».

Странно, как хорошо я все это помню. Виктор обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. Вот таким я и был тогда, на такого орать сам бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что бледнею я от злости, как Людовик XIV... Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, отчего я там у него бледнел... Ладно, не будем. Но для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть нормальный цвет некрасивому, но мужественному лицу, я должен напомнить вам, господин Банев, что, если бы вы не продемонстрировали господину Президенту свой платочек, вы бы благополучнейшим образом обретались сейчас в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре...

Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан.

— Может быть, конечно, и хулиганы, — сказал Виктор. — Только в мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. Запустить в него камнем — это еще туда-сюда, но хватать, тащить и вообще прикасаться... Мы их все боялись как заразы.

— Я же говорю вам: это генетическая болезнь, — сказал Голем. — Они абсолютно не заразные.

— Как же не заразные, — возразил Виктор, — когда от них бородавки, как от жабы! Это же все знают.

— От жаб не бывает бородавок, — благодушно сказал Голем. — От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — народ серый.

— Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...

— А вот приближается мой инспектор, — сказал Голем. Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Весь промок, хочу выпить.

— Опять от него тинной воняет, — с негодованием произнес доктор Р.Квадрига, пробудившись от алкогольного транса. — Вечно от него воняет тинной. Как в пруду. Ряска.

— Что вы пьете? — спросил Павор.

— Кто — мы? — осведомился Голем. — Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор — все по очереди.

— Срам! — с негодованием сказал доктор Р.Квадрига. — Чешуя! И головы.

— Двойной коньяк! — крикнул Павор официанту.

Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое лицо, многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо — это: сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах мечутся, ломаются... Все черное и блестящее, только черное и только блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни, только команды, и все повинуются... не обязательно вагоны, может быть, самолеты, аэродром, и потом никто не знает, где он был и откуда пришел... девочки падают навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное — например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только вряд ли, куда он его втянет, там у него все занято. Доктор Р.Квадрига — да, но зато ему не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами он согбен над столом, по утрам — над тазиком, а днем — от большой печени. И значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину.

— Нимфоман, — грустно сказал Павору доктор Р.Квадрига. — Русалкоман. И водоросли.

— Заткнитесь, доктор, — сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки.

— С кем это вы подрались? — спросил Виктор.

— изнасилован мокрецом, — произнес доктор Р.Квад-

рига, мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице.

— Пока ни с кем, — ответил Павор и пристально посмотрел на доктора, но Р.Квадрига этого не заметил.

Официант принес рюмку. Павор медленно выщедил коньяк и поднялся.

— Пойду-ка я умоюсь, — сказал он ровным голосом. — За городом грязь, весь в дерьме. — И он ушел, задевая по дороге стулья.

— Что-то происходит с моим инспектором, — произнес Голем. Он щелчком сбросил со стола мягую салфетку. — Что-то мировых масштабов. Вы случайно не знаете, что именно?

— Вам лучше знать, — сказал Виктор. — Он инспектирует вас, а не меня. И потом вы ведь все знаете. Кстати, Голем, откуда вы все знаете?

— Никто ничего не знает, — возразил Голем. — Некоторые догадываются. Очень немногие — кому хочется. Но нельзя спросить: откуда они догадываются? — это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом роде? Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы многое прощаем, не то что Баневу... Слушайте, господин беллетрист, у меня есть идея. Я выпью коньяку, а вы закончите с этим джином. Или вы уже готовы?

— Голем, — сказал Виктор, — вы знаете, что я железный человек?

— Я догадываюсь.

— А что из этого следует?

— Что вы боитесь заржаветь.

— Предположим, — сказал Виктор. — Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия.

— Ах вот в чем дело, — сказал Голем, наливая себе из графинчика. — Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме.

— Я не помню, — сказал вдруг ясным голосом доктор Р.Квадрига. — Я вам представлялся или нет, господа? Честь имею: Рем Квадрига, живописец, доктор гонорис кауза, почетный член... Тебя я помню, — сказал он Виктору. — Мы с тобой учились и еще что-то... А вот вы, простите...

— Меня зовут Юл Голем, — небрежно сказал Голем.

— Очень рад. Скульптор?

— Нет. Врач.

— Хирург?

— Я главный врач лепрозория, — терпеливо объяснил Голем.

— Ах да! — сказал доктор Р.Квадрига, по-лошадиному мотая головой. — Конечно. Простите меня, Юл... Только почему вы скрываете? Какой вы там врач? Вы же разводите мокрецов... Я вас представлю. Такие люди нам нужны... Простите, — сказал он неожиданно. — Я сейчас.

Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р.Квадрига обнял его за шею.

— Это все дожди, — сказал Голем. — Мы дышим водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. — Он серьезно и печально глядел на Виктора. — А дождь будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши... потом смоеет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать...

— Апокалипсис, — проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, Апокалипсис... Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

Если бы не эти сизые мешки под глазами, если бы не вислое студенистое брюхо, если бы этот величественный семитский нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им следовало бы присваивать не ниже тайного советника — для укрепления авторитета. И все равно, наверное, не помогло бы...

— За систематический пессимизм, — сказал Виктор вслух, — ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю: тайного советника Голема побить камнями в экзекуторской.

Голем хмыкнул.

— Я всего-лишь коллежский советник, — сообщил он. — И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков, и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее — это насилие над языком. Что бы вы сказали, прочитав у Шекспира: предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате? А вот идет мой инспектор. Как вы себя чувствуете, инспектор?

— Прекрасно, — сказал Павор, усаживаясь. — Официант, двойной коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо, — сообщил он. — Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется... О каких шкафах идет речь?

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном.

— Мы говорим о будущем, — сказал Голем.

— Какой смысл говорить о будущем? — возразил Павор. — О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я делаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.

— Другой умный человек сказал, — заметил Виктор, — что будущего вообще не бывает, есть только настоящее.

— Я не люблю классической философии, — сказал Павор. — Эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как Голему — пить. Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее.

— У меня всегда возникает странное ощущение, — сказал Голем, — когда при мне штатский человек рассуждает, как военный.

— Военные вообще не рассуждают, — возразил Павор. — У военных только рефлексy и немного эмоций.

— У большинства штатских тоже, — сказал Виктор, ощупывая свой затылок.

— Сейчас ни у кого нет времени рассуждать, — сказал Павор. — Ни у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями.

— К чертям изобретателей, — сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще не совсем ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни; особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь, над бульжными мостовыми — дождь, над островерхими крышами — дождь, и дождь заливает горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоег, но это случится еще очень не скоро... хотя, если подумать, сейчас ни о чем нельзя говорить, что это случится не скоро. Да, милые мои, давно оно прошло, то время, когда будущее было повторением настоящего и все перемены маячили где-то за далеки-

ми горизонтами. Голем прав, нет на свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разберешь, где что.

— Изнасилован мокрецом! — сказал Павор злорадно.

В дверях ресторана появился доктор Р.Квадрига. Несколько секунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту.

— Почему вы их называете мокрецами? — спросил Виктор. — Что они — мокрые у вас тут стали от дождей?

— А почему нет? — сказал Павор. — Как их, по-вашему, называть?

— Очкарики, — сказал Виктор. — Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками.

Доктор Р.Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый, вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным.

— Черт знает что, — брюзгливо сказал он еще издали. — Никогда со мной такого не бывало: нет входа! Куда ни ткнусь — везде сплошные окна... Кажется, я заставил вас ждать, господа. — Он упал в свое кресло и узрел Павора. — Опять он здесь, — сообщил он Голему доверительным шепотом. — Надеюсь, он вам не мешает... А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили.

Голем налил ему коньяку.

— Благодарю вас, — сказал Р.Квадрига, — но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов. Надо обсохнуть.

— Я вообще за все старое доброе, — объявил Виктор. — Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изменений. Я консерватор... Внимание! — сказал он громко. — Предлагается тост за консерватизм. Минуточку... — Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла. — Я консерватор, — сказал он. — И с каждым годом я становлюсь все консервативнее, но не потому, что старею, а потому, что ощущаю в этом потребность...

Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел минюги, а доктор Р.Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо.

— Люди обожают критиковать правительства за консерватизм, — продолжал Виктор. — Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить бога, чтобы он даровал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство...

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушивался, только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак.

— Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправданно раньше, но сейчас такая функция государства попросту необходима. Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать щупальца в наше время, обрубать эти щупальца, прижигать их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов... в гимназиях ввести повсеместно исключительно классическое образование. На высшие государственные посты — старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе шестидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...

— Что вы такое несете, Виктор, — сказал Павор укоризненно.

— Нет, отчего же, — сказал Голем. — Необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи.

— Я еще не кончил, господа!.. Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку... — «А чего я, собственно, стою?» — подумал Виктор и сел. — Ну, как вам это показалось? — спросил он Голема.

— Вы совершенно правы, — сказал Голем. — А то у нас нынче все радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм — вот наше спасение.

Виктор хлебнул джину и сказал горестно:

— Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс, они воображают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой... то есть не рукой, конечно, одной ногой нажимать на тормоз, а другой — на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоз — чтобы не потерять управление, а на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места.

— С вами трудно спорить, — вежливо сказал Павор.

— А вы не спорьте, — сказал Виктор. — Не надо спорить: в спорах рождается истина, пропади она пропадом. — Он нежно погладил желвак и добавил: — Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые — поборники прогресса, а я — не ученый. Я просто небезызвестный куплетист.

— Что это вы все время хватаетесь за затылок? — спросил Павор.

— Какая-то сволочь долбанула, — сказал Виктор. — Кастетом... Правильно я говорю, Голем? Кастетом?

— По-моему, кастетом, — сказал Голем. — А может быть, и кирпичом.

— Что вы такое говорите? — удивился Павор. — Каким кастетом? В этом захолустье?

— Вот видите, — наставительно сказал Виктор. — Прогресс!.. Давайте снова выпьем за консерватизм.

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробило девять, и в зале появилась известная пара — молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Молодой человек опять пришел с портфелем, портфель он поставил на свободное кресло рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выпрямились и стали молча глядеть в пространство.

Странная пара, подумал Виктор. Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым — нет. Долговязый мог бы двинуть меня кастетом, а молодой в очках — нет... Но я вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот... Какой-нибудь государственный банк, подвалы... цемент, бетон, сигнализация... долговязый набирает номер на диске, стальная башня поворачивается, открывает вход в сокровищницу, оба входят, долговязый набирает номер на другом диске, дверца сейфа откатывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты.

Доктор Р.Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку.

— Ночевать, — сказал он. — Ко мне. А?

Виктор немедленно налил ему джину. Р.Квадрига выпил, вытер под носом и продолжал:

— Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А?

— Фонтан — это у тебя хорошо придумано, — заметил Виктор уклончиво. — А еще что?

— Подвал, — печально сказал Р.Квадрига. — Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь — продам?

— Лучше подари, — предложил Виктор.

Р.Квадрига заморгал.

— Жалко, — сказал он.

— Скупердяй, — сказал Виктор с упреком. — Это у тебя с детства. Виллы ему жалко! Ну и подавись своей виллой.

— Ты меня не любишь, — горько констатировал доктор Р.Квадрига. — И никто.

— А господин Президент? — агрессивно спросил Виктор.

— «Президент — отец народа», — оживляясь, сказал Р.Квадрига. — Эскиз в золотых тонах... «Президент на позициях». Фрагмент картины «Президент на обстреливаемых позициях».

— А еще? — поинтересовался Виктор.

— «Президент с плащом», — сказал Р.Квадрига с готовностью. — Панно. Панорама.

Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Голема.

— Вот что, Павор, — говорил тот. — Отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных — жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня...

— Не хочу я на вас жаловаться, — отвечал Павор, прижимая руку к груди.

— Тогда не жалуйтесь.

— Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не можете посоветовать?

— Господа, — сказал Виктор. — Скучища. Я пойду.

На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тэдди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.

— Как всегда? — спросил он.

— Подожди, — сказал Виктор. — Что это я у тебя хотел спросить?.. Да! Как дела, Тэдди?

— Дождь, — коротко сказал Тэдди и налил ему очищенной.

— Проклятая погода стала у нас в городе, — сказал Виктор и оперся на стойку. — Что на твоём барометре?

Тэдди сунул руку под стойку и достал «погодник». Все

три шипа плотно прилегали к блестящему, словно отлакированному стволику.

— Без просвета, — сказал Тэдди, внимательно разглядывая «погодник». — Дьявольская выдумка. — Подумав, он добавил: — А вообще-то, бог его знает, может быть, он давно уже заломался — который год уже дождь, как проверишь?

— Можно съездить в Сахару, — предложил Виктор.

Тэдди ухмыльнулся.

— Смешно, — сказал он. — Господин этот ваш, Павор, смешное дело, двести крон предлагает за эту штуку.

— Спьяну, наверное, — сказал Виктор. — Зачем она ему...

— Я ему так и сказал. — Тэдди повертел «погодник», поднес его к правому глазу. — Не отдам, — заявил он решительно. — Пусть-ка сам поищет. — Он сунул «погодник» под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку, и сообщил: — Диана твоя приезжала.

— Давно? — небрежно спросил Виктор.

— Да часов в пять примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер все гуляет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне — член парламента... Ты за нее не опасешься?

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном, она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он раньше знал, она — самая красивая и что такой у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным, и она была самой красивой — у нее все было красивое. И всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно — когда на нее находило... Ох и пьян же я, подумал Виктор, и разит, наверное, от меня, как от Р.Квадриги. Он выгнул нижнюю губу и подышал себе под нос. Ничего не разобрать.

— Дороги мокрые, скользкие, — говорил Тэдди. — Туман... А потом, я тебе скажу, что Росшепер этот — наверняка бабник, старый козел.

— Росшепер — импотент, — возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.

— Это она тебе сказала?

— Брось, Тэдди, — сказал Виктор. — Перестань.

Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крякнув, присел на корточки, покопался под стойкой и вы-

ставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и все так же неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно-свежая струя нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду.

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очакстый молодой человек со своим долговязым спутником торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка — с местной минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости, а доктор Р.Квадрига, охватив нечесаную голову, монотонно бубнил: «Легион Свободы — опора Президента». Мозаика... В счастливый день именин Вашего Высокопревосходительства... «Президент — отец детей». Аллегорическая картина...

— Я пошел, — сказал Виктор.

— Жаль, — сказал Голем. — Впрочем, желаю удачи.

— Привет Росшеперу, — сказал Павор, подмигнув.

— «Член парламента Росшепер Нант», — оживился Р.Квадрига. — Портрет. Недорого. Поясной...

Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Р.Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я — Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю...» В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.

...Автобус остановился, и шофер сказал:

— Приехали.

— Санаторий? — спросил Виктор. Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в нем, и ничего не было видно.

— Санаторий, санаторий, — проворчал шофер, раскуривая сигарету.

Виктор подошел к двери и, спускаясь с подножки, сказал:

— Ну и туманище. Ничего не вижу.

— Разберетесь, — равнодушно пообещал шофер. Он сплонул в окошко. — Нашли место, где санаторий устраивать. Днем — туман, вечером — туман...

— Счастливого пути, — сказал Виктор.

Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор, с трудом перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ощупью двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотавшиеся за день под дождем «Братья по разуму». В тумане, словно сквозь вату, слышались обычные звуки — играла радиола, дребезжала посуда, кто-то хрипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины песчаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсовую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о мягкое и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумраке упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив свободную руку. Скоро он столкнулся с автомобилем, ощупью обошел его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча автомобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте, и долго не мог выбраться к смутному сиянию, означавшему вход в вестибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего тумана. Где-то рядом хихикали и отбивались.

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки, никто не бегал в пятнашки, тряся жирным задом, никто не спал в креслах. Повсюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Музыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена парламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, курица и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в комнату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ торчал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бутылку на телефонный столик. Послышались шаги, и он выглянул наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся рослый человек в черном вечернем костюме. На лестничной

площадке он остановился перед зеркалом, вскинул голову, поправил галстук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, слегка перекосясь набок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной из распахнутых дверей. Пижон, неуверенно подумал Виктор. Блевать ходил... Он поглядел налево. Там было темно.

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть?

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно жрали: на столах, покрытых замаранными скатертями, громоздились грязные тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, — и никого не было, если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с заливным.

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской Росшеперовой кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они играли в какую-то странную игру с апоплексически багровым господином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуды, и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали: господин полицмейстер без кителя, господин городской судья с глазами, вылезшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незнакомая юркая личность в сиреновом. Эти трое азартно сражались в детский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, прислоненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный вицмундир директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул вниз и отпрянул. Под ним стоял на четвереньках член парламента, кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчинганских водоемов Росшепер Нант.

— В лошадки хочу, — просительно проблеял Росшепер. — Давай в лошадки! Иго-го! — Он был невменяем.

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю палату. Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то полужнакомых мужчин и женщин, они стояли кругом и хлопали в ладоши, а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижоном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели щеки, волосы летали над плечами, и черт был ей не брат. Орлиный профиль очень старался соответствовать.

Странно, подумал Виктор. В чем дело?.. Что-то здесь было не так. Танцует он хорошо, он просто прекрасно танцует. Как учитель танцев. Не танцует, а показывает, как танцевать... Даже не как учитель, а как ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку... Нет, не то. Слушай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замечаешь? Виктор привычно напряг воображение. Актер танцует на сцене, все хорошо, все прекрасно, все идет как надо, без накладок, а дома несчастье... Нет, не обязательно несчастье, просто ждут, когда же он вернется, и он тоже ждет, когда дадут занавес и погасят огни... и даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий актера, который сам играет совсем уж постороннего человека... Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка. Манекен. Ни капли близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желанья... Говорят друг другу что-то, представить невозможно — что. Шерочка с машерочкой... Вы не вспотели? Да, читал, и даже два раза... Тут он увидел, что Диана, распахивая гостей, бежит к нему.

— Пошли плясать! — закричала она еще издали.

Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырвалась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтого лица и не находил, и это неприятно его беспокоило.

Она подбежала к нему, вцепилась в рукав и потащила в круг.

— Пошли, пошли! Здесь все свои — вся пьянь, рвань, дрянь... Покажи им как надо! Этот мальчишка ничего не умеет...

Она втащила его в круг, кто-то в толпе заорал: «Писателю Баневу ура!» Замолкшая на секунду радиолоа снова залаяла и залязгала, Диана прижалась к нему, потом отпрянула, от нее пахло духами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, кроме ее возбужденного прекрасного лица и летящих волос.

— Пляши! — крикнула она, и он стал плясать.

— Молодец, что приехал.

— Да. Да.

— Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо.

— Я буду пьяный.

— Сегодня ты мне нужен пьяный.

— Буду.

— Чтобы делать с тобой что хочу. Не ты со мной, а я.

— Да.

Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ни-

чего не видя и ни о чем не думая. Как во сне. Как в бою. Такая она была сейчас — как сон, как бой. Диана На Которую Нашло... Вокруг били в ладоши и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал: «О мой бедный пьяный народ!»

— Он импотент?

— Еще бы. Я его мою.

— И как?

— Абсолютно.

— О мой бедный пьяный народ! — стонал Росшепер.

— Пошли отсюда, — сказал Виктор.

Он поймал ее за руку и повел. Пьянь и рвань расступалась перед ними, воняя перегаром и чесноком, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем во всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему: «Потом, потом», и молокосос исчез. Держась за руки, они побежали по пустому коридору, затем Виктор, не выпуская ее руки, запер дверь изнутри, и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно, и комната была сначала широкая и просторная, а потом сделалась узкой и тесной, и тогда Виктор встал и распахнул окно, и черный сырой воздух залил его голые плечи и грудь. Он вернулся на кровать, нашарил в темноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом он лег, и слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается — гости пели хором.

— Это надолго? — спросил он.

— Что? — спросила Диана сонно.

— Долго они будут выть?

— Не знаю. Какое нам дело? — Она повернулась на бок и легла щекой на его плечо. — Холодно, — пожаловалась она.

Они повозилась, забираясь под одеяло.

— Не спи, — сказал он.

— Угу, — пробормотала она.

— Тебе хорошо?

— Угу.

— А если за ухо?

— Угу... Отстань, больно.

— Слушай, нельзя здесь пожить недельку?

— Можно.

— А где?

— Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине.

Он замолчал и лежал не шевелясь. Она уже спала. Так я и сделаю, подумал он. Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. А может быть, и вечером. Не станет же он пьянствовать каждый вечер, ему ведь лечиться надо... Пожить здесь денька три-четыре... пять-шесть... и поменьше пить, совсем не пить, и поработать... давно я не работал... Чтобы начать работать, надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось... Он вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы... Насчет Ирмы я напишу Роще-Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роще-Тусов, трус он. Должен мне девятьсот крон... Когда речь заходит о господине Президенте, все это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это действительно плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов... Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила, подумал он. Это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая, ни для логики неуязвимая, ни для эмоций... И Дианы не будет... Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном громко разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты.

— Не могу я их сажать, — сказал пьяный голос полицеймейстера. — Нет такого закона...

— Будет, — сказал голос Росшепера. — Я депутат или нет?

— А такой закон есть, чтобы под городом — рассадник заразы? — рявкнул бургомистр.

— Будет! — упрямо сказал Росшепер.

— Они не заразные, — проблеял фальцетом директор гимназии. — Я имею в виду, что в медицинском отношении...

— Эй, гимназия, — сказал Росшепер, — расстегнуться не забудь.

— А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли? — рявкнул бургомистр. — Чтобы разоряли, есть такой закон?

— Будет, я тебе говорю! — сказал Росшепер. — Я депутат или нет?

«Чем бы их садануть?» — подумал Виктор.

— Росшепер! — сказал полицеймейстер. — Ты мне друг? Я тебя, подлеца, на руках носил. Я тебя, подлеца, выбирал. А

теперь они шляются, заразы, по городу, и я ничего не могу. Закона нет, понимаешь?

— Будет, — сказал Росшепер. — Я тебе говорю — будет. В связи с заражением атмосферы...

— Нравственной! — вставил директор гимназии. — Нравственной и моральной.

— Что?.. В связи, говорю... с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрыбления прилежащих водоемов... заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности. Годится?

— Дай я тебя поцелую, — сказал полицмейстер.

— Молодец, — сказал бургомистр. — Голова. Дай я тоже...

— Ерунда, — сказал Росшепер. — Раз плюнуть... Споем? Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой.

— Правильно. По маленькой — и домой.

Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: «Эй, гимназия, застегнуться забыл!» — и под окном стало тихо. Виктор снова задремал, посмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок.

— Да, — сказала Диана хрипло. — Да, это я... — Она откашлялась. — Ничего, ничего, я слушаю... Все хорошо, он был, по-моему, доволен... Что?

Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и вдруг он почувствовал, как напряглось ее тело.

— Странно, — сказала она. — Хорошо, я сейчас посмотрю... Да... Хорошо, я ему скажу.

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник.

— Что случилось? — спросил Виктор сонно.

— Ничего. Спи, я сейчас вернусь.

Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает разбросанное белье, и лицо у нее было настолько серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась и вышла, на ходу одергивая платье. Росшеперу плохо, подумал он, прислушиваясь. Допился, старый мерин. В огромном здании было тихо, и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она пошла не направо, как он ожидал, а налево. Потом скрипнула дверь, и шаги стихли. Он повернулся на бок и попробовал снова заснуть, но сна не было. Он понял, что ждет Диану и что ему не заснуть, пока она не вернется. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил плясуна с орлиным профилем. Он-то здесь при

чем? — подумал Виктор. Артист, который играет другого артиста, который играет третьего... А, вот в чем дело: он вышел как раз оттуда, слева, куда ушла Диана. Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона. Сначала играл светского льва, а потом стал играть разболтанного хлыща... Виктор снова прислушался. На редкость тихо, все спят... храпит кто-то... Потом снова скрипнула дверь, и послышались приближающиеся шаги. Вошла Диана, лицо у нее было по-прежнему серьезное. Ничего не кончилось, происшествие продолжалось. Диана подошла к телефону и набрала номер.

— Его нет, — сказала она. — Нет-нет, он ушел... Я тоже... Ничего, ничего, что вы. Спокойной ночи.

Она положила трубку, постояла немного, глядя в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила:

- Ты когда заснул?
- Не знаю, трудно сказать.
- Но уже после меня?
- Да.

Она повернула к нему лицо.

— Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки...

— Нет, — сказал Виктор. — По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под окном, потом я заснул. Они уже собирались разъезжаться.

Она бросила сигарету за окно и поднялась.

— Одевайся, — сказала она.

Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаю и повинуюсь, подумал он. Хорошая вещь — повинование. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил:

- Поедем или пойдем?
- Что?.. Сначала пойдем, а там видно будет.
- Кто-нибудь пропал?
- Кажется.
- Росшепер?

Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сомнением. Она уже немного раскисалась, что позвала его. Она спрашивала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собою?

— Я готов, — сказал он.

Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком.

— Ну, ладно... тогда пошли. — Она не двигалась с места.
— Может быть, отломать у стула ножку? — предложил Виктор. — Или, скажем, у кровати...

Она встрепенулась.

— Нет. Ножка не годится. — Она выдвинула ящик стола и достала огромный черный пистолет. — На, — сказала она.

Виктор насторожился было, но это оказался спортивный малокалиберный пистолет. И к тому же без обоймы.

— Давай патроны, — сказал Виктор.

Она непонимающе посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала:

— Нет. Патроны не понадобятся. Пошли.

Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моросил хилый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллею между мокрыми кустами и включила фонарик. Дурацкое положение, подумал Виктор. Ужасно хочется спросить, в чем дело, а спросить нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Как-нибудь облически. Не спросить, а так — отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется? Неохота. Сегодня неохота. Буду бить рукояткой. Прямо между глаз... А как мой желвак? Желвак оказался на месте и побаливал. Странные, однако, обязанности у медсестры в этом санатории... А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С первого взгляда и все пять дней... Ну и сырость, надо было глотнуть перед уходом. Как только вернусь, сейчас же и глотну... А я молодец, подумал он. Никаких вопросов. Слушаю и повинуюсь.

Они обогнули крыло, пробрались через сирень и оказались перед оградой. Диана посветила. Одного железного прута в ограде не было.

— Виктор, — сказала она негромко. — Сейчас мы пойдем по тропинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги, и ни шагу в сторону. Понял?

— Понял, — покорно сказал Виктор. — Шаг влево, шаг вправо — стреляю.

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую минуту она повторяла: «Смотри под ноги... Держись за мной». Виктор послушно смотрел вниз, на

ноги Дианы, мелькающие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих — например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется вести назад, пугая разряженным пистолетом...

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба, — только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела, — ничего. Сырая тяжелая темнота, и в светлом круге — блестящие глаза и неестественно белый лоб.

— Сволочи, — сказала Диана перехваченным голосом. — Так я и знала. Зверье.

Она упала на колени, луч фонарика скользнул вдоль черного тела, и Виктор увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве, а Диана скомандовала: «Скорее, Виктор», и он присел рядом с нею на корточки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане — нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался развести их, но они подались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак! — крикнула Диана. — Пистолетом!» Он скрипнул зубами, ухватился поудобнее, напряг мускулы, так что захрустело в плечах, и челюсти разошлись. «Тащи», — хрипло сказал он. Нога исчезла, железные дуги снова сомкнулись и сжали ему пальцы. «Подержи фонарик», — сказала Диана. «Не могу, — виновато сказал Виктор. — Попался. Возьми у меня из кармана пистолет...» Диана, чертыхнувшись, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобами рукоятку, и он освободился.

— Подержи фонарик, — повторила она. — Я посмотрю, что с ногой.

— Кость раздроблена, — сказал из темноты напряженный голос. — Несите меня в санаторий и вызывайте машину.

— Правильно, — сказала Диана. — Сейчас. Виктор, давай фонарик, возьми его.

Она посветила. Человек сидел на прежнем месте, прислонившись к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. Очкарик, подумал Виктор. Мокрец. Как он сюда попал?

— Бери же, — нетерпеливо сказала Диана. — На спину.

— Сейчас, — отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу. — Сейчас... — Он сел возле мокреца на корточки и повернулся к нему спиной. — Обнимите меня за шею, — сказал он.

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и даже, казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор оскальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор, и, когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились.

— Куда его? — спросил Виктор, когда они подошли к подъезду.

— Пока в вестибюль, — ответила Диана.

— Не надо, — тем же напряженным голосом произнес мокрец. — Оставьте меня здесь.

— Здесь дождь, — возразил Виктор.

— Перестаньте болтать, — сказал мокрец. — Я останусь здесь.

Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам.

— Оставь его, — сказала Диана.

Виктор остановился.

— Какого черта, здесь же дождь, — сказал он.

— Не будьте дураком, — проговорил мокрец. — Оставьте... здесь...

Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль.

— Кретин, — тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечо.

— Болван, — сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав. — Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи его под дождь! Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь?

— С ума вы все посходили, — сердито и растерянно сказал Виктор.

Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящий ливень. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса.

— Положите меня, — сказал мокрец.

— В лужу? — язвительно и горько спросил Виктор.

— Это безразлично... Положите.

Виктор осторожно опустил его на керамические плитки крыльца, и мокрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньки. Ему очень хотелось уйти в вестибюль, но это было невозможно — оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. Сколько раз меня сегодня называли дураком? — подумал он, обтирая лицо ладонью. Ох, что-то много. И, кажется, доля истины в этом есть, поскольку дурак, он же болван, он же кретин и прочее — это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь, ей-богу, ему под дождем лучше! И глаза открыл, и не такие они у него страшные... Мокрец, подумал он. Да, пожалуй, скорее мокрец, чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капканы? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности. У них неприятности, и у меня из-за них неприятности...

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.

— Нога!.. Да. Раздроблена кость... Хорошо... Ладно... Скорее, мы ждем.

Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало с мокрецами нехорошо. Возня какая-то вокруг них. Что-то они стали всем мешать, даже директору гимназии. Даже Лоле, вспомнил он вдруг. Кажется, она тоже проходилась насчет них... Он поглядел на мокреца. Мокрец смотрел на него.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор. Мокрец молчал. — Вам что-нибудь нужно? — спросил Виктор, повышая голос. — Глоток джину?

— Не орите, — сказал мокрец. — Я слышу.

— Больно? — сочувственно спросил Виктор.

— А как вы думаете?

На редкость неприятный человек, подумал Виктор. Впрочем, бог с ним — встретились и разошлись. А ему больно...

— Ничего, — сказал он. — Потерпите еще несколько минут. Сейчас за вами приедут.

Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. Он стал похож на мертвого — плоский и неподвижный под проливным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчиком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мокрец тихонько зарычал, но Диана не произносила успокаивающих слов, какие обычно

говорят в таких случаях врачи. «Тебе помочь?» — спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила: «Подожди, не уходи».

— Я не уйду, — сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину.

— Ты еще понадобишься, — сказала Диана.

— Я не уйду, — повторил Виктор.

— Вообще-то ты можешь сбежать наверх. Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся.

— Ничего, — сказал Виктор. — Обойдусь.

Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его руку. Мокрец глухо сказал:

— Никаких уколов.

— Ладно, — сказал Голем и посмотрел на Виктора. — Берите его.

Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь.

— Давайте его сюда, — сказал он из темноты. — Нет, ногами вперед... Смелее... Придержите за плечи...

Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем сказал ему что-то непонятное, а может быть, выругался, что-то вроде: «Шесть углов на ше...» Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану:

— Вы им звонили?

— Нет, — ответила Диана. — Позвонить?

— Теперь уж не стоит, — сказал Голем, — а то они все законопатят. До свидания.

Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее.

— Пойдем, — сказала Диана.

— Поплывем, — сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.

В вестибюле Диана взяла его под руку.

— Ничего, — сказала она. — Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо.

— Течет, как с мокрой собаки, — сердито пожаловался Виктор. — И потом, может быть, ты объяснишь наконец, что здесь произошло?

Диана устало вздохнула.

— Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать.

— А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей?

— Бургомистр ставит, сволочь...

Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Он сумасшедший? — осведомился Виктор. — Это же уголовное дело. Или он действительно сумасшедший?

— Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город.

— Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... А что мокрецы им сделали?

— Надо же кого-то ненавидеть, — сказала Диана. — В одних местах ненавидят евреев, где-то еще — негров, а у нас — мокрецов.

Они остановились перед дверью. Диана повернула ключ, вошла и зажгла свет.

— Подожди, — сказал Виктор озираясь. — Куда ты меня привела?

— Это лаборатория, — ответила Диана. — Я сейчас...

Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и закрывает окна. Под окнами темнели лужи.

— А что он здесь делал ночью? — спросил Виктор.

— Где? — спросила Диана не оборачиваясь.

— На тропинке... Ты ведь знала, что он здесь?

— Ну, понимаешь, — сказала она, — в лепрозории плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят...

Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой.

— Гнусно все это, — сказал Виктор. — Ну и государство. Куда ни поедешь — везде какая-нибудь дрянь... Пошли, а то я замерз.

— Сейчас, — сказала Диана.

Она взяла со стула какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкафчик для спецодежды. Откуда здесь костюм? — подумал Виктор. Причем какой-то знакомый костюм...

— Ну вот, — сказала Диана. — Ты как хочешь, а я сейчас залезу в горячую ванну.

— Послушай, Диана, — сказал Виктор осторожно. — А кто был этот... с таким вот носом... желтолицый? С которым ты плясала...

Диана взяла его за руку.

— Видишь ли, — сказала она, помолчав, — это мой муж... Бывший муж.

3. Феликс Сорокин. Приключение

С вечера я не принял сустан, и не потому, что забыл, а как-то осенило меня, что сустан нельзя запивать спиртным. И поэтому с утра я чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя: умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал... Коньяку осталось больше половины, и, наверное, «Салюта» на стакан хватило бы, я поколебался, не опохмелиться ли мне, однако тут же, очень некстати, вспомнил, что главным признаком алкоголизма нынешние врачи полагают синдром похмелья, и похмеляться не стал. Боже мой, подумал я, как это хорошо, что нет надо мной Клары и что я вообще один!

И конечно же тут же позвонила Катька и конечно же озабоченно, однако не без яду, осведомилась: «Опять сосуды расширял?» И конечно же опять пришлось мне врать и оправдываться, тем более что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы: оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях плеснул себе с палец коньяку и слегка поправился.

А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине, солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года, прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился, и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины, мешающей сесть за сценарий.

Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье — все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер: если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подленькую увертливость.

Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую

придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для заправки на сегодня: «Это не по ним, это по их товарищам справа...» И сначала все пошло у меня лихо, бодровесело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в который уже раз перечитываю последний абзац: «А Комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно».

Я уже чувствовал, что застрял, застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше: все события я продумал на двадцать пять страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже: я испытывал что-то вроде мозговой тошноты.

Да, я отчетливо видел перед собой и лицо Комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий «тигр». Но все это было словно из папье-маше. Из картона и из раскрашенной фанеры. Как на сцене захудалого дома культуры.

И в который раз я подумал с унылым удовлетворением, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения — ну и что же? Правильно сказала моя дочь Катька: надо всегда оставаться в меньшинстве.

Я терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на Банной.

Торопливо, сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. «В движенье мельник должен жить...» — бормотал я, с кряхтеньем натягивая башмаки. «Вода примером служит нам!..» — спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу «Корягины». Я отгонял страх. «В крайнем случае отдам аванс!» — громко сказал я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то слишком уж часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки, а если говорить прямо — приступы отвращения к работе, которая меня кормит.

Стоя на лестничной площадке, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого, — похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем ищейка и не стал годен даже на дурацкие кудеса... А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал

по створкам одного и другого и прислушался. Снизу гулко доносились невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице.

На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настежь распахнута и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. «Ну вот, опять», — подумал я сразу же. И не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени, мутные глаза его то закатывались, то сходились к переносице, испачканный рот был вяло распушен.

Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые — соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек. Как-то десяток лет назад во время какой-то кампании он публично выступил против меня — вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда, потом он принес извинения, сказавши, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удастся собраться и посидеть. Но в остальном был он мне вообще-то никем, и вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз, я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в Клубе.

Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил.

— Феликс! — произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения. — Сам бог тебя ко мне послал, Феликс...

Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане: «М. Сокольники, Богородское шоссе, авт. 239, Институт, Мартинсон Иванъ Давыдович, мафусал-

лин». То есть мне предстояло сейчас перетянуться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого мафусаллина. («Хоть две-три капли... Мне не полагается, но все равно, пусть даст... Помру иначе...») Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один.

Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый упившийся поэт! Да еще выступавший против меня — пусть по ошибке, но ведь против, а не за! Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на Банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мною у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам — врач, добрый доктор Айболит с незакуренной «беломориной» в углу рта. И я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал.

Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый мафусаллин. Врач непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам: ма-фу-сал-лин. Однако врач ничего про мафусаллин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее.

У «неотложки» мы расстались. Несчастливого Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро.

Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе — это было как откровение, — что Костя никогда не был мне симпатичен: совершенно чужой, существоглупый и бесталанный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось все сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым мафусаллином, о котором даже врач ничего не знает... бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать — ведь Костя сам признал, что ему не полагается... и ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет, а

если институт и есть, то нет в нем никакого Мартинсона... что все это вообще Костин бред, полуобморочные видения, отравлен же человек, и отравлен сильно...

Увязая в не убранном дворниками снего, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рытвинах, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного мафусалина обратно через всю Москву в Бирюлево спасти совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта...

Слава богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народа в это время (около двух) немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление.

В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопытным пятном на образе — в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя.

Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, черт подери, стянуть плохо лежащее (бескорыстно, разумеется). Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою: практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть через угольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам — как отечественным, так и зарубежным — в лучшем случае являюсь нравственным калеккой.

Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на

Банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых... Во-вторых, достаточно вопервых. На обратном пути я возьму такси, деньги, слава богу, есть. Смотаюсь в Бирюлево, отдам этот мафусаллин и на том же такси напрямиком в Клуб...

Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусаллин. Оно вызывает ассоциации. Турция. Ближний Восток почему-то. Мафусаил. Библия?..

Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно:

— К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?

За окошечком пил из блюдца чай вприкуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражечку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь.

— Пропуск, — сказал он.

Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобней я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на Банную и затем в Клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и, очень довольный, повернулся и вышел.

Ах, не тут-то было!

— Не пускает, — утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами.

— Гнида старая, персидская, — объяснил я ему.

И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче

никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка давать, а так ты сквозь забор, через территорию и снова сквозь забор, и ты у винного.

Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная.

У входа в институт (широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком) трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль.

Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку.

Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй — я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы, и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право.

Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон, скорее всего, у себя в нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер нужника — тридцать семь.

Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а нужник номер тридцать семь оказался большой, очень

светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, где положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.

— Брось! — гремел он. — Какой закон? Напирай плотней! Оставь! При чем здесь Ломоносов — Лавуазье? Главное, напирай плотней!

Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул: — В местком, в местком!

Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой.

— Я сказал — в местком! — гаркнул он. — С трех до пяти! А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?

— Я от Кости Кудинова, — произнес я.

Он как бы споткнулся.

— От Кости? А в чем дело?

Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.

— А вы, собственно, кто такой? — спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел.

— Я его сосед.

— Это я понял, — сказал он нетерпеливо. — Кто вы такой, вот что я спрашиваю...

Я представился.

— Мне это имя ничего не говорит, — объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка, да и только.

Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться!

— А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не говорит, — сказал я. — Однако вот я через всю Москву к вам перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? — прервал он меня. — Хоть что-нибудь...

Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал.

— Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице?

Я повторил.

— Чтоб его там... — пробормотал он. — Действительно, другой конец Москвы... Ну ладно, идите. Я займусь.

Внутренне клокоча, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.

— Па-азвольте! — пророкотал он. — А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!

— А через дыру, — сказал я ядовито.

— Через какую дыру?

— А в заборе! — сказал я мстительно и вышел. Весь в белом.

Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль: а вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону, и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вохровцы попеременно с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс... Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком как подобает деловому, хмуро-озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами.

Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды. Несмотря на мое брюхо. Несмотря на мою перемежающуюся хромоту. Лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородское шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило наконец, и я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон, и я снова и снова проклинал Костю с его ботулизмом и давал себе клятву, что впредь никогда, и никто, и ни за что...

После всех этих передрыг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в Клуб! Только в Клуб! В наш ресторанный зал, обшитый коричневым деревом! В атмосферу прельстительных запахов! За мой столик под крахмальной скатертью! Под крылышко к Сашеньке... хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко к Алenuшке! Правильно, и сразу же отдать ей долг, и заказать селедочку, маслено поблескивающую, жирную, тающую, ломтиками,

посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре горячих рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и пузатый графинчик (нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня)... и еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, вперемешку с репчатым луком кольчиками, и по потребности минеральной... или пива?... нет, минеральной... А притушив первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в Клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины... Батюшки, главное чуть не забыл! Калач! Наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый... и парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе...

Однако второе просмаковать я не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро, двое долговязых с сумками «адидас» нависают надо мною, а в просвет между ними уставились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду я видел эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого пальто, а затем поезд начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду.

Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли второпях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки, — средних лет мужчина, очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какие были в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже: с одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а на выворот — серые в черную.

Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили

Катьке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте, страшно было подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на «Кропоткинской», и я заторопился к выходу.

Подслеповатая дежурная в дверях Клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет, и в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и по крайней мере пять лет прохожу в Клуб мимо нее, старой кочерыжки. Она не поверила ни единому моему слову, но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: «Свой, свой, Марья Трофимовна!» — и я был пропущен.

Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанный залу.

А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я додел солянку, к столику моему начала прибиваться обычная компания. Первым был Гарик Аганян, у которого через час начинался ихний семинар. Пить он поэтому не стал и заказал себе что-то пустяковое. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам, хромая, Жора Наумов. В одной руке он держал наполовину опорожненный графинчик, а в другой — пиалу с остатками столичного салата. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллинн. Видны на урожай на юге хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы.

Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых и о прошлогоднем нашествии филлоксеры; Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием «Дыры во Вселенной», а потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды.

Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и не вполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно: «Ничего, выплывет, дерьмо не тонет». Валя лениво проци-

тировал старую, им же самим о Косте придуманную хохму: «Вчера помощник председателя Иностранной комиссии товарищ Кудинов принял в Белом зале группу писателей Парагвая за группу писателей Уругвая...» А Жора Наумов, разглядывая мир сквозь рюмочку с водочкой, пересказал нам выступление студента Литинститута Кости Кудинова, в те поры румяного, задорного и непьющего, на общем собрании курса в памятном тысяча девятьсот сорок девятом. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил: «Ну, и что же ты?» — «А что я? — агрессивно произнес Жора. — Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда здоровенный, штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены, я тогда меж двух костылей болтался, как стариковская мошонка меж ног...» — «Но потом, — сказал Гарик, — когда ты без костылей заходил... и вообще, в благословенном пятьдесят девятом... он перед тобой, случайно, не извинялся?» — «А как же! Даже стихи мне посвятил. В «Литературке». На манер Пушкина, про лицейскую дружбу...» — «Пожалуй, будь себе татарин...» — ядовито предположил Валя. Мы поржали — не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на Банную.

Выяснилось, что все, кроме меня, на Банной уже побывали.

Дисциплинированный Гарик ходил туда сразу же, еще в октябре. Абсолютно ничего интересного. Довольно убогая машина, может быть, ЕС10-20, а может быть, и вовсе какой-нибудь «Минск» поплосше. Сидит тунеядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее загораются цифры, а засим можешь спокойно идти домой.

Жора, побывавший там под самый Новый год, возразил, что никакой машины там не было, а были там какие-то серые шкафы, тунеядец был не в черном халате, а в белом, и пахло там печеной картошкой. В общем, мура, обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жора Наумов, он же Гирш Наумович, то все очень просто: какой-то еврей из Академии наук охмурил нашего Теодор Михеича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пота.

В ответ на этот антисемитский выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеда, а беда (с таинственным видом сообщил он) состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора. Ученые — писате-

лям. В порядке помощи. Собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукописях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять и стиль править, она, дяденьки, подтекст на два метра под текстом будет углядывать. Она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему.

Я с уважением смотрел на Валю, ощущая в этой его вдохновенной белиберде флер некоего благородного, близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек, близкий к земле, сердито спросил, откуда это ему, Валентину, может быть известно.

— В глаза! — проникновенно произнес Валя. — В глаза надо человеку смотреть, дяденька! Не какой у него там халат, черный или белый, а в глаза! Я как в глаза ему посмотрел, так все и понял!

Гарик налил ему пива, и Валя продолжал. Робот-редактор, оказывается, был только зарею новой эры. Это машина громоздкая, стационарная, дорогая. А вот на подходе уже, если хотите знать, дяденьки, специальные пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены электронные цензурные ограничители. Представляете? Печатаешь ты двумя пальцами «жопа», а на бумаге выходит: «окорока», «пятая точка», «афедрон» и уж в самом крайнем случае «ж» с тремя точками.

И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов по прозвищу Ойло Союзное. Только что его не было, и вот он уже сидит между Гариком и Валею и наливает себе водки из моего графинчика. Глаза у него по обыкновению воспалены и бегают, и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится.

Как всегда, был он расpiraем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущены на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвастовством. Разговаривать стало невозможно, и мы с горя принялись слушать.

Для начала он сообщил, что по поводу Банной у него есть достовернейшие слухи прямо ОТТУДА. (Толстый указательный палец уставляется в потолок.) Валя правильно говорит: сейчас все дела переводят на машины, потому что коррупция всех заела и никому верить нельзя. Кадровую машину уже запустили, и она выдала указание снять всех директоров издательств и всех главных редакторов в Москве. Он, Петенька Скоробогатов, поэтому подождет подпи-

сывать два договора, которые ему давеча прислали. Почему? А потому что смысла нет. Все равно будут назначены новые директора и новые главные, и договоры будут пересматривать...

— Вы меня не перебивайте, потому что завтра я уезжаю в Замбию, мне еще прививки надо делать, а вы меня все время перебиваете... я вам насчет Банной хочу объяснить. Там машина — особенная. Она показывает талант. В абсолютных единицах. Сашка Толоконников знаете что учинил? Подсунул им в машину вместо своей галиматши пять страниц из «Тихого Дона»! Машину, конечно, к едрене фене зашкалило, на такой уровень, сами понимаете, никто у них там не рассчитывал, ну и теперь Сашку на ковер. За поступок, недостойный советского писателя... Да Сашка — что! Сама Ираида с одра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей — бац! — ноль целых хрен десятых! Так она их всех там зонтиком, зонтиком, что ты! Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся, на Банную, а там оцепление, конная милиция... Михеич трясется, сам не рад, что все это затеял, ему же тоже туда идти... Я ему говорю: «Михеич, говорю, ну что ты боишься? Хочешь, говорю, мои черновики?»

Да, вот он у нас какой, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное. Я выпил рюмку водки и стал размышлять о том, что ничего на свете придумать нельзя. Придуманно уже все. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад покойный Анатолий Ефимович однажды разоткровенничался и рассказал мне замысел своей новой комедии. Дело у него там происходило в писательском доме творчества, и вот какой-то изобретатель приволакивает туда свой фантастический аппарат... Как же он его называл? Ужасно неуклюже, помнится... Да! «Испитал»! «Измеритель писательского таланта». Писатели сначала по глупости своей радуются — наконец-то все узнают, что Иванов дерьмо, а я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной... В общем, машину они, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообща написали донос со всеми вытекающими последствиями... И как же был огорчен Анатолий Ефимович, когда я, извиняясь и оправдываясь, дал ему прочесть «Мензуру Зоили» Акутагавы, написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском в середине тридцатых! Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.

Я стукнул кулаком по столу и, глядя Петеньке Скоробогатову прямо в свинячьи его глазки, процитировал на весь зал:

— «С тех пор, как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной, — всем им теперь крышка!»

После чего встал и направился в туалет. Я был уже основательно набравшись. Я чувствовал это потому, что щеки у меня онемели и все время хотелось выпячивать нижнюю челюсть. Пожалуй, на сегодня было достаточно. Пора было возвращаться к пенатам, тем более что может зайти Катька с заказом, да и оставалось еще у пенатов не менее полбутылки коньяку. И было еще что-то там у пенатов, что я должен был сделать. Но вот что именно?

На обратном пути я вспомнил. Должно мне было позвонить и узнать, как там дела у Кости Кудинова, поэта, не загнулся ли он. А то я тут водку пью с Петенькой Скоробогатовым, с Ойлом моим Союзным, а Костя между тем, может быть, концы отдает. Несправедливо.

Трубку в Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил:

— Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс Александрович! Я только что от него, только-только вошла... Феликс Александрович, он очень, очень просит, чтобы вы к нему зашли!

— Обязательно, — сказал я. — А как он вообще?

— Да все обошлось, слава богу. Значит, вы зайдете?

— Вообще-то... — промямлил я. — Завтра, пожалуй, в это время.

— Нет! Нет, Феликс Александрович, он он просил — непременно сегодня! Он так мне и сказал: позвонит Феликс Александрович, и ты ему скажи, чтобы он ОБЯ-ЗА-ТЕЛЬ-НО сегодня! Что очень срочно, важно очень...

— Вообще-то ладно... — сказал я, и мы распрощались.

Никогда не надо делать добрые дела, думал я, возвращаясь в ресторан. Стоит только начать, и конца им не будет. Причем, обратите внимание, ни слова благодарности. Целый день мотаюсь по Москве из-за этого симулянта, одного страха сколько натерпелся, и вечером — пожалуйста, опять все сначала, тащись куда-то, как верблюд, и ни слова благодарности...

Гарика за столом уже не было, он ушел на свой семинар, а на его месте сидел Петенькин приятель. В лицо я его знаю, несколько раз мне его представляли, но как его зовут — я

не помню, и какое он имеет отношение к литературе — представления не имею. По-моему, он целыми днями торчит в нашей бильярдной, вот и все его отношения с советской литературой.

И еще, пока меня не было, на столе появилась большая бутылка пшеничной, а при ней, как это часто случалось и ранее, появился друг мой хороший из соседнего подъезда Слава Крутойярский, тощий, темнолицый, длинноволосый, обливаемый искусственным хромом и склонный к теоретизированию.

— Что такое критика? — спрашивал он Жору Наумова, уже снявшего и повесившего на спинку стула свой мохнатый пиджак. — При чем я говорю не об этой критике, что у нас сейчас, ты понимаешь меня?

Слава всегда через каждые две фразы осведомлялся у собеседника, понимает ли тот его.

Жора важно кивнул в знак того, что да, понимает; и задумчиво кивнул Валя Демченко; и я на всякий случай кивнул, усаживаясь; и дружно закивали Петенька и его приятель, да так энергично, что водка плеснулась у них из фужеров.

— Критика — это наука, — продолжал Слава, глядя на Жору в упор. — Как связать, соотносить истерику творца с потребностями общества, ты понимаешь меня? Выявить соотношение между тяжкими мучениями творца и повседневной жизнью социума — вот что есть задача критики. Ты меня понимаешь?

Мысль эта показалась социуму настолько здоровой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу. Чтобы записать. Ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось, подозвали Аленушку, выклянчили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика, и Петенька потребовал, чтобы Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел. Жора Наумов тоже не сумел и только все запутал, приплел какую-то квинтэссенцию, и, пока они галдели, перебивая друг друга, я подумал, что, как ни определяй критику, пользы от нее никакой, вреда же от нее не оберешься. Никакой не квинтэссенцией истерики творца занимается наша критика, а занимается она нивелировкой литературы с целью удобства сводить с писателями личные и вкусовые счета. Вот так.

Я выпил и закусил ломтиком остывшего бифштекса. Между тем терминологический спор о критике естественным образом переключился на гонорарную политику.

Сам я на гонорарную политику смотрю просто: чем

больше, тем лучше, все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломаного не стоят. Вот это Ойло Союзное орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как Лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить: хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, это никуда не годится, и нельзя маленьких обижать. И будет он все равно благополучно издаваться, потому что любой детской редакции занаряжено, скажем, тридцать процентов издательской площади под литературу о школьниках, а достанет ли на эти тридцать процентов хороших писателей — это уже вопрос особый. Подразумевается, что достанет. А вот Вале Демченко плати двести, плати сто, все равно он будет писать хорошо, не станет он писать хуже оттого, что ему платят хуже, хотя никакие площади под его критический урбанизм не занаряжены, а рецензенты кидаются на него, как собаки...

Тут меня тронули за плечо, и, обернувшись, я увидел Лидию Николаевну, дежурного администратора. Сухо она сообщила мне, что ищет меня уже целый час, что звонил из больницы Константин Ильич Кудинов и просил меня немедленно к нему приехать. Не знаю, что ей там наплел этот симулянт, но она была дьявольски неприветлива. Помоему, она забрала себе в голову, будто я обещался быть у страждущего друга, а сам ударился в загул, предавши все и вся. Опять виноват. В чем, спрашивается?

Я отдал Славке деньги, чтобы он расплатился за меня, и, твердо шагая, направился по ковровой дорожке в вестибюль.

Ярко освещенный зал наш был уже полон, но одного свободного места не оставалось, кое-где столики были сдвинуты под большую компанию, табачный дым в несколько слоев стлался над головами, сверкала прозрачная влага во вздымаемых чарах, стучал множественно металл о стекло и фаянс, раздавались заверения в дружбе, и уже в дальнем углу у фальшиво раскаленного камина некто седовласый в роскошно-мохнатой водолазке возглашал стихи диаконским рыком, а в другом углу компания лейб-гвардейцев стояла навьгтяжку, поднявши наполненные фужеры на уровень груди, — выслушивала тост, выражающий самые крайние упования, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре Клуба, по опустошении фужеров разом ахнуть их об пол и придавить осколки каблуком; и уже двигался от

столика к столику приветливо смеющийся, не очень известный читателям, но зато здесь почти всеми любимый Шура Пеклеванный, хлопывал сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял приглашения подсесть, потому что двигался к столику вполне определенному: Шура всегда абсолютно точно знал, к какому столику надлежит подсесть сегодня; и уже с шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресолей по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов, у которых только что кончилось заседание, растекалась, спустившись, между столиками, здоровалась, подсаживалась, прощалась; а посреди этого коловращения, в самом центре зала, гопя молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека в тубетейке и стандартном пиджаке, усеянном по лацканам напонятыми значками... Прекрасная жизнь была ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой...

Мне повезло — я сразу же схватил такси, и через полчаса мы с водителем отыскиали в Бирюлеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестивши ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой с тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в остальном выглядел неплохо. Конечно, румяным крепышом я бы его сейчас не назвал, морда у него была для этого слишком бледновата, но и от умирающего в нем теперь ничего уже не осталось, хотя подбородок и был измазан — манной кашей.

Палата оказалась на шесть коек, и у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли на хоккей.

Увидев меня, Костя живо вскочил и так рьяно ко мне бросился, что я было ужаснулся: уж не хочет ли он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей. Он пожимал и тряс мою руку и говорил при этом как заведенный, почему-то все оглядываясь на тело с капельницей. Он не давал мне сказать ни слова. Он рассказывал мне, как его сначала рвало, а потом несло, как ему промывали сначала желудок, а потом кишечник, как его кололи, как его массировали и как ему давали кислород. И все время при этом он оглядывался и, наступая мне на ноги, оттеснял меня к двери.

— Да что ты пихаешься? — сказал я наконец уже в коридоре.

— Пойдем присядем, — пригласил он. — Вон там скамеечка под пальмой.

Мы сели. В коридоре было совершенно пусто, только вдали дежурная сестра тихонько звякала пузырьками, а Костя все еще продолжал говорить, хотя уже и с заметно меньшим возбуждением. Его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от неистового чувства благодарности и подумал, помнится: «Надо же, животное — а ведь чувствует!» И сейчас, ворвавшись в первую же паузу, я благодушно осведомился:

— Что, помогло, значит?

— Что именно? — спросил он быстро.

— Ну, этот твой... мафусаил...

— Да! — сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку. — Да! Если бы не это... А тут, понимаешь, сразу промывание желудка, под давлением, представляешь? Клизму такую засадили, вредители! Знаешь, сегодня я только понял, какая это страшная пытка у инквизиторов была, когда сзади воду закачивают... Верить, у меня глаза на лоб полезли, впору к окулисту проситься!..

И он пустился по второму разу: как его рвало и как его несло, и так далее. При этом он острил — иногда довольно удачно, вообще пытался все изобразить в юмористическом плане, но чувствовалась за этим юмором нездоровая нагута, и очень скоро мне пришло в голову, что никакая это не эйфория от благодарности, а бурлит это в нем, наверное, и изливается сейчас наружу пережитый ужас смерти, и я совсем уже было вознамерился успокоительно похлопать его по колену, как вдруг он оборвал себя и спросил почти шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как? — Я растерялся. — Как я смотрю?

Взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой.

— Нет, никак... — уклонился он и снова стал смотреть на меня. — А ты, я вижу, вдетый сегодня, а? Поддал, а?

— Было дело, — сказал я и, не удержавшись, добавил: — Если бы не ты, я и сейчас бы там сидел с удовольствием...

— Ну, ничего! — произнес он, делая легкомысленный жест. — Завтра-послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще посидим. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Мне прислали с Кавказа...

И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали с Кавказа. Рассказывать про коньячок — занятие столь же бессмысленное и противоестественное, как описывать словами красоту музыки. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно. Эти стены белые, этот запах — то ли карболки, то ли смерти, белый халат сестры, маячащий вдаль, опустошенные капельницы, выставленные у дверей палат... больница, тоска, полоса отчуждения... Да какого черта я здесь сижу? Не я же отравился, в конце концов!

— Слушай, — сказал я решительно. — Ты меня извини, но у меня, понимаешь, дочка должна прийти сегодня...

— Да-да, конечно! — воскликнул он. — Иди! Спасибо тебе большое, что пришел...

Он встал. Я тоже встал — в полной уже растерянности. Некоторое время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я недоумевал, потому что никак не мог понять: неужели он с такой настойчивостью, через жену, через администратора, требовал меня сюда только для того, чтобы дважды рассказать во всех подробностях, как ему промывали желудок и кишечник? Костя, казалось мне, тоже почему-то пришел в смятение. Я видел это по его глазам. И вдруг он спросил — опять же полушепотом:

— Ты чего?

Это был совершенно непонятный вопрос. И я сказал осторожно:

— Да нет, ничего. Сейчас пойду.

— Ну, иди, — пробормотал Костя. — Спасибо тебе...

Он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно, словно ждал от меня чего-то.

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спросил я.

— Насчет чего? — спросил Костя совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего! — сказал я, не в силах далее сдерживать раздражение. — Я не знаю, зачем ты меня выдернул из Клуба. Мне сказали: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно... Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто сказал? — спросил Костя, и глаза его снова заматались.

— Жена твоя сказала... Лидия Николаевна сказала...

И тут выяснилось, что его не так поняли. И жена его не так поняла, и Лидия Николаевна поняла его совсем не так, и вовсе он не требовал, чтобы сегодня же, немедленно, и про срочное дело он никому ничего не говорил... Он явно врал, это было видно невооруженным глазом. Но зачем он

врал и что, собственно, было на самом деле, оставалось мне решительно непонятным.

— Ладно, — сказал я, махнув рукой. — Не поняли так не поняли. Выздоровел, и слава богу. А я, пожалуй, пойду.

Я двинулся к выходу, а он семенил рядом, то хватая меня за руку, то сжимая мне плечо, и все благодарил, и все извинялся, и все заглядывал мне в глаза, а на лестничной площадке рядом с телефоном-автоматом произошло нечто совсем уже несообразное. Он вдруг прервал свою бессвязицу, судорожно вцепился мне в грудь свитера, прижал меня спиной к стене и брызгаясь прошипел мне в лицо:

— Ты запомни, Сорокин! Не было ничего, понял?

Это было так неожиданно и даже страшно, что я испытал приступ давешней паники, когда удирал от этого вурдалака, Ивана Давыдовича Мартинсона.

— Постой, да ты что? — пробормотал я, пытаясь оторвать от себя его руки, неожиданно цепкие и словно бы закаменевшие.. — Да пошел ты к черту, обалдел, что ли? — заорал я в полный голос, оторвал наконец от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал: — Да опомнись ты, чучело! Чего тебя разбирает?

Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу, а в случае чего могу и вовсе скрутить, так что приступ первой паники у меня миновал и остался лишь брезгливый страх, не за шкуру свою страх, а страх неловкости, страх дурацкого положения — не дай бог, кто-нибудь увидит, как мы топчемся по кафелю, силло дыша друг другу в лицо.

Некоторое время он еще трясся и брызгался, повторяя: «Не было ничего, понял? Не было!..» — а потом вдруг обмяк и принялся плаксиво объяснять, что накладка вышла, институт секретный, про него ни я, ни даже он сам ведать не должны, не нашего это ума дело, что могут выйти большие неприятности, что ему уже сделали замечание, и если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну даже только...

Я отпустил его. Он растирал, морщась, покрасневшие свои запястья и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами, и ясно было, что он крайне деморализован и опять все врет — от первого до последнего слова. И опять я не понимал, зачем он врет и что было на самом деле. Понимал только, что какая-то накладка и в самом деле произошла: там, у лифта, Костя, ужаснувшись смерти, и в самом деле сболтнул мне что-то неположенное... Хотя откуда ему, рифмоплету Кудинову, специалисту по юбилейным

и праздничным виршам, знать что-либо неположенное? Разве что страшный Мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит наркотики, а Костя их тайно распространяет? Нет, ничего я к нему сейчас не испытывал, кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше от.

— Ну, хорошо, хорошо, — произнес я как можно спокойнее. — Ну чего ты дергаешься? Ну какое мне дело до всего этого, сам подумай... Ну не было так не было. Что я — спорю?

Он начал свои объяснения по третьему разу, а я отодвинул его с дороги без всякой жалости и пошел спускаться по лестнице с наивозможной для меня поспешностью. Ноги у меня тряслись, и в правом колене стреляло, и все время хотелось сплунуть. И я не обернулся, когда сверху вслед мне донесся шипящий крик: «О себе подумай! Сорокин! Серьезно тебе говорю!» Если отвлечься от интонации, это был дельный совет. И подумать только, если бы эта скотина Леня Шибзд не позвонил мне, ничего бы этого не было... Да, руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня, ничего не скажешь... Нет, ребята, домой, домой, к пенатам, к коньячку моему и к Синей Папке!

В гардеробе, затягивая молнию на куртке, я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидело на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот самый человек из метро — рыжая бородка, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш, — сидел себе одиноко на длинной белой скамье в почти пустом уже вестибюле больницы в Бирюлеве и читал какую-то книжку.

4. Банев. Вундеркинды

— Давно я вас не видел в городе, — сказал Павор насморочным голосом.

— Не так уж давно, — возразил Виктор. — Всего два дня.

— Можно с вами посидеть, или вы хотите побыть вдвоем? — спросил Павор.

— Садитесь, — вежливо сказала Диана.

Павор сел напротив нее и крикнул: «Официант, двойной коньяк!» Смеркалось, швейцар задерживал шторы на окнах. Виктор включил торшер.

— Я вами восхищаюсь, — обратился Павор к Диане. — Жить в таком климате и сохранить прекрасный цвет

лица... — Он чихнул. — Извините. Эти дожди меня доконают... Как работаете? — спросил он у Виктора.

— Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно, — все время хочется выпить.

— Что за скандал вы учинили у полицмейстера? — спросил Павор.

— А, чепуха, — сказал Виктор. — Искал справедливости.

— А что случилось?

— Скотина бургомистр охотился на мокрецов с капканами. Один попался, повредил ногу. Я взял этот капкан, пошел в полицию и потребовал расследования.

— Так, — сказал Павор. — А дальше?

— В этом городе странные законы. Поскольку заявления от потерпевшего не поступило, считается, что преступления не было, а был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего, не повинен. Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, что это угроза, на чем мы и расстались.

— А где все это случилось? — спросил Павор.

— Около санатория.

— Около санатория? Что это мокрецу понадобилось около санатория?

— По-моему, это никого не касается, — резко сказала Диана.

— Конечно, — сказал Павор. — Я просто удивился... — Он сморщился, зажмурил глаза и со звоном чихнул. — Фу, черт, — сказал он. — Прошу прощения.

Он полез в карман и выгашил большой носовой платок. Что-то со стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял его и протянул Павору.

— Зачем вы это таскаете? — спросил он.

Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет покрасневшими глазами.

— Это все из-за вас, — произнес он сдавленным голосом и высморкался. — Это вы меня напугали своим рассказом... А между прочим, говорят, что здесь действует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли хулиганы. А мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют.

— Вас часто бьют? — спросила Диана.

Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу, и курила, опустив глаза. Бедный Павор, подумал Виктор. Сейчас тебя отошьют... Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях.

— Меня? — сказал Павор. — Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? Это надо поправить. Официант, еще двойной коньяк!.. Да, так на следующий день я зашел в слесарные мастерские, и мне там в два счета смастерили эту штучку. — Он с довольным видом осмотрел кастет. — Хорошая штучка, даже Голему понравилась...

— Вас так и не пустили в лепрозорий? — спросил Виктор.

— Нет. Не пустили и, надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. Я написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю отчет. На какую сумму лепрозорий получил в минувшем году подштанников. Отдельно мужских, отдельно женских. Дьявольски увлекательно.

— Напишите, что у них не хватает медикаментов, — посоветовал Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала:

— Лучше бросьте вашу писанину, а выпейте стакан горячего вина и ложитесь в постель.

— Намек понял, — сказал Павор со вздохом. — Придется идти... Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора. — Навестили бы как-нибудь.

— Двести двадцать третий, — сказал Виктор. — Обязательно.

— До свидания, — сказал Павор, поднимаясь. — Желаю приятно провести вечер.

Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного вина и направился к выходу.

— Язык у тебя длинный, — сказала Диана.

— Да, — согласился Виктор. — Виновен. Понимаешь, он мне чем-то нравится.

— А мне — нет, — сказала Диана.

— И доктору Р. Квадриге тоже — нет. Интересно, почему?

— Морда у него мерзкая, — ответила Диана. — Белокуро-рая бестия. Знаю я эту породу. Настоящие мужчины. Без чести, без совести, повелители дураков.

— Вот тебе и на, — удивился Виктор. — А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться.

— Теперь нет мужчин, — возразила Диана. — Теперь либо фашисты, либо бабы.

— А я? — осведомился Виктор с интересом.

— Ты? Ты слишком любишь маринованные миноги. И одновременно — справедливость.

— Правильно. Но, по-моему, это хорошо.

— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выбирать, ты

бы выбрал миноги, вот что плохо. Тебе повезло, что у тебя талант.

— Что это ты такая злая сегодня? — спросил Виктор.

— А я вообще злая. У тебя — талант, у меня — злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня — злость, то останутся два совокупляющихся нуля.

— Нуль нулю рознь, — заметил Виктор. — Из тебя даже нуль получился бы неплохой — стройный, прекрасно сложенный нуль. И кроме того, если у тебя отобрать твою злость, ты станешь доброй, что тоже в общем неплохо...

— Если у меня отобрать злость, я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой.

— Забавно, — сказал Виктор. — Обычно женщины не любят рассуждать. Но уж когда они начинают, то становятся удивительно категоричными. Откуда ты, собственно, взяла, что у тебя только злость и никакой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже есть, только она незаметна за злостью. В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность...

В зал ввалилась компания молодых людей, и сразу стало шумно. Молодые люди вели себя непринужденно: они обругали официанта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и принялись громко разговаривать и хохотать во все горло. Здоровенный губастый дылда с румяными щеками, прищелкивая на ходу пальцами и пританцовывая, направился к стойке. Тэдди ему что-то подал, он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно оглядывая пустой зал. «Привет Диане! — заорал он. — Как жизнь?» Диана равнодушно улыбнулась ему.

— Что это за диво? — спросил Виктор.

— Некий Фламин Ювента, — ответила Диана. — Племянничек полицмейстера.

— Где-то я его видел, — сказал Виктор.

— Да ну его к черту, — нетерпеливо сказала Диана. — Все люди — медузы, и ничего в них такого не намешано. Попадают изредка настоящие, у которых есть что-нибудь свое — доброта, талант, злость... отними у них это, и ничего не останется, станут медузами, как все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристрастием к миногам и справедливости? Чепуха! У тебя талант, у тебя книги, у тебя известность, а в остальном ты такая же дремучая рохля, как все.

— То, что ты говоришь, — объявил Виктор, — до такой

степени неправильно, что я даже не обижаюсь. Но ты продолжай, у тебя очень интересно меняется лицо, когда ты говоришь. — Он закурил и передал ей сигарету. — Продолжай.

— Медузы, — сказала она горько. — Скользкие глупые медузы. Копшатся, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не умеют, ничего по-настоящему не любят... как черви в сортире...

— Это неприлично, — сказал Виктор. — Образ, несомненно, выпуклый, но решительно неаппетитный. И вообще все это банальности. Диана, милая моя, ты не мыслитель. В прошлом веке и в провинции это еще как-то звучало бы... общество, по крайней мере, было бы сладко шокировано, и бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня уже все знают, что есть человек. Что с человеком делать — вот вопрос. Да и тот, признаться, уже навяз в зубах.

— А что делают с медузами?

— Кто? Медузы?

— Мы.

— Насколько я знаю — ничего. Консервы, кажется, из них делают.

— Ну и ладно, — сказала Диана. — Ты что-нибудь наработал за это время?

— А как же! Я написал страшно трогательное письмо своему другу Роц-Тусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансион, значит, я никуда не годен!

— И это все?

— Да, — сказал Виктор. — Все остальное я выбросил.

— Господи! — сказала Диана. — А я-то за тобой ухаживала, старалась не мешать, отгоняла Росшепера...

— Купала меня в ванне, — напомнил Виктор.

— Купала тебя в ванне, поила тебя кофе...

— Погоди, — сказал Виктор, — но ведь я тоже купал тебя в ванне...

— Все равно.

— Как это — все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они никуда не годятся.

— Дай почитать.

— Только для мужчин, — сказал Виктор. — Кроме того, я их выбросил, разве я тебе не сказал? И вообще, там было так мало патриотизма и национального самосознания, что это все равно никому нельзя было бы показать.

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет, — сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина Президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать — не тошнить, а уже рвать, — я принимаюсь за дело... Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, что мы будем делать завтра.

— Завтра у тебя встреча с гимназистами.

— Это быстро. А потом?

Диана не ответила. Она смотрела мимо него. Виктор обернулся. К ним подходил мокрец — во всей своей красе: черный, мокрый, с повязкой на лице.

— Здравствуйте, — сказал он Диане. — Голем еще не вернулся?

Виктор поразился, какое лицо сделалось у Дианы. Как на старинной картине. Даже не на картине — на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника. Она не ответила. Она молчала, и мокрец тоже молча смотрел на нее, и никакой неловкости не было в этом молчании — они были вместе, а Виктор и все прочие были отдельно. Виктору это очень не понравилось.

— Голем, наверное, сейчас придет, — сказал он громко.

— Да, — сказала Диана. — Присядьте, подождите.

У нее был обычный голос, и она улыбалась мокрому равнодушной улыбкой. Все было как обычно — Виктор был с Дианой, а мокрец и все прочие были отдельно.

— Прошу! — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора Р.Квадриги.

Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор налил ему коньяку. Мокрец привычно-небрежным жестом взял рюмку, покачал, как бы взвешивая, и снова поставил на стол.

— Я надеюсь, вы не забыли? — сказал он Диане.

— Да, — сказала Диана. — Да. Сейчас принесу. Виктор, дай мне ключ от номера, я сейчас вернусь.

Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. Что это с тобой, приятель? — сказал он себе. Что-то тебе слишком многое мерещится в последнее время. Нежный ты стал какой-то, чувствительный... Ревнивый. А зря. Тебя это совершенно не касается — все эти бывшие мужья, все эти

странные знакомства... Диана — это Диана, а ты — это ты. Росшепер импотент? Импотент. Вот и будет с тебя... Он знал, что все это не так просто, что он уже проглотил какую-то отраву, но он сказал себе: хватит, и сегодня — сейчас, пока — ему удалось убедить себя, что действительно хватит.

Мокрец сидел напротив, неподвижный и страшный, как чучело. От него пахло сыростью и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокрецом в ресторане за одним столиком?.. Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Или это мы стали такие всеядные: дошло до нас наконец, что все люди — братья? Человечество, друг мой, я горжусь тобою... А вы, сударь, отдали бы свою дочь за мокреца?..

— Моя фамилия — Банев, — представился Виктор и спросил: — Как здоровье вашего... пострадавшего? Того, что попал в капкан?

Мокрец быстро повернул к нему лицо. Смотрит, как через бруствер, подумал Виктор.

— Удовлетворительно, — ответил мокрец сухо.

— На его месте я бы подал заявление в полицию.

— Не имеет смысла, — сказал мокрец.

— Почему же? — сказал Виктор. — Не обязательно обращаться в местную полицию, можно обратиться в окружную...

— Нам это не нужно.

Виктор пожал плечами.

— Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление.

— Да. Но нас это не интересует.

Они помолчали. Потом мокрец сказал:

— Меня зовут Зурзматор.

— Знаменитая фамилия, — вежливо сказал Виктор. — Вы не родственник Павлу Зурзматору, социологу?

Мокрец прищурил глаза.

— Даже не однофамилец, — сказал он. — Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии...

Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес:

— А ну, зараза, пошел отсюда вон!

Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента, или как его там, словом, племянничек. Виктор глядел на него не дольше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение.

— Вы это кому, молодой человек? — осведомился он.

— Вашему приятелю, — любезно сообщил Фламин Ювента и снова гаркнул: — Тебе говорят, мокрая шкура!

— Одну минуточку, — сказал Виктор и встал.

Фламин Ювента, ухмыляясь, смотрел на него сверху вниз. Этаким юный Голиаф в спортивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами, наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в заднем кармане, гроза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изображая озабоченность и любопытство: «Что это у вас такое?» И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущемил его нос большим и указательным пальцем. «Э!» — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил и некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая: «Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло...» Позиция была исключительно удобной: юный Голиаф отчаянно лягался, но между ними было кресло, юный Голиаф месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее, и Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся: на него, раздвигая столы и опрокидывая кресла, с грохотом неслась вся банда — пятеро, причем двое из них очень рослые. На мгновение все застыло, как на фотоснимке, — черный Зурзмансор, спокойно откинувшийся в кресле; Тэдди, повисший в прыжке над стойкой; Диана с белым свертком посередине зала; а на заднем плане в дверях — свирепое усатое лицо швейцара; и совсем рядом — злобные морды с разинутыми пастьями. Затем фотография кончилась, и началось кино.

Первого верзилу Виктор очень удачно сшиб ударом по скуле. Тот исчез и некоторое время не появлялся. Но другой верзила попал Виктору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке — видимо, промахнулся по горлу. А еще кто-то — освободившийся Голиаф? — прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье, опора нации, — только один из них знал бокс, а остальные жаждали не столько драться, сколько увечить: выдавить глаз, разорвать рот, лягнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на них набежал Тэдди, который свято исповедовал золотое правило всех вышибал — гасить любую драку в самом зародыше; а с фланга появилась Диана, Диана Бешеная, ос-

каленная ненавистью, непохожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой оплетенной бутылью в руках; и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат — он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянничек удрал, забыв на столе свой транзистор. Один из молодых остался лежать под столом — это был тот, которого Диана свалила бутылью, остальных же четверых Виктор с Тэдди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками выбили через вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами и только там, под дождем, осознали полную победу и несколько успокоились.

— Согляки паршивые, — сказал Тэдди, закуривая сразу две сигареты — себе и Виктору. — Манеру взяли — каждый четверг буяннить. Прошлый раз недоглядел — два кресла сломали. А кому платить? Мне!

Виктор щупал распухающее ухо.

— Племянничек ушел, — сказал он с сожалением. — Так я до него как следует и не добрался.

— Это хорошо, — сказал Тэдди деловито. — С этим губастым лучше не связываться. Дядюшка у него знаешь кто, да и сам он... опора Родины и Порядка, или как они там называются... А драться ты, господин писатель, наострился. Такой, помню, хлипкий согляк был — тебе, бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец.

— Такая уж у меня профессия, — вздохнул Виктор. — Продукт борьбы за существование. У нас ведь как — все на одного. А господин Президент за всех.

— Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тэдди.

— А ты думал! Напишут на тебя похвальную статью, что ты-де проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с компанией — и все молодые, задорные крепьши, дети Президента...

— Надо же, — сказал Тэдди сочувственно. — И что?

— По-разному. И так бывает, и эдак.

К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь, прикрываясь одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с портфелем и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался Голем. Долговязый с острым, каким-то профессиональным интересом смотрел, как швейцар выбивает

через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя. «Жалко, этого не было, — шепотом сказал Тэдди, указывая глазами на долговязого. — Вот это мастер! Это тебе не ты. Профессионал, понял?» — «Понял», — тоже шепотом ответил Виктор. Молодой человек с портфелем и долговязый рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил господин Зурзмансор с белым свертком под мышкой. Он что-то сказал вполголоса, после чего Голем перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзмансор пробрался на заднее сиденье, и джип укатил.

— Эх! — сказал Тэдди. — Не того мы били, господин Банев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал.

— Ну, это ты зря, — сказал Виктор. — Больной, несчастный человек, сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, а его в лепрозорий повезли.

— Знаем мы, куда его повезли! — непримиримо сказал Тэдди. — Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель.

— Оторвался от нации?

— От нации не от нации, а жизнь ты не знаешь. Поживи-ка у нас: который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отбились... Да чего там — ни одной кошки в городе не осталось, от мышей спасенья нет... Э-эх! — сказал он, махнув рукой. — Пошли уж.

Они вернулись в вестибюль, и Тэдди спросил швейцара, уже занявшего свой пост:

— Что? Много наломали?

— Да нет, — ответил швейцар. — Можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого... у последнего отобрал, на вот, возьми.

На ходу считая деньги, Тэдди пошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках и долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору Р.Квадриге, которого обычно не терпела. Перед Р.Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потому выглядел странно.

— С викторией! — мрачно приветствовал он Виктора. — Сожалею, что не присутствовал при сем хотя бы мичманом.

Виктор рухнул в кресло.

— Красивое ухо, — сказал Р.Квадрига. — Где ты такое достал? Как петушинный гребень.

— Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку. — Ей и только ей обязан я викторией своею, — сказал он, показывая на Диану. — Ты заплатила за бутылку?

— Бутылка не разбилась, — сказала Диана. — За кого ты меня принимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы так...

— Приступим, — мрачно сказал Р.Квадрига и налил себе полный стакан рому.

— Покатился, как манекен, — сказала Диана. — Как кегля... Виктор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами.

— Главное цело, — ответил Виктор. — Я специально защищал.

Доктор Р.Квадрига со скворчанием всосал в себя последние капли рома из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает остатки воды после мытья посуды. Глаза у него сразу посоловели.

— Мы знакомы, — поспешно сказал Виктор. — Ты — доктор Рем Квадрига, я — писатель Банев.

— Брось, — сказал Р.Квадрига. — Я совершенно трезв. Но я сопьюсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе представить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим человеком. У меня большая печень, катар кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки... Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья сидят без права переписки, а новые неграмотны...

— Никаких государственных тайн, — сказал Виктор. — Я неблагонадежен.

Р.Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром, как остывший чай.

— Так лучше действует, — сообщил он. — Попробуй, Банев. Пригодится... И нечего на меня смотреть! — сказал он вдруг Диане бешено. — Прошу скрывать свои чувства! А если вам не нравится...

— Тихо, тихо, — сказал Виктор, и Р.Квадрига скис.

— Они ни черта во мне не понимают, — сказал он жалобно. — Никто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. Только ты очень грубый, Банев, и всегда меня ранил. Я весь израненный... Они теперь боятся меня ругать, они теперь только хвалят. Как похвалит какая-ни-

будь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не знают... Слушай, Банев! Какая у тебя замечательная женщина... Я тебя прошу... Попроси ее, пусть придет ко мне в студию... Да нет, дурак! Натурщица! Ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу десять лет...

— Аллегорическая картина, — пояснил Виктор Диане. — «Президент и Вечно Юная Нация»....

— Дурак, — грустно сказал доктор Р.Квадрига. — Вы все думаете, что я продаюсь... Ну, правильно, было! Но я больше не пишу президентов... Автопортрет! Понимаешь?

— Нет, — признался Виктор. — Не понимаю. Ты хочешь писать свой портрет с Дианы?

— Дурак, — сказал Р.Квадрига. — Это́ будет лицо художника...

— Моя задница, — объяснила Диана Виктору.

— Лицо художника! — повторил Р.Квадрига. — Ты ведь тоже художник... И все, кто сидит без права переписки... и все, кто живет в моем доме... то есть не живет... Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил: приди, поживи у меня хоть немного. У меня вилла, фонтан... А садовник сбежал. Трус... Сам я там жить не могу, в гостинице лучше... Ты думаешь, я пью, потому что проданся? Дудки, это тебе не модный роман... Поживешь у меня немного и разберешься... Может быть, ты даже их узнаешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые, может быть, это твои. Тогда бы я понял, почему они меня не узнают... Ходят босые... смеются... — Глаза его вдруг наполнились слезами. — Господа! — сказал он. — Какое счастье, что с нами нет этого Павора! Ваше здоровье.

— Будь здоров, — сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Р.Квадригу с брезгливой тревогой. — Никто здесь не любит Павора, — сказал он. — Один я урод какой-то.

— Тихий омут, — произнес доктор Р.Квадрига. — И прыгнувшая лягушка. Болтун. Всегда молчит.

— Просто он уже готов, — сказал Виктор Диане. — Ничего страшного.

— Господа! — сказал доктор Р.Квадрига. — Сударыня! Я считаю своим долгом представиться! Рем Квадрига, доктор гонорис кауза...

Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был маль-

чиком тактичным. Он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запах драк «до первой крови», изнурительных допросов у доски, запаха тюрьмы, бесправия, лжи, возведенной в принцип. Он все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получилось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все здесь оставалось по-прежнему — и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и сбитая штукатурка на углах — все оставалось по-прежнему ненавистно, гадко, навело злобу и беспросветность.

Он нашел свой класс, хотя и не сразу; нашел свое место у окна, но парта была другая, только на подоконнике все еще виднелась глубокая врезанная эмблема Легиона Свободы, и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, белокрасные повязки, жестяные копилки «в фонд Легиона», бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах — лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло, и огромный клыкастый брызжащий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые... И глупые, и этой глупости сейчас не радуешься, — не радуешься, что стал умнее, а только обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого, деловитого птенца, воображавшего себя ярким, знаменитым и отборным... И еще стыдные детские вожделения, и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши, и все это называется счастливой порой: серость, вожделение, энтузиазм... Плохо дело, подумал он. А вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и права судить.

Скромность и только скромность, до самоуничижения...

и только правда, никогда не ври, по крайней мере — самому себе, но это ужасно: самоуничжаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные... Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить — это хорошо. Даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ... Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдём и посмотрим, какими они стали...

В зале было довольно много ребятшек и стоял обычный гам, который стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом Президента — даром доктора Р.Квадриги — за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на край сцены и сказал:

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города. — Он повернулся к Виктору: — Как вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы задавали с места или в письменном виде?

— Мне все равно, — сказал Виктор легкомысленно. — Лишь бы их было побольше.

— В таком случае, прошу вас.

Бол-Кунац спрыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и девочек в возрасте от десяти до четырнадцати лет, — и они смотрели на него со спокойным ожиданием. Похоже, тут одни вундеркинды, подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— Я учился в этой самой гимназии, — начал Виктор, — и на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые предметы, и то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть...

Ага, подумал он, сейчас я им расскажу про гипнопедию. Но тут Бол-Кунац передал ему записку: «Не надо рассказы-

вать о достижениях науки. Говорите с нами как с равными. Валерьянс, 6 кл.».

— Так, — сказал Виктор. — Тут некий Валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами как с равными и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки... Должен тебе сказать, Валерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя и считаю долгом проинформировать тебя, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление. — Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене. — Должен вам признаться, ребята, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я. Итак... Все ли читали мои произведения?

— Да, — отозвались детские голоса. — Читали... Все...

— Прекрасно, — сказал Виктор озадаченно. — Польщен, хотя и удивлен. Ну, ладно, далее... Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?

Последовало недолгое молчание, затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, сказал: «Нет» — и сел.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Это тем более хорошо, что вопреки широко распространенному мнению ничего интересного в историях написания не бывает. Пойдем дальше... Желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах?

Бол-Кунац поднялся и вежливо сказал:

— Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом конце беседы, когда прояснится общая картина.

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. Становилось интересно или, во всяком случае, необычно.

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкрадчиво спросил он. — Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзмансор, когда мы встретились с ним в трамвае...

— Вы действительно встречались с Зурзмансором? — спросили из зала.

— Нет, я шучу, — сказал Виктор. — Так что насчет литературных анекдотов?

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик.

— Да, конечно.

— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?

Без прыщей, мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть себя в настоящем, подумал он. Однако надо было отвечать.

— Умными, — сказал он наугад. — Честными. Добрыми... Хотел бы, чтобы вы любили свою работу... и работали бы только на благо людей. — Несу, подумал он. Да и как не нести? — Вот примерно так...

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил не вставая:

— Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?

— Я?! — возмутился Виктор.

— Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью».

Это был белобрысый клоп десяти лет от роду. Виктор крякнул. «Беда» могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков: все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, белобрысый клоп имел основания полагать, что автор «Беды» считает солдата «главнее» физика — во всяком случае, в некоторых отношениях.

— Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что... как бы тебе сказать... Всякое бывает.

— Я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белобрысый клоп. — Я говорю об общей концепции книги. Может быть, «главнее» не то слово...

— Я тоже не имею в виду физиологию, — сказал Виктор. — Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения.

Бол-Кунац принял из зала и передал ему две записки: «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?» и «Что такое умный человек?». Виктор начал со второго вопроса — он был проще.

— Умный человек, — сказал он, — это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих зна-

ний, стремится их пополнять и в этом преуспевает... Вы со мной согласны?

— Нет, — сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка.

— А в чем дело?

— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. Особенно если окружающие поддерживают его в этом мнении.

Да, подумал Виктор. Его охватила легкая паника. Это тебе не с братьями-писателями разговаривать.

— В какой-то степени вы правы, — сказал он, неожиданно для себя переходя на «вы». — Но дело в том, что вообще-то «дурак» и «умный» — понятия исторические и, скорее, субъективные.

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — Это из задних рядов — смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо.

— Отчего же, — сказал Виктор. — Берусь. Но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм: дурак — это просто инакомыслящий... — Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения. — Или инакочувствующий, — добавил Виктор.

Он остро ощущал разочарование зала, но не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить со многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовлетворению.

— Я не совсем понимаю, — произнесла хорошенькая девочка. — Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть согласно вашему же афоризму мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?

Виктору показалось, что он нащупал наконец дно под ногами.

— Видите ли, — сказал он, — под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей, если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он остается своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывают жалость и тоска... Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении... — Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы вернуть насчет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили:

— Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом, они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать?

— Ах вот вы о чем! — медленно сказал Виктор.

До него вдруг дошло: боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли, да и откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно-умные дети, но всего лишь дети, с детским жизненным опытом и с детским знанием людей, плюс куча прочитанных книг, с

детским идеализмом и с детским стремлением разложить все по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо». Совершенно как братья-литераторы...

— Меня обмануло, что вы говорите как взрослые, — сказал он. — Я даже забыл, что вы — не взрослые. Я понимаю, это непедагогично так говорить, но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще полбеды. Вы считаете, будто и я отношусь к ним так же, как вы. Вот это уже беда. Беда в том, что так мы никогда не пойдем друг друга.

Черт его знает, какой реакции ожидал он на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось и теперь можно все начинать сначала, на новой, более реалистической основе... Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил:

— Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс?

Виктор почувствовал себя оскорбленным. Ну конечно, подумал он. А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Все возвращается на круги своя.

— Прогресс, — сказал он, — это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга.

— А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа.

— Выпивают и закусывают квантум сатис, — пробормотал кто-то слева.

— А почему бы и нет? — сказал Виктор. — История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься — это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное...

— Разрешите мне, — сказал Бол-Кунац. — Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо: все сыты, топтать друг друга ни к чему, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?

— Не знаю, — сказал Виктор. — Вообще-то это не совсем хорошо... Это как-то обидно... Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки налицо.

— А вы сами хотели бы жить в таком мире?

Виктор подумал.

— Знаете, — сказал он, — я его как-то плохо себе представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать.

— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется?

— Конечно, могу! Есть люди, и я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там не нужна, командовать нечем, топтать незачем. Правда, они вряд ли откажутся — все-таки это редчайшая возможность превратить рай в свинарник... или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили... Так что, пожалуй, не могу.

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой.

Бол-Кунац сел, зато встал прыщавый юнец и, горестно кивая, сказал:

— Вот в этом все дело. Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас — это могильник. Конец надежд. Конец человечества. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интересных книгах, я полностью «за» — показали нам не объект приложения сил,

а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере — в вашем поколении... Вы сожрали себя, простите, пожалуйста, вы растратили себя на междоусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье... Как это у вас поется: «Правда и ложь, вы не так уж несхожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду...» Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение... да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или того хуже, что человек — это звучит гордо. И кого вы только не называли человеком!..

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание, затем он снова встал и сообщил:

— Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев.

— Благодарю вас, — сердито сказал Виктор.

Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно, это наглость и дерзость... дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое из сказанного было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать... Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец только высказал общее мнение, и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому, что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары, и ходил на «рейнметаллы» в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным ножом, а потом, уже на гражданке, дал по морде спецполномоченному, который предложил ему подписать донос, и

шлялся без работы с дырой в легких, и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности... А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до подобного положения... Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделать эти птенцы, чтобы прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав с себя всю кожу, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и множество соседних жизней... да и то не все, а только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень здорово, и если понадобится — готовы начать все сначала... Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые.

— Ребята, — сказал Виктор. — Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имейте в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый — это очень старая идея. И ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает желание беспощадно разрушать, особенно легко приспособливается к процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось наконец сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, что от дверей идет мокрец, тощий, легкий, почти нематериальный, словно тень, и дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю, рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что

она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться, заговорил Бол-Кунац.

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев, — сказал он. — Мы совсем не жестоки, а если и жестоки, с вашей точки зрения, то лишь в теории. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы — жестоки: вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить.

Виктор наконец оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями.

— Да, — сказал он. — Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами... Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски... Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали... мешали строить новое, не любили новое, давили его...

— Нынешний старый мир, — загадочно сказал Бол-Кунац, — нам мешать не станет. Он будет даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше, — сказал Виктор устало. — Очень рад, что у вас так удачно все складывается...

Славные мальчики и девочки, подумал он. Странные, но славные. Жалко их, вот что... подрастут, полезут друг на друга, размножатся, и начнется работа за хлеб насущный... Нет, подумал он с отчаяньем. Может быть, и обойдется... Он сгреб со стола записки. Их накопилось довольно много: «Что такое факт?», «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?», «Почему вы так много пьете?», «Ваше мнение о Шпенглере?»...

— Тут у меня несколько вопросов, — сказал он. — Не знаю, стоит ли теперь...

Прыщавый нигилист поднялся и сказал:

— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, но дело-то в том, что это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию общества или части общества, а нам нужно знать

идеологов современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо... Спасибо, господин Банев», стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены.

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были ирреальны, они были невозможны, их высказывания, их отношение к тому, что он писал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, с писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и научный диспут. Совместила несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором... Да, сочувственно сказал Виктор кошке, состояние которой он представлял себе сейчас очень хорошо. Наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков и помереть можем...

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии. Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листики бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голосами: «Будьте добры, господин Банев!»

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно.

У себя в номере он сразу полез в бар, налил джину и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода — оказывается, он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги, — вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лужам. Зверски хо-

телось курить — кажется, он ни разу не закурил за эти два с лишним часа...

Акселерация, твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался, вытирал голову полотенцем. Это всего лишь акселерация, успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. Вот она — акселерация в действии, с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, твердившие ему невозможные вещи. Боже, спаси взрослых, боже, спаси их родителей, просвети их и сделай умнее, сейчас самое время... Для твоей же пользы прошу тебя, боже, а то построят они тебе вавилонскую башню, надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту Землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствий акселерации... Простак ты, братец...

Виктор выплонул на ковер окурков и раскурил новую сигарету. Чего это я разволновался? — подумал он. Фантазия разыгралась... Ну дети, ну акселерация, ну не по годам развитые. Что я, не по годам развитых детей не видел? Откуда я взял, что они все это сами придумали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны — Бол-Кунац... прыщавый этот... и еще хорошенькая девчушка. Заводилы. А остальные — дети как дети, сидели, слушали и скучали... Он знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интересом — все-таки провинция, известный писатель... Черта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка — любоваться на ляжки канатоходицы. Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир, я об этом и представления не имел — футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло... Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. Мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойера так было, есть и будет. Должно быть. А если не так, значит, ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жалость, а при непосредственном столкновении — педагогическое негодование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает: ты, конечно, взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако как ты был с самого детства дураком, так дураком и оста-

нешься, и помрешь дураком, но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать...

Виктор налил себе еще джину и стал вспоминать, как все было, и ему пришлось сделать поспешный глоток, чтобы не завьть от срама. Как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный и самоуверенный, сверху-вниз-смотрящий, модный остолоп, как он сразу начал с пошлятины, благоглупостей и псевдомужественного сюсюканья, и как его осадили, но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность, как его честно пытались направить на путь истинный, и ведь предупреждали, но он все нес банальщину и тривиальщину, все воображал, что кривая вывезет, что — чего там — и так сойдет — а когда ему, наконец потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются... и как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автографы... Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на свою натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать и что через какие-нибудь полчаса из соображений сохранения душевного равновесия он хитроумно перевернет все так, как будто учиненное сегодня над ним плюхдействие было величайшим триумфом в его жизни или, во всяком случае, довольно обычной и не слишком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые — что с них взять? — дети, а потому неважно разбираются в литературе и в жизни... Меня бы в департамент просвещения, подумал он с ненавистью. Там такие всегда были нужны... Одно утешение, подумал он. Этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация пойдет нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя помереть!..

В дверь постучали. Виктор крикнул: «Да!» — и вошел Павор в поддельном бухарском халате, расстроенный, с распухшим носом.

— Наконец-то, — сказал он насморочным голосом, сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище — ничего не осталось от прежнего Павора.

— Что — наконец-то? — спросил Виктор. — Джину хотите?

— Ох, не знаю... — отозвался Павор, хлюпая и всхлипывая. — Меня этот город доконает... Р-р-рум-чж-ж-жах! Ох...

— Будьте здоровы, — сказал Виктор.

Павор уставился на него слезящимися глазами.

— Где вы пропадаете? — спросил он капризно. — Я три раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь, одно занятие здесь — чихать и сморкаться... в гостинице ни души, к швейцару обратился, так он мне, дурень старый, телефонную книгу предложил и старые проспекты... «Посетите наш солнечный город». У вас есть что-нибудь почитать?

— Вряд ли, — сказал Виктор.

— Какого черта, вы же писатель! Ну, я понимаю, других вы никого не читаете, но себя-то уж наверняка иногда перелистываете... Вокруг только и говорят: Банев, Банев... Как там у вас называется? «Смерть после полудня»? «Полночь после смерти»? Не помню...

— «Беда приходит в полночь», — сказал Виктор.

— Вот-вот. Дайте почитать.

— Не дам. Нету, — решительно сказал Виктор. — А если бы и была, все равно бы не дал. Вы бы мне ее засморкали. Да и не поняли бы вы там ничего.

— Почему это — не понял бы? — осведомился Павор с возмущением. — Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов, чего же тут не понять?

— Сами вы... — сказал Виктор. — Давайте лучше джину выпьем. Вам с водой?

Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул.

— Башка болит, — пожаловался он. — Вот здесь... А где вы были? Говорят, встречались с читателями? С местными гомосексуалистами?

— Хуже, — сказал Виктор. — Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?

— Акселерация? Это что-то связанное с преждевременным созреванием? Слышал, об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина Президента о подрастающем поколении львов и мечтателей, так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите, я этих местных вундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере.

— А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор.

— Может быть, — согласился Павор. — Только акселе-

рация здесь ни при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на два, как жирафы, и в двенадцать лет уже готовы размножаться. А здесь — детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них...

— Что — учителя?

Павор чихнул.

— А вот учителя — необыкновенные, — сказал он гнусаво.

Виктор вспомнил директора гимназии.

— Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он. — Что они ширинку забывают расстегнуть?

— Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно взорвшись на Виктора. — У них и ширинок-то никаких нет.

— А еще что? — спросил Виктор.

— В каком смысле?

— Что у них еще необыкновенного?

Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью.

— Ни черта, я вижу, вы не знаете, — сказал Павор, разглядывая засморканный платок. — Как справедливо утверждает господин Президент, главное свойство наших писателей — это хроническое незнание жизни и оторванность от интересов нации... Вот вы здесь уже больше недели. Были вы где-нибудь, кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь, кроме этой пьяной скотины Квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят...

— Ну ладно, хватит, — сказал Виктор. — Хватит с меня и газет. Тоже мне — критик в соглях, учитель без ширинки...

— А-а, не любите? — сказал Павор с удовлетворением. — Так и быть, не буду... Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами.

— Да ну, что там рассказывать, — сказал Виктор. — Вундеркинды как вундеркинды...

— А все-таки?

— Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные вопросы, вполне взрослые... — Виктор помолчал. — В общем, если говорить честно, мне там здорово всыпали.

— А какие вопросы? — спросил Павор. Он смотрел на Виктора с искренним интересом и, кажется, с сочувствием.

— Дело не в вопросах, — вздохнул Виктор. — Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высшего класса... Адское, какое-то болезненное несоответ-

ствии... — Павор сочувственно кивал. — Словом, плохо мне там было, — сказал Виктор. — Неохота вспоминать.

— Понятно, — сказал Павор. — Не вы первый, не вы последний. Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители — это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий... Ну, а о чем вас все-таки спрашивали?

— Ну, спрашивали, что такое прогресс.

— Так. И что же такое, по-ихнему, прогресс?

— А по-ихнему, прогресс — это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурзмансора и Шпенглера. Такое у меня, во всяком случае, впечатление.

— Что же, очень даже может быть, — сказал Павор. — Каков поп, таков и приход. Вот вы говорите: акселерация, Зурзмансор... А вы знаете, что говорит по этому поводу нация?

— Кто-кто?

— Нация!.. Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихнулись — от мокрецов...

— Это потому, что в городе нет евреев, — заметил Виктор. Потом вспомнил про мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы. — Вы это серьезно? — спросил он.

— Это не я, — сказал Павор. — Это голос нации. Вокс попули. Кошки из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шляются к ним в лепрозорий, днюют и ночуют, отбились от рук, никого не слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги... Говорят, сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжечки. Тем более что погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело и кто это затеял. Теперь уже больше никто не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед...

Голос нации, подумал Виктор. Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос... Кошки, дожди, телевизоры. Кровь христианских младенцев...

— Я не понимаю, — сказал он. — Вы это серьезно или от скуки?

— Это не я! — повторил Павор проникновенно. — Так говорят в городе.

— Как говорят в городе, мне ясно, — сказал Виктор. — А вы-то сами что об этом думаете?

Павор пожал плечами.

— Течение жизни, — туманно сказал он. — Трепотня пополам с истиной. — Он посмотрел на Виктора поверх платка. — Не считайте меня идиотом, — сказал он. — Вспомните лучше детей: где вы еще видели таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей?

Да, подумал Виктор, таких детей... Кошки кошками, но этот мокрец в зале — это вам не кошки пополам с дождем... Есть такое выражение: лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы, а когда она разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает — цедит сквозь зубы что-то брезгливо-снисходительное... Но только если все это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечистоплотно. Что им нужно от детей? Они же больные люди, обреченные... и вообще, что за свинство — настраивать детей против родителей, даже против таких родителей, как мы с Лолой. Хватит с нас господина Президента: нация превыше родительских уз, Легион Свободы — ваш отец и ваша мать, и мальчишка идет в ближайший штаб и сообщает, что отец назвал господина Президента странным человеком, а мать назвала походы Легиона разорительным предприятием. А теперь еще является черный мокрый дядя и уже безо всяких объявляет, что отец твой — пьяная безмозглая скотина, а мать — дура и шлюха. Положим, что это и верно, но все равно свинство, все это должно делаться не так, и не их это собачье дело, не они за это отвечают, и никто их не просит заниматься таким просветительством... Патология какая-то... Если только это просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные, жестокие вещи, не ведая, что лепечет, но уже от младых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать, а они, намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, стоят за сценой и дергают ниточки... и, значит, никакого нового поколения нет, а есть все та же старая и грязная игра в марионетки, и я был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене... До чего же это мерзкая затея — наша цивилизация...

— ...имеющий глаза да видит, — говорил Павор. — Нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты,

ладно. Но кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя при этом эти мальчишки, какими они становятся ангелочками, а спроси у него, как пройти к вокзалу, — он тебя обольет презрением с ног до головы...

Нас не пускают в лепрозорий, думал Виктор. Колючая проволока, а мокрецы гуляют по городу свободно. Но не Голем же это выдумал... Вот сволочь, подумал он, отец нации. Вот мерзавец. Значит, и здесь его работа. Лучший друг детей... Очень может быть, очень на него похоже. А вы знаете, господин Президент, на вашем месте я бы попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличать ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, пропуска — значит, господин Президент; значит, обязательно какая-нибудь мерзость...

— На кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор.

— А я откуда знаю? — сказал Павор. — Никогда раньше там не было колючей проволоки.

— Значит, вы там уже бывали?

— Почему? Не был. Но не первый же я здесь санитарный инспектор... да дело и не в колючей проволоке, мало ли на свете колючей проволоки. Детишек туда пропускают беспрепятственно, мокрецов оттуда выпускают беспрепятственно, а нас с вами туда не пустят — вот что удивительно.

Нет, это все-таки не Президент, думал Виктор. Президент и чтение Зурзмансора, да еще и Банева — это как-то не совмещается. И эта разрушительная идеология... Если бы я такое написал, меня бы распяли. Непонятно, непонятно... И нечисто... Спрошу-ка я у Ирмы, подумал он. Просто спрошу и посмотрю, что она будет делать... Между прочим, и Диана должна кое-что знать.

— Вы не слушаете? — спросил Павор.

— Виноват, задумался.

— Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял меры. Причем, как и полагается городу, жестокие.

— Я тоже не удивился бы, — пробормотал Виктор. — Я не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры.

Павор поднялся и подошел к окну.

— Ну и погодка, — сказал он с тоской. — Уехать бы отсюда поскорее... Дадите вы мне книгу или нет?

— У меня нет книг, — сказал Виктор. — Все, что я с

собой привез, все в санатории... Слушайте, а зачем мокрецам наши дети?

— Это же больные люди, — ответил он. — Откуда нам знать? Мы-то с вами здоровые.

В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый.

— Спросим Голема, — сказал Павор. — Голем, зачем мокрецам наши дети?

— Ваши дети? — сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином. — У вас есть дети, Павор?

— Павор утверждает, — сказал Виктор, — будто ваши мокрецы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем?

— Гм... — сказал Голем. — Где у вас чистые стаканы? Ага... Мокрецы настраивают детей? Ну что ж... Не они первые, не они последние. — Он прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане. — И почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если белых настраивают против черных, а желтых настраивают против белых, а глупых настраивают против умных... Что вас, собственно, удивляет?

— Павор утверждает, — повторил Виктор, — что ваши больные шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. Я тоже заметил кое-что подобное, хотя пока что ничего не утверждаю. Так вот, я ничему не удивляюсь, а спрашиваю вас: правда это или нет?

— Насколько я знаю, — сказал Голем, отхлебнув из стакана, — мокрецы спокон веков имели совершенно свободный доступ в город. Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но позвольте мне спросить вас, аборигена: знакома ли вам игрушка под названием «злой волчок»?

— Ну, конечно, — сказал Виктор.

— У вас была такая игрушка?

— У меня, конечно, нет... но у ребят, помнится, была... — Виктор замолчал. — Да, действительно, — сказал он. — Ребята говорили, что этот волчок подарил им мокрец. Вы это имеете в виду?

— Да, именно это. И «погодник», и «деревянную руку»...

— Пардон, — сказал Павор. — Можно узнать мне, пришельцу из столицы, о чем говорят аборигены?

— Нельзя, — сказал Голем. — Это не входит в вашу компетенцию.

— Откуда вы знаете, что входит и что не входит в мою компетенцию? — спросил Павор с обиженным видом.

— Знаю, — сказал Голем. — Догадываюсь, потому что мне так хочется... И перестаньте врать, вы же торговали у Тэдди «погодник» и прекрасно знаете, что это такое.

— Идите вы к черту, — сказал Павор капризно. — Я не про «погодник»...

— Погодите, Павор, — нетерпеливо сказал Виктор. — Голем, вы не ответили на мой вопрос.

— Разве? А мне показалось, что ответил... Видите ли, Виктор, мокрецы — глубоко и безнадежно больные люди. Это страшная штука — генетическая болезнь. Но при этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их обижать.

— Кто их обижает?

— А вы разве их не обижаете?

— Пока нет. Пока даже наоборот.

— Ну, тогда все в порядке, — сказал Голем и поднялся. — Тогда поехали.

Виктор вытаращил глаза.

— Куда поехали?

— В санаторий. Я еду в санаторий, вы, я вижу, тоже собираетесь в санаторий, а вы, Павор, ложитесь в постель. Хватит распространять грипп.

Виктор посмотрел на часы.

— Не рано ли? — сказал он.

— Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус отменили. За нерентабельностью.

— А может быть, сначала пообедаем?

— Как угодно, — повторил Голем. — Я никогда не обедаю. И вам не советую.

Виктор пощупал живот.

— Да, — сказал он. Потом он посмотрел на Павора. — Поеду, пожалуй.

— А мне-то что? — сказал Павор. Он был обижен. — Только книжек привезите.

— Обязательно, — пообещал Виктор и стал одеваться.

Когда они влезли в машину, под сырой брезент, в сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал:

— Вы намеки понимаете?

— Иногда, — ответил Виктор. — Когда знаю, что это намеки. А что?

— Так вот, обратите внимание: намек. Перестаньте трепаться.

— Гм, — пробормотал Виктор. — И как прикажете это понимать?

— Как намек. Перестаньте болтать языком.

— С удовольствием, — сказал Виктор и замолчал, раздумывая.

Они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали пустой городской парк, запущенный, никлый, полусгнивший от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи «Братья по разуму» упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мячам, и выкатили на шоссе, ведущее к санаторию. Вокруг, за пеленой дождя, лежала мокрая степь, ровная как стол, когда-то сухая, выжженная, колючая, а теперь медленно превращающаяся в топкое болото.

— Ваш намек, — сказал Виктор, — напомнил мне один разговор — мой разговор с его превосходительством господином референтом господина Президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет — тридцать на двадцать — и осведомился: «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки.

Голем ухмыльнулся.

— А чем вы, собственно, бренчали?

— Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах.

Голем покосился на него прищуренным глазом.

— Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик?

— А я в этом не уверен, — возразил Виктор. — Просто мне наплевать. Кроме того, сейчас не говорят «шпик». Шпик — это архаизм. Сейчас все культурные люди говорят «дятел».

— Не ощущаю разницы, — сказал Голем.

— Я практически тоже, — произнес Виктор. — Итак, не будем болтать языком. Ваш пациент выздоровел?

— Мои пациенты никогда не выздоравливают.

— У вас прекрасная репутация! Но я-то спрашиваю про того беднягу, который угодил в капкан. Как его нога?

Голем помолчал, а потом сказал:

— Которого из них вы имеете в виду?

— Не понимаю, — сказал Виктор. — Того, естественно, который попал в капкан.

— Их было четверо, — сказал Голем, всматриваясь в залитую дождем дорогу. — Один попал в капкан, другого вы

тащили на спине, третьего я увез в машине, а из-за четвертого вы затеяли давеча безобразную драку в ресторане.

Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте.

— Ну-ну, не напрягайтесь так, — сказал он наконец. — Я пошутил. Он был один. И нога его зажила в ту же ночь.

— Это тоже шутка? — осведомился Виктор. — Ха-ха-ха. Теперь я понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают.

— Мои больные, — сказал Голем, — никогда не выздоравливают по двум причинам. Во-первых, я, как и всякий порядочный врач, не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать.

— Забавно, — пробормотал Виктор. — Я уже столько наслушался об этих ваших мокрецах, что теперь, ей-богу, готов поверить во все: и в дожди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну ночь.

— В кошек? — сказал Голем.

— Ну да, — сказал Виктор. — Почему в городе не осталось кошек? Мокрецы виноваты. Тэдди от мышей пропадает... Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города заодно и мышей.

— А ля Гаммельнский крысолов? — сказал Голем.

— Да, — легкомысленно подтвердил Виктор. — Именно а ля. — Потом он вспомнил, чем кончилась история с Гаммельнским крысоловом. — Ничего смешного тут нет, — сказал он. — Сегодня я выступал в гимназии. Видел ребятишек. И видел, как они встречали какого-то мокреца. Теперь я несколько не удивлюсь, если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет детишек к черту на рога.

— Вы не удивитесь, — сказал Голем. — А еще что вы сделаете?

— Не знаю... Может быть, отберу у него аккордеон.

— И сами заиграете?

— Да, — вздохнул Виктор. — Это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Вы ведь знаете, Голем?

— Виктуар, перестаньте бренчать, — сказал Голем.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов, я это заметил. Глупо. Я все равно узнаю, а вы потеряете

возможность придать выгодную вам эмоциональную окраску этой информации.

— Сохранение врачебной тайны! — изрек Голем. — И потом, я ничего не знаю. Я могу только догадываться.

Он притормозил. Впереди, за вуалью дождя, появились какие-то фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный столб с указателями: «Лепрозорий — 6 км» и «Сан. «Теплые Ключи» — 2,5 км». Фигуры отступили на обочину — взрослый мужчина и двое детей.

— А ну-ка, остановитесь, — сказал Виктор, сразу охрипнув.

— Что случилось? — Голем затормозил.

Виктор не ответил. Он смотрел на людей у столба, на рослого черного мокреца в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, который тоже был без плаща, в промокшем костюмчике и сандалиях, и на девочку, босую, в платье, облепившем тело. Затем он рывком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь с ветром ударил ему в лицо, он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил приступ нестерпимого бешенства, когда хочется все ломать, когда еще сознаешь, что намерен делать глупости, но это сознание только радует. На негнущихся ногах он подошел вплотную к мокрецу.

— Что здесь происходит? — выдавил он сквозь зубы. А потом девочке, глядевшей на него с удивлением: — Ирма, немедленно иди в машину! — А потом снова мокрецу: — Черт бы вас побрал, что это вы делаете? — И снова Ирме: — Марш в машину, кому говорят?

Ирма не двинулась с места. Все трое стояли, как прежде, глаза мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма сказала с непонятной интонацией: «Это мой отец», и он вдруг сообразил, спинным мозгом понял, что здесь нельзя орать и замахиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить... вообще нельзя беситься. Он сказал очень спокойно:

— Ирма, иди в машину, ты вся промокла. Бол-Кунац, на твоём месте я бы тоже пошел в машину.

Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не совсем так, как ему хотелось бы. Нет, не то чтобы она хотя бы взглядом испросила у мокреца разрешения уйти, но осталась у него тень впечатления, будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совещание, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма

задрала нос и направилась к машине, а Бол-Кунац сказал вежливо:

— Благодарю вас, господин Банев, но, право, я лучше останусь.

— Как хочешь, — сказал Виктор. Бол-Кунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто весьма глупое, но что делать? — уйти просто так он не мог. Из чисто престижных соображений. И он сказал. — Вас, милостивый государь, — сказал он надменно, — я не приглашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде.

Затем он повернулся и, отшвырнув воображаемую перчатку, зашагал прочь. «Произнеся эти слова, — с отвращением подумал он, — граф с достоинством удалился...»

Ирма, забравшись с ногами на переднее сиденье, отжимала косички. Виктор пролез назад, побрякывая от стыда, и, когда Голем тронул машину, сказал:

— Произнеся эти слова, граф удалился... Просунь сюда ноги, Ирма, я их разотру.

— Зачем? — с любопытством спросила Ирма.

— Воспаление легких получить хочешь? Давай ноги!

— Пожалуйста, — сказала Ирма и, скособочившись на сиденье, просунула ему одну ногу.

Предвкушая, что вот сейчас он сделает наконец что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился было ее растирать — до красноты, до багровости, добрыми суровыми отцовскими руками, эту грязную костлявую ледышку, извечный проводник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двусторонних пневмоний, — когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. По инерции он сделал несколько оглаживающих движений, затем осторожно отпустил ногу. Да ведь я же знал это, подумал он вдруг, я же знал это, еще когда стоял перед ними, знал, что здесь есть какой-то подвох, что детям ничто не грозит, никакие катары и воспаления, только мне не хотелось этого, а хотелось спасти, вырывать из когтей, гневаться справедливо, исполнять долг, и опять меня обвели вокруг пальца, и я опять дурак дураком, второй раз за этот день...

— Забери свою ногу, — сказал он Ирме.

Ирма забрала ногу и спросила:

— Мы куда — в санаторий едем?

— Да, — ответил Виктор и посмотрел на Голема — не

заметил ли тот позора. Голем невозмутимо смотрел за дорогой, грузно расплывшись на водительском сиденье, седой, неряшливый, сутулый и всезнающий.

— А зачем? — спросила Ирма.

— Переоденешься в сухое и ляжешь в постель, — сказал Виктор.

— Вот еще! — сказала Ирма. — Что это ты придумал?

— Ладно, ладно... — пробормотал Виктор. — Дам тебе книжки, и будешь читать.

Действительно, на кой черт я ее туда везу? — подумал он. Диана... Ну, это мы посмотрим. Никаких выпивок, и вообще ничего такого, но как я ее повезу обратно? А, черт, возьму чью попало машину и отвезу... Хорошо бы сейчас чего-нибудь глотнуть.

— Голем... — начал было он, но спохватился. Дьявол, нельзя, неудобно.

— Да? — сказал Голем не оборачиваясь.

— Нет, ничего, — вздохнул Виктор, уставясь на горлышко фляги, торчащее из кармана Големова плаща. — Ирма, — сказал он утомленно. — Что вы там делали на этом перекрестке?

— Мы думали туман, — ответила Ирма.

— Что?

— Думали туман, — повторила Ирма.

— Про туман, — поправил Виктор. — Или о тумане.

— Зачем это — про туман? — сказала Ирма.

— Думать — непереходный глагол, — объяснил Виктор. — Он требует предлогов. Вы проходили непереходные глаголы?

— Это когда как, — сказала Ирма. — Думать туман — это одно, а думать про туман — это совсем другое... и кому это нужно — думать про туман, неизвестно.

Виктор вытащил сигарету и закурил.

— Погоди, — сказал он. — Думать туман — так не говорят, это неграмотно. Есть такие глаголы — непереходные: думать, бегать, ходить... Они всегда требуют предлога. Ходить по улице. Думать про... что-нибудь там...

— Думать глупости, — сказал Голем.

— Ну, это исключение, — сказал Виктор, несколько потерявшись.

— Ходить быстро, — сказал Голем.

— Быстро — это не существительное, — запальчиво сказал Виктор. — Не путайте ребенка, Голем.

— Папа, ты можешь не курить? — осведомилась Ирма.

Кажется, Голем издал какой-то звук, а может быть, это мотор чихнул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они поднимались к санаторию, а сбоку, из степи, навстречу дождю надвигалась плотная белесая стена.

— Вот тебе и туман, — сказал Виктор. — Можешь его думать. А также нюхать, бегать и ходить.

Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил ее.

— Между прочим, — сказал он. — Глагол «думать» выступает как переходный также и в сложноподчиненных предложениях. Например: я думаю, что... и так далее.

— Это совсем другое дело, — возразил Виктор. Ему надоело. Ему очень хотелось курить и выпить. Он с вожделием поглядел на горлышко фляги.

— Тебе не холодно, Ирма? — спросил он с неясной надеждой.

— Нет. А тебе?

— Познабливает, — признался Виктор.

— Надо выпить джину, — заметил Голем.

— Да, неплохо бы... А у вас есть?

— Есть, — сказал Голем. — Но мы уже почти приехали.

Джип вкатился в ворота, и тут началось то, о чем Виктор как-то не подумал. Первые струи тумана еще только начали просачиваться через решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной дорожке лежало тело в промокшей пижаме, лежало с таким видом, словно пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно объехал его, миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду машин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распахнула дверцу, и сейчас же испитая морда высунулась из окна ближайшей машины и проблеяла: «Деточка, хочешь, я тебе отдамся?» Виктор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под дождем, обнявшись, две девки в белье и кличными голосами пели про жестокого аптекаря — не отпускает героин. Узрев Виктора, они замолчали, но, когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить его за брюки. Виктор втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной, трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порнографические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то ногам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая не-

цензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать через три ступеньки по ковровой лестнице. Ирма помалкивала, и он не рисковал взглянуть на нее.

На лестничной площадке его уже ждал с распростертыми объятьями синий и раздутый член парламента Росшепер Нант. «Виктуар! — просипел он. — Др-руг! — Тут он заметил Ирму и пришел в восторг. — Виктуар! И ты тоже!.. На малолетних малолеточек!..» Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и толкнул в грудь — Росшепер повалился спиной, опрокинув урну. Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными прыжками неслась рядом. Он ткнулся в дверь Дианы — дверь была заперта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась. «Пошел к чертовой матери! — заорала она яростно. — Импотент вонючий! Говнюк, дерьмо собачье!» — «Диана! — рывкнул Виктор. — Открывай!» Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она стояла на пороге с японским зонтиком наготове. Виктор отпихнул ее, втокнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь.

— А, это ты, — сказала Диана. — Я думала, опять Росшепер. — От нее пахло спиртным. — Господи, — сказала она. — Кого ты привел?

— Это моя дочь, — с трудом сказал Виктор. — Ее зовут Ирма. Ирма, это Диана.

Он смотрел на Диану в упор, с отчаянием и надеждой. Слава богу, кажется, она не была пьяна. Или сразу протрезвела.

— Ты с ума сошел, — сказала она тихо.

— Она промокла, — проговорил он. — Переодень ее в сухое, уложи в постель, и вообще...

— Я не лягу, — заявила Ирма.

— Ирма, — сказал Виктор. — Изволь слушаться, а то я сейчас кого-нибудь выпорю...

— Кое-кого здесь надо бы выпороть, — сказала Диана безнадежно.

— Диана, — сказал Виктор. — Я тебя прошу.

— Ладно, — сказала Диана. — Иди к себе. Разберемся.

Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно вышвырнуть в коридор разнежившуюся совершенно незнакомую парочку и испачканное постельное белье. Потом он запер дверь, повалился на голый матрас, закурил отсыревшую сигарету и стал думать, что же он натворил.

5. Феликс Сорокин. «...и животноводство!»

Спал я скверно, душили меня вязкие кошмары, будто читаю я какой-то японский текст, и все слова как будто знакомые, но никак не складываются они во что-нибудь осмысленное, и это мучительно, потому что необходимо, совершенно необходимо доказать, что я не забыл свою специальность, и временами я наполовину просыпался и с облегчением осознавал, что это всего лишь сон, и пытался расшифровать этот текст в полусне, и снова проваливался в уныние и тоску бессилия...

Проснувшись окончательно, никакого облегчения я не ощутил. Я лежал в темной комнате и смотрел на потолок с квадратным пятном света от прожектора, освещающего платную стоянку внизу под домом, слушал шумы ранних машин на шоссе и с тоской думал о том, что вот такие длинные унылые кошмары принялись за меня совсем недавно, всего два или три года назад, а раньше снились больше бабы. Видимо, это уже наваливалась на меня настоящая старость, не временные провалы в апатию, а новое, стационарное состояние, из которого уже не будет мне возврата.

Ныло правое колено, ныло под ложечкой, ныло левое предплечья, все у меня ныло, и оттого еще больше было жалко себя. Во время таких вот приступов предрассветного упадка сил, которые случались со мной теперь все чаще и чаще, я с неизбежностью начинал думать о бесперспективности своей: не было впереди более ничего, на все оставшиеся годы не было впереди ничего такого, ради чего стоило бы превозмогать себя и вставать, тащиться в туалет и воевать с неисправным бачком, затем лезть под душ уже без всякой надежды обрести хотя бы подобие былой бодрости, затем приниматься за завтрак... И мало того что противно было думать о еде: раньше после еды ожидала меня сигарета, о которой я начинал думать, едва продрал глаза, а теперь вот и этого у меня нет...

Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его, и влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер и станет почтительно и в то же время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное — образы, а не слова, и непременно станет он щеголять доморощенными афоризмами, вроде: «Ни кадра на родной земле» или «Сойдет за мировоззрение»... Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед известно, что фильм получится дерьмовый и что на студийном просмотре я буду мучительно

бороться с желанием встать и объявить: снимите мое имя с титров...

И дурак я, что этим занимаюсь, давно уже знаю, что заниматься этим мне не следует, но видно, как был я изначально торговцем псиной, так им и остался и никогда теперь уже не стану никем другим, напиши я еще хоть сто «Современных сказок», потому что откуда мне знать: может быть, и Синяя Папка, тихая моя гордость, непонятная надежда моя, — тоже никакая не баранина, а та же псина, только с другой живодерни...

Ну ладно, предположим даже, что это баранина, парная, первый сорт. Ну и что? Никогда при жизни моей не будет это опубликовано, потому что не вижу я на своем горизонте ни единого издателя, которому можно было бы втолковать, что видения мои являют ценность хотя бы еще для десятка человек в мире, кроме меня самого. После же смерти моей...

Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют довольно странные его произведения, словно смерть очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных аллюзий и коварных подтекстов. Будто неуправляемые ассоциации умирают вместе с автором. Может быть, может быть. Но мне-то что до этого? Я уже давно не пылкий юноша, уже давно миновали времена, когда я каждым новым сочинением своим мыслил осчастливить или, по крайности, просветить человечество. Я давным-давно перестал понимать, зачем я пишу. Славы мне хватает той, какая у меня есть, как бы сомнительна она ни была, это моя слава. Деньги добывать проще халтурюю, чем честным писательским трудом. А так называемых радостей творчества я так ни разу в жизни и не удостоился. Что же за всем этим остается? Читатель. Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых, совершенно посторонних мне людей. Почему меня должно заботить отношение ко мне незнакомых и посторонних людей? Я ведь прекрасно сознаю: исчезни я сейчас, и никто из них этого не заметит. Более того, не было бы меня вовсе или останься я штатным переводчиком, тоже ничего, ну ничегошеньки в их жизни бы не изменилось ни к лучшему, ни к худшему.

Да что там Сорокин Эф А? Вот сейчас утро. Кто сейчас в десятиллионной Москве, проснувшись, вспомнил о Толстом Эль Эн? Кроме разве школьников, не приготовивших урока по «Войне и миру». Потрясатель душ. Владыка умов. Зеркало русской революции. Может, и побежал он из Ясной

Поляны потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта — такая простенькая и такая мертвящая — мысль.

А ведь он был верующий человек, подумал вдруг я. Ему было легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо: нет ничего ДО и нет ничего ПОСЛЕ. Привычная тоска овладела мною. Между двумя НИЧТО проскакивает слабенькая искра, вот и все наше существование. И нет ни наград нам, ни возмездий в предстоящем НИЧТО, и нет никакой надежды, что искорка эта когда-то и где-то проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорке смысл, мы втолковываем друг другу, что искорка искорке рознь, что одни действительно угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары идей и деяний, и первые, следовательно, заслуживают только презрительной жалости, а другие есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтобы жизнь твоя имела смысл.

И так велика и мощна эйфория молодости, что простенькая приманка эта действует безотказно на каждого юнца, если он вообще задумывается над такими предметами, и, только перевалив через некую вершину, пустившись неудержимо под уклон, человек начинает понимать, что все это — лишь слова, бессмысленные слова поддержки и утешения, с которыми обращаются к соседям, потерявшим почву под ногами. А в действительности, построил ты государство или построил дачу из ворованного матерьяла — к делу это не относится, ибо есть лишь НИЧТО ДО и НИЧТО ПОСЛЕ, и жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца...

Склонность к такого рода мрачным умопостроениям появилась у меня тоже сравнительно недавно. И есть она, по моему, предвестник если не самого старческого маразма, то, во всяком случае, старческой импотенции. В широком смысле этого слова, разумеется. Сначала такие приступы меня даже пугали: я поспешно прибежал к испытанному средству от всех скорбей, душевных и физических, опрокидывал стакан спиртного, и спустя несколько минут привычный образ искры, возжигающей пламень, — пусть даже небольшой, местного значения, — вновь обретал для меня убедительность неколебимого социального постулата. Затем, когда такие погружения в пучину вселенской тоски стали привычными, я перестал пугаться, и правильно сделал, ибо пучина тоски, как выяснилось, имела дно, оттолкнувшись от коего я неминуемо всплывал на поверхность.

Тут все дело было в том, что мрачная логика пучины годилась только для абстрактного мира деяний общечелове-

ческих, в то время как каждая конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо понятие смысла, а из горестей и радостей, больших и малых, сиюминутных и протяженных, чисто личных и связанных с социальными катаклизмами. И как бы много горестей ни наваливалось на человека одновременно, всегда у него в запасе остается что-нибудь для согрева души.

Внуки у него остаются, близнецы, драчуны-бандиты чумазые Петька и Сашка, и ни с чем не сравнимое умиленное удовольствие доставлять им радость. Дочь у него остается, Катька-неудачница, перед которой постоянно чувствуешь вину, а за что — непонятно: наверное, за то, что она твоя, плоть от плоти, в тебя пошла и характером, и судьбой. И водочка под соленые грузди в Клубе... Банально, я понимаю, — водочка, так ведь и все радости банальны! А безответственный, вполпьяна, треп в Клубе, это что, не банально? А беспричинный восторг, когда летом выйдешь в одних трусах спозаранку на лоджию, и синее небо, и пустынное еще шоссе, и розовые стены домов напротив, и уже длинные синеватые тени тянутся через пустырь, и воробьи галдят в пышно-зеленых зарослях на пустыре? Тоже банально, однако никогда не надоедает...

Бывают, конечно, деятели, для которых все радости и горести воплощаются именно в деяниях. Их хлебом не корми, а дай порох открыть. Валдайские горы походом форсировать или какое другое кровопролитие совершить. Ну и пусть их. А мы — люди маленькие. С нас и воробьев по утрам предовольно. И вот что: не забыть бы сегодня хоть коробку шоколада для близнецов купить. Или игрушки...

Почувствовав себя на поверхности, я не вставая сделал несколько физкультурных движений (более для проформы), крихтя поднялся и нашарил ногами тапочки. Процедура мне предстояла такая: застелить постель, распахнуть настежь дверь на лоджию и подвигнуться на свершение утреннего туалета. Однако порядок был нарушен в самом начале. Едва я перебросил подушку в кресло, как задребезжал телефон. Я взглянул на часы, чтобы определить, кто звонит. Было семь тридцать четыре, и значит, звонил Леня Шибзд.

— Здорово, — произнес он низким, подпольно-заговорщицким голосом. — Как дела?

— Охайо, — отозвался я. — Боцубоцу-са. Аригато.

— А на каком-нибудь человеческом языке ты не можешь? — спросил он.

— Могу, — сказал я с готовностью. — Эврисинг из о'кей.

— Так бы сразу и сказал. — Он помолчал. — Ну, а чем у тебя все кончилось вчера?

— Ты о чем? — спросил я, насторожившись, потому что ни с того ни с сего мне вдруг вспомнился вчерашний человек в клетчатом пальто-перевертыше.

— Ну, эти твои дела... Куда ты вчера там ездил?

Я наконец сообразил, что он спрашивает всего-навсего о визите на Банную.

— М-мать... — сказал я. — Опять я папку где-то забыл!

Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бессмертной пьесой о Корягиных, а он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, будто кто из писателей женат более трех раз, того изымают из очереди на квартиру в новом писательском доме и будут предоставлять только освобождающуюся площадь. Леню Шибзда это задевало потому, что он был женат уже по четвертому разу.

— В ресторане я ее забыл! — проговорил я с облегчением.

— Кого? — спросил он, охотно прервавшись.

— Папку!

— Какую?

— Канцелярскую. Со шнурочками.

— А внутри? — напирал Шибзд.

— Слушай, — сказал я. — Отстань, а? Я только что встал, постель еще не застелена...

— У меня тоже... Так ты был вчера на Банной?

— Не был я на Банной! Не был!

— А где ты тогда был?

Помыслить было страшно — рассказать Шибзду о вчерашних моих похождениях. И не только потому, что вдруг уставились на меня из вчерашнего дня двустволичьи глаза Ивана Давыдовича и донеслось ядовито-предостерегающее шипение Кости Кудинова, поэта; и не потому даже, что ощущал я во всем этом какую-то пакость, мерзость какую-то. Проще, много проще! Ведь Шибзд — это человек, которого не интересует ЧТО. Его всегда интересует ПОЧЕМУ. Он душу из меня живую вынет, требуя разъяснений, а вынув, затолкает ее обратно как попало, излагая свои собственные чугунные версии, каждая из коих, как нарочно, объясняет только один факт и противоречит всем прочим фактам...

— Леня, — сказал я решительно. — Извини, в дверь звонят. Это я водопроводчика вызвал.

С тем, не слушая протестов, я повесил трубку.

Вообще-то я люблю Леню Баринова. Более того, я его уважаю. И прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность. Шибздик он — маленький, чернявенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он мучительно, буквально по несколько слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею хрестоматийного литературоведения о том, что существует якобы одно-единственное слово, точнее всех прочих выражающее заданную идею, и все дело только в том, чтобы постараться, напрячься, поднатужиться, не поленился и это одно-единственное слово отыскать, и вот таким-то только манером ты и создашь наконец что-нибудь достойное.

И никуда не денешься: литературный вкус у него великолепный, слабости любого художественного текста он вылавливает мгновенно, способность к литературному анализу у него прямо-таки редкостная, я таких критиков и среди наших профессионалов не знаю. И вот этот талант к анализу роковым образом оборачивается его неспособностью к синтезу, потому что сила писателя, на мой взгляд, не в том, чтобы уметь найти единственное верное слово, а в том, чтобы отбросить все заведомо неверные. А Леня, бедняга, сидит и день за днем мучительно, до помутнения в мозгах, взвешивает на внутренних весах своих, как будет точнее сказать: «она тронула его руку» или «она притронулась к его руке»... И в отчаянии он звонит за советом Вале, и жестокий Валя Демченко, не теряя ни секунды, отвечает ему знаменитым аверченковским: «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, где ты девал деньги...» И тогда он в отчаянии звонит мне, а я тоже не сахар, и ему остается только упавшим голосом упрекнуть меня в грубости...

Но есть, есть между нами некое сродство! Я уверен, что, прочитай я ему из своей Синей Папки, он понял бы меня так, как, может быть, никто другой на свете, понял бы и принял бы. Только читать ему из Синей Папки никак нельзя. Ведь он же болтун, он как худое ведро, в нем ничего не держится. Это же любимое занятие его: собирать сведения и затем распространять их кому попало и где попало, да еще и непременно с комментариями... При его великолепной памяти и с сумеречным его воображением... Нет, подумать страшно — читать ему из Синей Папки.

А вот он читал мне из своей повести, над которой тоже работает второй год, — про спринтера, гениального спортсме-

на и несчастного человека. Этот его герой бьет все рекорды на расстояниях до километра, все им восхищаются, все ему завидуют, но никто не знает, почему он эти рекорды бьет. А дело в том, что на тартановой дорожке немедленно просыпается в нем слепой первобытный ужас преследуемого животного. Каждый раз рвется он к финишу, забыв в себе все разумное, все человеческое, с одной только целью — во что бы то ни стало спасти жизнь, оторваться и уйти от наступающей его своры хищников, стремящихся догнать, завалить и сожрать живо. И вот он получает призы, мировую известность, почести — все за свою патологическую, атавистическую трусость, а человек он честный, и любит его славная девушка...

Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравятся, а мне нравятся. Это вам не бурный романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего металла и невыполнения плана по литью.

Размышляя о литературе, о сюжетах и о Шибзде Баринове, я уселся завтракать. Мною же придуманный ядовитый пример насчет бурного романчика вдруг занял мое воображение. Десятилетия проходят, исписываются тысячи и тысячи страниц, но ничего, кроме откровенной халтуры или, в лучшем случае, трогательной беспомощности, литература такого рода нам не демонстрирует.

И ведь вот что поразительно: сюжет-то ведь реально существует! Действительно, металл льется, планы невыполняются, и на фоне всего этого и даже в связи со всем этим женатый начальник главка действительно встречается с замужним технологом, и начинается между ними конфликт, который переходит в бурный романчик, и возникают жуткие ситуации, зреют и лопаются кошмарные нравственно-организационные нарывы, вплоть до КПК...

Все это действительно бывает в жизни, и даже частенько бывает, и все это, наверное, достойно отображения никак не меньше, нежели бурный романчик бездельника-дворянина с провинциальной барышней, вплоть до дуэли. Но получается лажа.

И всегда получалась лажа, и между прочим, не только у нашего брата — советского писателя. Вон и у Хемингуэя высмеян бедняга халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и тщится совместить проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. Замужний технолог, еврейка-агитатор... Язык человеческий протестует против таких сочетаний, когда

речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. «Молодая пешеход добежал до переход...»

У меня вот в «Товарищах офицерах» любовь протекает на фоне политико-воспитательной работы среди офицерского состава Н-ского танко-самоходного полка. И это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это же нужен какой-то особенный читатель — читать такие книги! И он у нас есть. То ли мы его выковали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос — во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается.

Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники — все было белое. Гасли огни в доме напротив, спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись, подфарники у некоторых были уже погашены.

Потому что нет в наше время любви, подумал вдруг я. Романчики есть, а любви нет. Некогда в наше время любить: автобусы переполнены, в магазинах очереди, ясли на другом конце города, нужно быть очень молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь. А любят сейчас только пожилые пары, которым удалось продержаться вместе четверть века, не потонуть в квартирном вопросе, не озвереть от мириад всеразьедающих мелких неудобств, полюбовно поделить между собой власть и обязанности. Вот как Валя Демченко со своей Сонечкой. Но такую любовь у нас не принято воспевать. И слава богу. Воспевать вообще ничего не надо. Костя Кудинов пусть воспекает. Или Ойло Союзное...

— Однако все это философия, а не пора ли за работу? — произнес я вслух.

И я стал мыть посуду. Я не выношу, когда у меня в мойке хоть одна грязная тарелка. Для нормальной работы необходимо, чтобы мойка была чиста и пуста. Особенно когда речь идет о работе над сценариями или над статьями. Я люблю писать сценарии. Из всех видов литературной поденщины мне более всего по душе переводы и сценарии. Может быть, потому, что в обоих этих случаях мне не приходится взваливать на себя всю полноту ответственности.

Приятно все-таки сознавать, что за будущий фильм в конечном счете отвечает режиссер — человек, как правило, молодой, энергичный, до тонкости понимающий, что кино имеет свой язык и главное в кино — не слова, которые я сочиняю, а образы, которые изобретает он. А если что-нибудь

не так, он махнет рукой и скажет беспечно: «А, сойдет за мировоззрение!» А что касается другого его афоризма — «Ни кадра на родной земле», — то пусть-ка он попробует отснять кадры танковой атаки где-нибудь на Елисейских полях! И фильм у него в конце концов получится. Это будет не Эйзенштейн и не Тарковский, конечно, но смотреть его будут, и я сам посмотрю не без интереса, потому что и в самом деле интересно же, как у него получится моя танковая атака.

(Я человек простой, я люблю, чтобы в кино — но только в кино! — была парочка штурмбаннфюреров СС, чтобы огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия и чтобы имела место хор-р-рошая танковая атака, желательна массированная... Киновкусы у меня самые примитивные, такие, что Валя Демченко называет инфантильным милитаризмом.)

Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, два с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок.

Солнце давно уже било в комнату, и было мне жарко, и был я в запарке, и в телефонную трубку не сказал я, а рявкнул. Однако это оказался Федор наш Михеич, и мне, японисту, свято соблюдающему конфуцианские принципы, немедленно пришлось взять тоном ниже.

Слава богу, разговор пошел вовсе не о Банной. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиным и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, что да, знаю я об этом конфликте, была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце. Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Колесниченко жалобу в секретариат и что он, Михеич, хотел бы знать мое, Сорокина, мнение по этому конфликту.

— Дурак он и склочник, этот Орешин, — ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться.

Михеич сурово указал мне, что это не ответ, что от меня ждут не брани-ругани, что от меня ждут объективного мнения по конкретному делу.

Ну какое объективное мнение могло быть у меня по этому делу? На прошлом заседании приемной комиссии этот Олег Орешин, холеный и гладкий мужчина лет пятидесяти в отлично сшитом костюме, сверкая запонками, толстым кольцом и золотым зубом, потребовал вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семена Колесниченко,

который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Орешина, поэта-баснописца, члена приемной комиссии, лауреата специальной премии журнала «Станкостроитель». Он, Олег Орешин, два года назад опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню «Медвежья хлопота». Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда буквально на днях в декабрьском номере журнала «Геймланд» он прочитал повесть «Поезд надежды», переведенную с иврита, в точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его, Олега Орешина, басни «Медвежья хлопота»! Пораженный, он предпринял самостоятельное расследование и установил, что упомянутый С. Колесниченко, совершив плагиат, написал повесть на русском, а потом подsunул ее в редакцию журнала под видом перевода с иврита. С. Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод повести прогрессивного израильского писателя имярек осуществил якобы его прикованный к постели друг и т. д., и т. д., и т. п. Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему и т. д., и т. д., и т. п.

Самым фантастическим в этой бредовой истории было то, что по меньшей мере треть приемной комиссии горячо приняла к сердцу жалобу О. Орешина и тут же стала с живостью предлагать меры одна другой жутче. Однако силы разума возобладали. Председатель наш, моментально сообразив, что волочь эту склоку на горбу придется лично ему, очень строго объявил: он лично понимает возмущение товарища Орешина, но дело это в компетенцию приемной комиссии никак не входит, и отвлекаться на него приемная комиссия никак не может.

Я, грешным делом, подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, пределов человеческой глупости. Не кончилось это дело. Впрочем, Михеич был прав: бранью-руганью, как и бесплодными сентенциями по поводу пределов глупости, здесь не обойдешься. Я подобрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что аргументы Олега Орешина для меня не убедительны. Превращение басни в повесть, даже если таковое имело место, лежит, по моему мнению, за гранью понятия о плагиате. Мне, с другой стороны, бывалому переводчику, было бы очень интересно узнать, как это Колесниченке удалось выдать свое собственное произведение за перевод. На мой взгляд, это просто невозможно.

Вот это была речь не мальчика, но мужа. Михеич выслушал ее, не перебивая, поблагодарил и повесил трубку. О Банной так и не было вспомнено.

Я вылез из-за стола, открыл дверь на лоджию и постоял на пороге в лучах солнца. Я чувствовал себя опустошенным, усталым и убоготворенным. Так или иначе, а сегодняшний урок был выполнен, и даже с походом. Теперь можно было с чистой совестью упрятать сценарий в стол, накрыть машинку и спуститься за газетами. Что я и сделал.

Кроме газет пришло мне два письма. Одно официальное, из Клуба, приглашали меня на концерт неизвестного мне барда, и я подумал, что приглашение это надо отдать Катьке, — может быть, ей это будет интересно.

Второй конверт был самодельный, из плотной коричневой бумаги, клапан его был заклеен скотчем, адрес с прибавлением «лично, в собственные руки!» написали черной тушью, а вот обратного адреса не написали.

Я терпеть не могу писем без обратного адреса. Они приходят не часто, но каждый раз содержат какую-нибудь пакость, или неприятность, или источник дополнительных хлопот и беспокойств. С досадой я полез в стол за ножницами, но тут опять раздался телефонный звонок.

На этот раз звонила Зинаида Филипповна, она кротко напомнила мне, что очередное заседание приемной комиссии через десять дней, я же до сих пор не взял у нее книги для ознакомления. Я спросил, много ли народу предстоит обсудить. Оказалось: двух прозаиков, двух же драматургов, трех критиков и публицистов и одного поэта малых форм, всего же восьмерых. Я спросил, что это такое — поэт малых форм. Она ответила, что никто этого толком не знает, но именно с этим поэтом ожидается скандал. Я пообещал зайти на днях.

Опять скандал. Вот бы о чем написать, подумал я. Типичное заседание приемной комиссии. Сначала, чтобы спихнуть с плеч долой, обсуждается дело какого-то бедолаги по секции научно-популярной литературы. Докладчик произносит негодующую речь против, при этом все время путает батисферу со стратосферой и батискаф с пироскафом. Комиссия слушает в молчаливом ужасе, некоторые украдкой крестятся, слышится: «Чур меня, чур!» Общий пафос докладчика: «Где же здесь литература?» Второй докладчик краток и честен: ни одной книжки претендента до конца прочитать не сумел, ничего не понял, инфузории-лепрозории, претендент — доктор наук, ну на кой ляд ему членство

в Союзе?.. Выступает председатель: Космос, век НТС (он имеет в виду НТР), нельзя забывать, что авторитет нашей организации... высокая литература... Антон Павлович Чехов... Лев Толстой... Александр Сергеевич... Сортир Сортирч... Первого претендента единодушно проваливают при тайном голосовании с единственным «за».

Второй претендент — медик, хирург, прямая кишка, но влюблен в наше село. Докладчик с неспящими глазами шумно восхищается этой любовью и пересказывает два блистательных сюжета из претендента. Едет мужик на подводе по лесу, и вдруг — тигр (Рязанская область, село Мясное). Мужик — бежать. Тигр — за ним. Мужик залез по шею в прорубь, а тигр сел на краю и всю ночь над ним всхрапывал, а потом оказалось, что тигр бежал из зоопарка, но без людей не может, вот и привязался к мужику... Всеобщее восхищение, добродушный смех, одобрительные возгласы лейб-гвардейцев. Следует второй сюжет: мужик пришел к врачу с жалобой на внутреннюю болезнь, а врач попросил его принести анализы. Мужик же решил, что с него требуют взятку, и написал в прокуратуру. Однако оказался рак, врач его успешно оперирует, мужик спасен, но тут прямо в операционную приносят повестку из прокуратуры... Снова восхищение и одобрительные возгласы, один из лейб-гвардейцев плачет от смеха, уткнувшись лицом мне в плечо. Второй докладчик растроганным голосом читает из претендента описание сельской местности; восхищение и одобрение преобразуются в громовое сюсюканье и водопадные всхлипывания, после чего претендента опять-таки проваливают, но уже при трех «за». Все смущены. Лейб-гвардеец объясняет мне: «Ну, не знаю. Я как был «за», так и голосовал «за»...»

Потом принимаются за бывшего министра коммунального хозяйства одной южной республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том — что-то вроде «Развития прачечного дела от царицы Тамар до наших дней».

Тут размышления мои вновь были прерваны телефонным звонком. Федор Михеич произнес озабоченно:

— Извини, Феликс Александрович, что я опять тебя отрываю... Ты как вчера — на Банной был?

— Да, — сказал я. — А как же... Все отвез в лучшем виде.

— Ну, спасибо. Тогда у меня все.

Федор Михеич повесил трубку, а я встал из кресел и пошел прямо в прихожую надевать башмаки. И только уже одевшись, обмотавшись шарфом и напялив шапку, перчатки

уже натянув и даже взявшись уже за барабанчик замка, вспомнил я, слава богу, что подопытная-то рукопись моя осталась вчера в Клубе... и если я сейчас заеду за нею в Клуб...

Я вернулся в комнату, кряхтя достал наугад какую-то папку потоньше из малого архива, что у меня под столом (черновики переводов, вторые экземпляры аннотаций на японские патенты, черновики рецензий и прочая макулатура), обвязал ее для прочности веревочкой, кое-как засунул в карман куртки коричневый конверт без обратного адреса (прочитать по дороге) и вышел вон.

Дом на Банной оказался серый, бетонный, пятиэтажный. Левое крыло его было обстроено лесами, леса же были забиты снегом и пусты. Средняя часть фасада выглядела достаточно свежо, а правое крыло впору было уже снова ремонтировать. Подъезд был один — посередине фасада. Дверной проем был широкий и, по замыслу архитекторов, должен был пропускать одновременно шесть потоков входящих и исходящих, однако, как водится, из шести входных секций функционировала лишь одна, прочие же были намертво заперты, а одна даже забита досками, кокетливо декорированными под палитру неряшливого живописца. И, как водится, справа и слева от дверного проема красовались разнокалиберные стеклянные вывески с названиями учреждений, так что вовсе не сразу обнаружил я скромную вывеску с серебряной надписью: «Институт лингвистических исследований АН СССР».

Не без труда протиснувшись через функционирующую секцию, я некоторое время блуждал среди темных кулис в толпе таких же бедняг, как я. Здесь было темно, тревожно, а под ногами намесили столько снега, что из опасения упасть мы все придерживались друг за друга.

Вырвавшись наконец на оперативный простор, я оказался перед широчайшей лестницей, которая возвела меня в огромный круглый зал, высотой во все пять этажей. Середина этого зала была разгорожена на многочисленные деревянные клетушки, сверху, через грязную стеклянную крышу, просачивался серенький дневной свет, слева от меня стеклянный киоск торговал изопродукцией, а справа продавали жареные пирожки и бисквит с повидлом.

Куда идти дальше, я даже представить себе не мог, а когда попытался выяснить это у тех, с кем плечо к плечу прорывался через кулисы, оказалось, что все они пришли сюда за бисквитом — кроме одного старичка, которого послали за пирожками.

Старуха в киоске сказала, что работает здесь всего второй день. И лишь накрашенная дамочка без пальто и с разносной книгой под мышкой послала меня направо и вверх, и там, на первой лестничной площадке, я обнаружил указатель.

Мне надо было на третий этаж, и я начал восхождение по железной винтовой лестнице, где опять было темно и тревожно, подошвы соскальзывали с неравновеликих ступенек, навстречу кто-то тяжело и страшно пыхтел, норовя столкнуть меня вниз, или с придушенным женским визгом дробно грохотал, поскользнувшись. А снизу вверх подпирало меня в спину чем-то твердым, неодушевленным, деревянным, судя по ощущению, и изрыгающим невнятную брань.

Впрочем, всему приходит конец. Я оказался на площадке третьего этажа, пыхтя, отдуваясь, размышляя, не принять ли нитроглицерин, и тут в последний раз меня саданули пониже спины, и невнятный голос осведомился: «Ну, чего встал, стояло?» — и мимо меня пронесли деревянную стремянку, да такой длины, что я глазам не поверил: как могли протащить такое по винтовой лестнице?

Положив под язык крупинку нитроглицерина, я огляделся. На площадку выходили, как в сказке, три двери: направо, налево и прямо. Судя по вывеске, мне надо было направо, и направо я пошел и за дверью обнаружил столик, а на столике — лампочку, а за лампочкой — старушку с вязаньем. Она взглянула на меня добродушно-вопросительно, и мы поговорили.

Старушка была полностью в курсе. Писателям полагалось проходить в комнату номер такую-то, через конференц-зал, а до конференц-зала идти по этому вот коридору, никуда не сворачивая, да и сворачивать здесь особенно некуда, разве что в буфет, так буфет еще закрыт. Я поблагодарил и тронулся, а старушка сказала мне вслед: «Только там собрание...» — и я, хоть и не понял ее, но на всякий случай обернулся и благодарно ей покивал.

Коридор. Не часто встретишь теперь такие коридоры. Этот коридор был узкий, без окон, с таинственными зарешеченными отдушниками под потолком, с глухими железными дверьми, возникающими то справа, то слева, высланный скрипучими неровными досками, опасно поддающимися под ногой. И не прямым был этот коридор, он шел классическим фортификационным зигзагом, причем каждый отрезок зигзага не превышал двадцати метров. Здесь все было рассчитано на тот случай, когда панцирной пехоте противника удалось

сломить наше сопротивление на винтовой лестнице, и она, пехота, опрокинув старушку с ее столиком, ворвалась сюда, еще не зная, какая страшная ловушка ей здесь уготована: из отдушин под потолком на нее изливаются потоки кипящего масла; распахнувшиеся железные двери оцетиниваются копьями с иззубренными наконечниками шириной в ладонь; доски под ногами рушатся; и из-за каждого угла зигзага поражают ее в упор беспощадные стрелы... Я весь испариной покрылся, пока дошел до конца этого коридора.

Как и предсказала честная старуха, коридор вывел меня в конференц-зал. Но только здесь постиг я смысл ее последних слов. В конференц-зале действительно происходило какое-то собрание, скорее всего — общее, потому что яблоку было негде упасть от сидящего и стоящего народа. Я вынужден был остановиться на пороге. Дальше пути не было.

Сначала я не воспринял это собрание как помеху моим намерениям. Собрание как собрание, стол с зеленой скатертью, графин с водой, с трибуны кто-то что-то говорит, а по меньшей мере три сотни гавриков и гавриц при сем присутствуют (вместо того, чтобы двигать научно-технический прогресс). Привстав на цыпочки, я озираю окрестности поверх моря голов до тех пор, пока не обнаружил в дальнем от себя углу зала малоприметную дверь, над которой красовалось белое полотнище с черной надписью: «Писатели — сюда». Вот только тогда я начал осознавать размеры постигшей меня неудачи.

О том, чтобы пробиться к этой двери через собрание, не могло быть и речи, я не Бэнкэй, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме, я этого не умею и не люблю. О том, чтобы гордо повернуться и уйти, тоже не могло быть и речи, я уже зашел слишком далеко. Логически рассуждая, оставалось только одно: ждать, уповая на то, что нет собраний, которые длились бы вечно.

Придя к такому выводу, я сразу подумал о буфете. Где-то позади, за одной из этих страшных железных дверей, давали ватрушки, бутерброды с колбасой, пепси-колу, а может быть, даже и пиво. Я поглядел на часы. Без десяти три было на моих, и если буфету вообще суждено было сегодня открыться, то, скорее всего, через десять минут. Десять минут можно было и перетерпеть. Я перенес тяжесть тела на одну ногу, уперся плечом в косяк и стал слушать.

Очень скоро я понял, что присутствую на товарищеском суде. Обвиняемый, некий Жуковицкий, взял манеру делать

несчастливыми молодых сотрудниц своего отдела. Вначале это сходило ему с рук, но после третьего или четвертого случая терпение общественности лопнуло, преступления возопили к небесам, а жертвы возопили к местному. Обвиняемый, наглой красоты мужчина в сверкающей хромовой курточке, сидел, на-бывчившись, на отдельном стуле слева от президиума и вид являл упорствующий и нераскаянный, хотя и покорный судьбе.

В общем, дело показалось мне пустяковым. Ясно было, что вот сейчас кончит болтать член месткома, затем вылезет на трибуну завотделом и распнет подсудимого на кресте общественного порицания и тут же, без перехода, попросит суд о снисхождении, потому что в отделе у него одни девы и каждый сотрудник-мужчина на вес золота; потом председательствующий в краткой энергичной речи подведет черту, и все ринутся в буфет.

Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица — любимое мое занятие на собраниях, совещаниях и семинарах. И уже через минуту, к изумлению своему, обнаружил в пятом ряду, прямо напротив президиума, шелушащуюся ряшку Ойла моего Союзного, Петеньки Скоробогатова и унылый профиль его друга-бильярдиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала, прочно и по праву. Бильярдист сидел смиренно и только лупал глазами на президиум: видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойло же Союзное был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа и что-то ей втолковывал, потрясая толстым указательным пальцем; потом всем корпусом устремлялся вперед, всовывал свою голову между головами соседей впереди и что-то втолковывал им, причем приподнятый толстый зад его совершал сложные эволюции; потом, словно бы вполне удовлетворенный понятливостью собеседников, откидывался на спинку своего стула, скрещивал руки на груди и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимались шептать ему соседи сзади. С трибуны несло:

— ...и в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдать все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследований, на развитие и углубление наших связей со смежными областями науки, в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, морально-нравственный уровень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность...

— И животноводство! — вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем.

По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались.

— Безусловно... это бесспорно... и животноводство тоже... Но что касается конкретно товарища Жуковицкого, то мы не должны забывать, что он наш товарищ...

Ай да Ойло Союзное! Нет, как хотите, а что-то человеческое, что-то такое с большой буквы в нем, безусловно, есть. Невзирая на его поросячьи, вечно непроспанные глазки. Невзирая на постоянный запах перегара, образующий как бы его собственную атмосферу. Невзирая на беспримерную бездарность и халтурность его сочинений для школьников. Невзирая на его обыкновение подсаживаться без приглашения и наливать без спросу... (Впрочем, нет, тут я не прав. Конечно, Ойло, как правило, ходит без денег, потому что всегда в пропое. Но уж когда у него есть деньги!.. Подходи любой, ешь-пей до отвала и с собой уноси.) Он выдумщик, вот что его извиняет. Воплотитель в практику самых невозможных фантазий, какие бывают разве что в анекдотах.

Однажды в Мурашах, в доме творчества, дурак Рогожин публично отчитал Ойло за появление в столовой в нетрезвом виде да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойло выслушал все это с подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе прямо перед крыльцом дома появилась надпись: «Рогожин, я Вас люблю!» Надпись эта была сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб.

Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойло с утрюмым лицом рассказывает среди них и приговаривает: «Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают...» Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегают взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожина (и для себя, конечно) несколько фотоснимков: надпись, Рогожин на фоне надписи, просто Рогожин и снова надпись. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. Сорок пять минут на электричке, пустяк.

С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку — в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о диффамации. В фотолаборатории Клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Полина Златопольских (мечтательно заведя глаза): «Однако же, какая струя!»

Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Диффамация заключена в способе, коим произведена надпись, заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатова. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валятся друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнение в ответственности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающей якобы, будто свойства идеомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается продемонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем, угрожает дойти до ЦК и вообще ведет себя безобразно.

В конце концов Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. «Но не так же, как вы думаете, пошляки! Да разве это в человеческих силах?» Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: «Рогожин, я к Вам равнодушен!» Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается.

Каков Скоробогатов, Ойло мое Союзное?!

Громовой возглас «И животноводство!» вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе. О дорогой шубе. Об

импортной шубе. Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шубы. О жертвах сластолюбия и распущенности с трибуны больше не поминали, история же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе, он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных.

Я взглянул на часы. Было уже начало четвертого. Имело смысл поискать буфет, но тут через меня в коридор выскользнули двое юношей бледных со взором горящим, вынули сигареты и закурили, жадно затягиваясь. Что бросилось мне в глаза, так это противоестественное их оживление, бодрость какая-то, азарт. Никакого утомления, никакой скуки — напротив, они явно стремились как можно скорее проглотить свою порцию никотина и вернуться в зал. В жизни своей не видал, чтобы люди были так захвачены собранием.

Я спросил их, как долго, по их мнению, еще продлится это словоблудие. Я видел, что это выражение их покорило. Очень сухо они объяснили мне, что собрание сейчас в самом разгаре и вряд ли окончится раньше конца работы. Потом один из них догадался: «Вы писатель, наверное?» — «Увы», — сознался я. «А как ваша фамилия?» — с юношеской непосредственностью осведомился другой. «Есенин», — сказал я и пошел домой.

Проклиная по дороге все собрания самым страшным проклятьем, я зашел на Петровке в игрушечный магазин, купил близнецам-бандитам по автомобилю и вступил в свою квартиру уже вполне в духе. На кухне шуровала Катька. Мой изголодавшийся нос пришел в восторг и немедленно сообщил этот восторг всему моему организму: на кухне тушилось мясо по-бургундски.

Пока я раздевался, Катька вылетела из кухни, подставила мне горячую щеку и, держа лоснящиеся от готовки руки как хирург перед операцией, с ходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах на службе.

Сначала я слушал ее вполслуха, потому что уже в который раз поразился: такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, этакая гаврица — и неудачница! Как это может быть? Нелепость какая-то. Всегда я

считал, что женщина с изюминкой просто обречена на успех, и вот на тебе... Тридцать лет. Двое детей. Первый муж растворился в воздухе. Второй муж барахло, слизняк какой-то непросыхающий. На работе конфликты. Диссертация три года как готова, а защититься не может. Несообразно все это, необъяснимо...

Машинально я пошел за нею на кухню и вдруг осознал, что говорит Катька какие-то странные вещи, непосредственно до меня касающиеся.

Оказывается, сегодня, после обеденного перерыва, ее вызвал к себе кадровик и устроил ей форменный допрос. Большой частью вопросы были обыкновенные, анкетные, но между ними, как бы невзначай, проскакивали вопросы, не лезущие ни в какие ворота. Чуткая Катька сразу же засекала их, не подавая виду, запомнила и сейчас добросовестно, один за другим мне пересказывала... С какого возраста она помнит своего отца, то есть меня? Была ли когда-нибудь у него на родине, то есть в Ленинграде? Знает ли кого-нибудь из довоенных друзей отца? Встречался ли при ней отец с кем-нибудь из этих друзей? Рассказывал ли ей отец о судьбе дома в Ленинграде, где вырос и жил до войны?..

Отбарабанивши все это, она замолчала и посмотрела на меня выжидательно. Я тоже молчал, с ужасом чувствуя, как лицо мое заливается краской, а глаза уезжают в угол самым подозрительным образом. Ощущал я себя полным идиотом.

— Пап, ты, может быть, опять что-нибудь натворил? — спросила она, понизив голос.

Она была напугана, а реакция моя на ее рассказ напугала ее еще более. Я же только сопел в ответ. Тысячи слов рвались у меня с языка, но все они, как назло, были мелодраматические, фальшивые и предполагали жесты вроде простиранья дланей, задирание очей горе и прочую шиллеровщину. Потом вдруг страшная мысль озарила меня: что, если за бугром снова напечатали меня помимо ВААПа? Ну что за сволочи, в самом деле! И меня прорвало.

— Чушь проклятая! — гаркнул я. — Не было ничего и быть не могло! Что ты на меня глаза выгаращила? Ну, наступала какая-нибудь стерва... Мало ли что... Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал?

— Побеседовать, — сказала Катька. — Я, может быть, в Ганду поеду...

— В какую еще Ганду? В Африку? А бандитов куда?

Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов

забирает Клара, квартиру она сдает Шукиным, собрания сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Klarой и с ее генералом, не желаю выкупать собрания сочинений... А потом — как же Альберт? Его тоже забирает Клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань? Прелестно! Поздравляю! Опять двадцать пять — по следам мамыши. Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в Ганде сейчас стреляют.

Ну, она знает, как со мной обращаться. Пока я шипел и испарялся, она ловко навалила мне полную тарелку мяса с грибами, тушенного в красном вине, налила мне на два пальца коньячку и усадила за стол. Я крикнул, выпил, смягчился, бросил на нее последний взгляд, полный родительского упрека, и взялся за вилку.

— А ты чего же? — как обычно спохватился я с уже набитым ртом.

— А я уже, — как обычно ответила она, встала коленками на стул и, отключив круглую задницу, упершись локтями в стол, очень довольная, стала смотреть, как я ем.

— Раз в Ганду, — прочавкал я, — тогда не бери себе в голову. Это просто кадровик уже и сам не знает, о чем спрашивать. Про мать спрашивал?

— Спрашивал.

— Ну вот! Отрежь-ка мне булочки.

— Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась, — сказала Катька, нарезая булку.

Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой об стол: что за свинство, какое его собачье дело? Но потом подумал: да провались они все пропадом, мне-то что до них? А если Катьку в Ганду не пошлют, так тем лучше. Не хватало мне еще Катьки в Ганде, где идет пальба и огромные толпы негров поливают друг друга напалмом...

— Странные все какие-то вопросы были, — произнесла Катька тихо. — Необычные. Пап, у тебя в самом деле все в порядке? Ты не скрываешь?

Вот почему никогда не дам я собственной своей, единственной и любимой дочери хоть страничку прочитать из Синей Папки. Как обожгло ее страхом после той статейки Брыжейкина о «Современных сказках», когда увезли меня с первым моим настоящим приступом стенокардии, так и осталась она до сих пор словно порченная. И сейчас вот — улыбается, остриг, хвост пистолетом, а в глазах все тот же

страх. Помню я эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки...

Я успокоил ее, как умел, мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов, я рассказал про Петеньку Скоробогатова и про собрание, сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет. Потом я спохватился, отдал ей автомобили для бандитов и пригласительный билет на барда. Билет она приняла с восторгом и стала мне рассказывать про этого барда, какой он сейчас знаменитый, а я слушал и думал, как бы это поделикатнее дать ей понять, что про ателье и шубу (опять шуба!) я совсем не забыл, помню я про шубу, хотя она, Катька, мне о ней и не напоминает, просто с духом мне никак не собраться... Забрехала тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Ганду вопрос о шубе увянет сам собой: в самом деле, ну зачем ей шуба в этой Ганде?

Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. Кирие элейсон! Господи, спаси нас и помилуй! Звонил О. Орешин.

Он звонил мне с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его, Орешина, борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко. Заручившись моим положительным отношением, а он не скрывает, что я не первый, к кому он обращается за поддержкой, уже несколько авторитетных членов секретариата обещали ему полное содействие в беспощадной борьбе против плагиатчиков, без какого содействия, конечно же, немыслима сколько-нибудь реальная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчиков...

Я с болезненным даже любопытством ждал, как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Бруно, я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего начался у него этот невероятный период, однако не на такового я напал.

Так вот, заручившись моим положительным отношением, он, Орешин, на предстоящем заседании секретариата сумел бы поставить вопрос о мафии плагиатчиков с той резкостью и остротой, которой так не хватает нам, когда речь идет о людях, формально являющихся нашими коллегами, в то время как они морально и нравственно...

Я осторожно положил трубку на стол, принес стакан воды и принял сутак. Олег Орешин все бубнил. Я снова попытался понять его психологию. Откровенно говоря, месяц назад, в момент возгорания сыр-бора, я принял его

за обыкновенного зоологического антисемита вроде лейб-гвардейцев. Но теперь я понимал, что ошибся. Не был он антисемитом. Более того, не был он и политическим демагогом. Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а может быть, и в порыве неистового вдохновения создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых и алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев, и вдруг — пожалуйста! — возникает какой-то Колесниченко, ловкач, этакий мотылек, литературный паразит по призванию, ни мук творчества у него не бывает, ни вдохновения, а просто зоркие глаза да загребущие лапы — хватает то, что плохо лежит, тяп-ляп, быстренько перелопачивает — и готово! А чтобы половчее концы в воду, выдает свою стряпню за перевод с какого-то экзотического языка, уповая на то, что читать на нем все равно никто не умеет.

Дурак он, этот О. Орешин, вот что. Причем дурак не в обиходном, легком смысле слова, а дурак как представитель особого психологического типа. Он среди нас как пришелец-инопланетянин: совершенно иная система ценностей, незнакомая и чуждая психология, иные цели существования, а то, что мы свысока считаем заскоружлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от психологической нормы, есть на самом-то деле исходно здоровый костяк его миропонимания.

— ...а в противном случае никто из нас, честных писателей, а ведь их большинство, колесниченки просто бросаются в глаза, а большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главное — честный труд, тщательное изучение материала, идейно-художественный уровень...

— И животноводство! — рявкнул я по наитию.

Целую секунду, а может быть, и две трубка молчала. Затем Орешкин произнес нерешительно:

— Животноводство? Да... животноводство — без всякого сомнения... Но вы поймите, Феликс Александрович, какое обстоятельство для меня здесь является самым важным?..

И он затаил все сначала.

В общем мы договорились с ним так, что я ознакомлюсь с этим делом поближе: прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседую с Колесниченко, а уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор.

Ф-фу! Я бросил трубку и наподобие Счастливчика Джима, вскочивши с ногами на диван, принялся яростно

чесать у себя под мышками и корчить ужасные гримасы. Нет спасенья, крутилось у меня в голове. Нет им спасенья, повторял я, подпрыгивая и гримасничая. Нет и не будет нам спасенья ныне и присно и во веки веков, аминь! Я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки крестом.

Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер, хоть и ранний, а все-таки вечер, и я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад я в такую вот пору еще садился за машинку и набарабанивал две-три полноценные страницы, а теперь амба, товарищ Сорокин, теперь ничего путного в такую пору вам уже не набарабанишь, только настроение себе испортите, и все дела...

И снова зазвонил телефон. Я кряхтя поднялся и взял трубку. Я еще не успел осознать вспыхнувшую надежду, что это Рита, когда мужской голос тихо произнес:

— Феликса Александровича будьте добры.

— Я.

После маленькой паузы голос спросил:

— Простите, Феликс Александрович, вы получили наше письмо?

— Какое письмо?

— Э-э... Наверное, еще не дошло... Простите, Феликс Александрович... Мы тогда позвоним дня через два... Простите... До свидания...

И пошли короткие гудки.

Что за черт... Я торопливо перебрал в памяти письма последних дней и вдруг вспомнил про коричневый конверт без обратного адреса. Куда я его сунул? А! Я его в карман куртки сунул, да и забыл... Невнятное тоскливое предчувствие, которое я ощутил давеча, обнаружив отсутствие обратного адреса, снова овладело мною.

Я включил свет, сходил в переднюю за конвертом и, усевшись за стол, стал разглядывать штемпели. Ничего особенного в штемпелях не оказалось. Москва, Г-69 — где это?.. Бумага очень плотная, на просвет не проглядывается, но на ощупь в конверте ничего, кроме письма, нет. Я взял ножницы и аккуратно, по самому краю, взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уже вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было, написано было только: «Феликсу Александровичу Сорокину лично! Посторонним не вскрывать!»

Я поймал себя на том, что сижу, выпятив губу, в полной нерешительности. Телефонный звонок... «Мы позвоним...»

Катькин кадровик... Перспектива нести этот конверт куда следует и давать какие-то объяснения, в том числе и в письменном виде, навалилась на мою душу. А впрочем... «Да. Было какое-то письмо. Чуть какая-то. Не помню. Я, знаете, их много получаю, на каждый, знаете, чих не наздравствуешься...»

Я решительно взрезал и второй конверт.

В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезами. Четким и даже красивым почерком черными чернилами написано там было следующее. Без обращения.

«Мы давно уже догадались, кто Вы такой. Но не беспокойтесь. Ваша судьба так дорога и понятна нам, что с нашей стороны ни о какой угрозе разоблачения не может быть и речи. Наоборот, мы готовы приложить все силы к тому, чтобы погасить слухи, которые уже возникают относительно Вас и причин, по которым Вы среди нас оказались. Если Вы не можете покинуть нашу планету (или наше время) по техническим причинам, то знайте: пусть наши технические возможности невелики, но они в полном Вашем распоряжении. Мы будем звонить Вам. Работайте спокойно».

Черт бы их всех подрал, анацефалов.

6. Банев. Возбуждение к активности

Виктор проснулся поздно, пора было обедать. Голова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим.

Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, открыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служебный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, опрятная, причесанная по последней моде — никаких косичек, — кажется даже, с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной глупости, а это казалось ему непедagogичным. Кончилось все тем, что Ирма вдруг ни с того ни с сего разрешила ему курить (при условии, если все окна будут открыты) и принялась рассказывать, как ей было интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень верила, какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в высшей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хороший, не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана — «почти наша», всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний, и слишком

уж она любит выпить, а ребятам ты понравился, потому что говорил честно, не притворялся каким-нибудь хранителем высшего знания, и правильно, потому что никакой ты не хранитель, и даже Бол-Кунац сказал, что в городе ты — единственный стоящий человек, если не считать, конечно, доктора Голема, но Голем, собственно, к городу не имеет никакого отношения, и потом, он не писатель, не выражает идеологии, а как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее, сейчас многие полагают, что будущее за деидеологизацией...

Получился прекрасный разговор, собеседники были полны уважения друг к другу, и, вернувшись в гостиницу (автомобиль он загнал в какой-то захламленный двор), Виктор уже считал, что быть отцом — не такое уж неблагоприятное занятие, особенно если разбираешься в жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в воспитательных целях. По этому поводу он выпил с Тэдди, который тоже был отцом и тоже интересовался воспитанием, ибо его первенцу было 14 лет — тяжелый переломный возраст, ты еще со своей наплачешься... то есть это его первому внуку было 14 лет, а воспитанием сына он не занимался потому, что сын свое детство провел в немецком концлагере. Детей бить нельзя, утверждал Тэдди. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет полезнее.

После какой-то рюмки, однако, Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка, и пришел к выводу, что девчонка хитра и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя и загнал, — по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Р.Квадрига и заказал свою обычную бутылку рома, и они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять стало представляться в радужном свете, потому что обнаружилось, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает отца и, может быть, даже любит... Потом пришел еще кто-то и заказал еще что-то. Потом, вероятно, Виктор отправился спать... Вероятно... Надо полагать, что спать... Правда, сохранилось еще одно воспоминание: кафельный пол, сплошь залитый водой, — но что это был за пол и что это была за вода, вспомнить было невозможно. И не надо...

Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз, взял у портье свежие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде.

— Как я вчера? — спросил он небрежно. — Ничего?

— В общем ничего, — сказал портье вежливо. — Счет вам Тэдди передаст.

— Ага, — сказал Виктор и, решив пока ничего не уточнять, пошел в ресторан. Ему показалось, что торшеров в зале поубавилось. Черт возьми, испуганно подумал он. Тэдди еще не было. Виктор поклонился молодому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул газету. В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину Президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину Президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту совершали бандитские, злодейские нападения. Сам господин Президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин. Знакомый критик — большая сволочь — восхвалял новую книгу Роц-Тусова, и это было загадочно, потому что книга получилась хорошая.

Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно посоветовал взять устриц, принял заказ, помахал салфеткой по столику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположившись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки ему всегда с удовольствием думалось о работе. Хорошо бы написать оптимистическую веселую повесть... О том, как живет на свете человек, любит свое дело, не дурак, любит друзей, и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо, — славный такой парень, чудаковатый, остряк... Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит, скучно. И вообще, если уж писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому хорошему человеку хорошо, и неизбежно придешь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на все прочее ему наплевать. И тогда какой же он хороший человек, если ему на все наплевать, кроме любимой работы?.. Можно, конечно, написать про человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближнему, ему потому хорошо, что он любит своих ближних и любит свое дело, но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господина Лука, Матфей, Иоанн и еще кто-то — всего четверо. Вообще-то их было гораздо больше, но только эти четверо писали в соответствии, остальные были ли-

шены кто национального самосознания, кто права переписки... а человек, о котором они писали, был, к сожалению, полоумный... А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит на Землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания... Христос приходит в генеральный штаб и предлагает: любите, мол, ближнего. А там, конечно, сидит какой-нибудь юдофоб...

— Вы разрешите, господин Банев? — пророкотал над ним приятный мужской голос.

Это был господин бургомистр собственной персоной. Не тот апоплексически-багровый, хрюкающий от нездорового удовольствия боров на обширном ложе господина Росшепера, а элегантно-округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в петлице и со щитком Легиона Свободы на левом плече.

— Прошу, — сказал Виктор без всякой радости.

Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе.

— Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, господин Банев, — сказал он, — и попытаюсь не портить вашу трапезу, однако же вопрос, с коим я намерен к вам обратиться, назрел уже достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши дела для его скорейшего и эффективнейшего разрешения.

— Я вас слушаю, — сказал Виктор.

— Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке скорее неофициальной, ибо я, сознавая вашу занятость, не рискнул беспокоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас как лицо вполне официальное — и от своего имени лично, и от имени муниципалитета в целом...

Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр поднятием пальца остановил его.

— Друг мой, — сказал он. — Полпорции китчинганской осетрины и рюмку мятной. Осетрину без соуса... Итак, я продолжаю, — сказал он, снова оборотившись к Виктору. — Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах не только печальных, но, я бы даже сказал, неаппетитных. Я намеревался поговорить с вами о так называемых

мокрецах, об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу.

— Да-да, — сказал Виктор. Ему стало интересно.

Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь. Он рассказал о том, как двадцать лет назад, сразу после оккупации, в Лошадиной долине был создан лепрозорий, карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой желтой проказой, или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей стране еще в незапамятные времена, причем, как показывают специальные исследования, особенно часто она почему-то поражала жителей именно нашей округи. Однако только благодаря усилиям господина Президента на эту болезнь было обращено самое серьезное внимание, и лишь по его личному указанию несчастные, лишенные медицинского ухода, разбросанные ранее по всей стране, подвергаемые зачастую несправедливым гонениям со стороны отсталых слоев населения, а со стороны оккупантов — даже прямому истреблению, эти несчастные были наконец свезены в одно место и получили возможность сносного существования, приличествующего их положению. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры могут только приветствоваться, однако, как это у нас иногда бывает, самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не будем сейчас искать виновных. Не будем заниматься расследованием деятельности господина Голема, деятельности, возможно, самоотверженной, но, однако же, чреватой, как теперь выяснилось, самыми неприятными последствиями. Не будем также заниматься преждевременным критиканством, хотя позиция некоторых, достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной. Перейдем к фактам. Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил осетринкой, и голос его сделался еще более бархатистым — совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многословно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах, каковые слухи, он должен прямо признаться, есть результат недостаточно точного и единодушного исполнения всеми уровнями администрации предначертаний господина Президента: мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности за уве-

личение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за гомерический исход из города некоторых домашних животных и за появление особой разновидности домашнего клопа, а именно — клопа крылатого...

— Господин бургомистр, — сказал со вздохом Виктор. — Должен вам признаться, что мне крайне трудно следить за вашими длинными периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья одной нации. Давайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить, и будем — о чем будем.

Бургомистр окинул его быстрым взглядом, что-то рассчитал, что-то сопоставил; черт его знает, что он там сопоставлял, но, наверное, все пошло в ход — и то, что Виктор пьянствовал с Росшепером, и то, что он вообще пьянствовал, шумно, на всю страну, и то, что Ирма — вундеркинд, и то, что есть на свете такая Диана, и еще, наверное, много что — так что лоску у господина бургомистра на глазах поубавилось, и он крикнул подать себе рюмку коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел опустевший уже зал, легонько ударил кулаком по столу и сказал:

— Ладно, что нам с вами вилять, в самом деле. Жить в городе стало невозможно, скажите спасибо вашему Голему — кстати, вы знаете, что Голем — скрытый коммунист? Да-да, уверяю вас, есть материалы... он на ниточке висит, ваш Голем... Так вот я и говорю: детей развращают на глазах. Эти заразы просочились в школу и испортили ребятшек начисто... избиратели недовольны, некоторые город покидают, идет брожение, того и гляди начнутся и самосуды, окружная администрация бездействует, вот какая у нас ситуация. — Он осушил рюмку. — Должен вам сказать, как я ненавижу эту мразь — зубами бы рвал, да тошнит. Вы не поверите, господин Банев, дошел до того, что капканы на них ставлю... Ну, развратили детей, ладно. Дети есть дети, их сколько ни развращай — им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди эти все-таки их рук дело, не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги гребли лопатой. Сюда из столицы ездили, и чем все кончилось? Дождь, туманы, клиенты в насморке, дальше — больше, приезжает сюда известный физик... забыл его фамилию, ну, да вы, наверное, знаете... прожил две недели — готово: очковая болезнь, в лепрозорий его. Хорошенькая реклама для санатория! Потом еще случай, потом еще, и все — как ножом клиентов отрезало. Ресторан этот горит, санаторий едва

дышит — слава богу, нашелся дурак-тренер, тренирует команду-экстра для игры в дождливых странах... Ну и господин Росшепер, конечно, помогает в какой-то степени... Вы мне сочувствуете? Пробовал я договориться с этим Големом — как об стену горох: красный есть красный. Писал наверх — никаких результатов. Писал выше — ничего. Еще выше — отвечают, что приняли к сведению и дали делу ход вниз по инстанции... Ненавижу их, но переломил себя, поехал в лепрозорий сам. Пропустили. Просил, доказывал... До чего же гадкие типы! Моргают на тебя облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь, словно тебя здесь нет... — Он наклонился к Виктору и прошептал: — Бунта боюсь, кровь прольется. Вы мне сочувствуете?

— Да, — сказал Виктор. — А при чем здесь я?

Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигару, закурил.

— В моем положении, — сказал он, — остается одно: нажимать на все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения, господин Росшепер подпишется, вы, я надеюсь, тоже, но это не бог весть что. Гласность нужна! Хорошая статья нужна в столичной газете, подписанная известным именем. Вашим именем, господин Банев. А материал животрепещущий — как раз для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей... Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке! Куда угодно, но чтобы духу здесь мокрецового не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать.

— Да-да, понимаю, — сказал Виктор медленно. — Очень хорошо вас понимаю.

Хоть ты и скотина, думал он, хоть ты и боров, но понять тебя можно. Но что же это сделалось с мокрецами? Были тихие, сгорбленные, крались сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто разные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штуки из дерева... мать Фрэда говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет и что накличут они нам войну, мор и голод... А теперь сидят они за колючей проволокой, и что же они там у себя делают? Ох, много что-то они делают. И погоду они делают, и детей они переманивают (зачем?), и кошек они вывели (тоже зачем?), и клопы у них залетали...

— Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки, —

сказал бургомистр. — Ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс против Голема. Господин санитарный инспектор Павор Сумман согласен быть консультантом. Будем упираться на то, что вопрос об инфекционности болезни еще отнюдь не решен, а Голем как скрытый коммунист этим пользуется. Это одно. Далее, пытаемся отвечать террором на террор. Городской Легион, наша гордость, ребята подобрались золотые, орлы... но это как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает. Полиция в ложном положении оказывается... и вообще... Так что препятствуем как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним... частные, конечно, не продовольствие там и не постельные принадлежности, а вот книги всякие, они их много выписывают... Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы радикально...

— Так, — сказал Виктор. — Орлы, значит, золотые. Как его там... Фламенда?.. Ну, тот, племянник...

— Фламин Ювента, — сказал бургомистр, — мой заместитель по Легиону, орел! Вы его уже знаете?

— Знаю немного, — сказал Виктор. — А книги-то зачем задерживать?

— Ну как зачем... Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки — накапливает все-таки. И потом... — Бургомистр стыдливо заулыбался. — Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут... как нормальные люди без еды и прочего.

Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял вилкой бифштекс и размышлял. Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что я не очень-то любил их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо — жир и сало нации, президентские холуи, черносотенцы... Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть... С другой стороны, статью написать можно даже самую разнузданную, все равно никто не рискнет меня напечатать, а бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсти клочок, и мог бы жить здесь припеваючи... Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать на здоровьице... про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом... и выступить на эту тему перед вундеркиндами... Э,

все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнули тебе в морду, а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие...

— Мы, конечно, ни в коей мере вас не торопим, — сказал бургомистр. — Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? Материалы мы все вам предоставим, можем предоставить даже такую схемку, планчик, по которому было бы желательно... а вы коснетесь опытной рукой, и все заиграет. И подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города — член парламента Росшепер Нант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига...

Здорово работает, подумал Виктор. Вот у нас, у левых, такой настойчивости и в помине нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да около — не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрил бы в корыстных намерениях... Выдающиеся сыновья!.. И ведь совершенно уверен, подлец, что статью я напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке... Вот и насчет схемки ввернул... знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали. Да-а, господин Банев... коньячок любишь, девочек любишь, миноги маринованные с луком любишь, так люби и саночки возить...

— Я обдумую ваше предложение, — сказал он, улыбаясь. — Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует некоторого напряжения совести. — Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру.

Бургомистр гоготнул.

— А как же! «Совесть нации, точное зеркало» и прочее... Помню, как же... — Он снова наклонился к Виктору с видом заговорщика. — Прошу вас завтра ко мне, — пророкотал он. — Исключительно свои подберутся. Только чур без жен. А?

— Вот здесь, — сказал Виктор вставая, — я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела. — Он опять похабно подмигнул. — В санатории.

Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вы-

лакать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. Можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери, думал Виктор. За границу меня не пустят, да и не хочу я за границу, чего мне там делать, везде одно и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно укрыться и отсидеться. Он представил себе 'солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда... и навоза, и комары... и как воняет отхожее место, и скучища... и древние телевизоры, и местная интеллигенция: шустрый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель... А в общем, что там говорить, есть куда уехать. Но ведь им только и надо, чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, причем сам, без принуждения, потому что ссылать меня хлопотно, шум пойдет, разговоры... вот ведь в чем вся беда: они же будут очень довольны — уехал, заткнулся, забыт, перестал брэнчать...

Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел под дождь. Ему вдруг очень захотелось снова повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить, почему он так много пьет (а действительно, почему я так много пью?), и, может быть, Бол-Кунац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет... Улицы были мокрые, серые, пустые, в палисадниках тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменялся — покосились заборы, под карнизами высыпала белая плесень, вылиняли краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так, дождь сеялся с крыши мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлестал из ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между бульжников руслам. Черно-серые тучи медленно ползали над самими крышами. Человек был незваным гостем на улицах, и дождь его не жаловал.

Виктор вышел на городскую площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце полицейского управления — двое полицейских в форменных плащах и маленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед крыльцом, левыми колесами на тротуаре, громоздился неуклюжий автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер; выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя,

что-то доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за двадцать до крыльца ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал:

— А я-то здесь при чем? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги у меня в порядке? В порядке. Груз правильный, вот накладная. Да что я, первый раз здесь езжу?

Полицейский заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому:

— Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. И в кабину не залезай, а то все растащат. И никого к машине не подпускай. Понял?

— Понял, — сказал полицейский. Он был очень недоволен.

Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый парнишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору:

— Ну вот хоть вы скажите, виноват я или нет? — Виктор приостановился, и парня это воодушевило. — Еду нормально. Везу книги в спецзону. Тыщу раз уже возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке, вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать?

— Хватит тебе орать, — сказал полицейский.

Парень живо к нему обернулся.

— Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил? Не превысил. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали...

— Разберутся, — сказал полицейский. — Чего ты, в самом деле, расстраиваешься? Пойди вон в трактир, твое дело маленькое.

— Э-эх, начальнички-и! — вскричал парень, с размаху напяливая на всклокоченную голову картуз. — Нигде правды нету! Налево едешь — задерживают, направо едешь — опять задерживают. — Он спустился было с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: — Может, штраф возьмете или как-нибудь?

— Иди-иди, — проговорил полицейский.

— Так мне же премию обещали за срочность! Всю ночь гнал...

— Иди, говорю! — сказал полицейский.

Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза лягнул по переднему скату, потом вдруг ссутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.

Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо, сигарета у него погасла, он выплюнул окурочек и, на ходу отгибая капюшон, ушел в управление.

Виктор постоял некоторое время, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузовиком, свернув набок переднее колесо, мокнул под дождем полицейский «харлей», а больше машин поблизости не было. Догнать они меня догонят, подумал Виктор, но хрен они меня остановят. Ему стало весело. А какого черта, подумал он: известный писатель Банев, снова напившись пьян, угнал в целях развлечения чужую машину; к счастью, обошлось без жертв... Он понимал, что все обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрячь беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. В крайнем случае, напишу гаду статью, подумал он мельком.

Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было, пришлось оборвать провода зажигания и соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад, на крыльцо управления. Там стоял давешний полицейский все с тем же недовольным выражением лица и с сигаретой на губе. Заметно было, что он ничего еще не понимает. Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил скорость и рванул в ближайший проезд.

Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, подымая колесами фонтаны из глубоких луж, ворочать тяжелый руль, наваливаясь всем телом, — мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где «Братья по разуму», словно мокрые механизмы, все пинали и пинали свои мячи, и дальше, по шоссе, по рыгвинам, подпрыгивая на сиденье и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухаает плохо закрепленный груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась, да и вряд ли можно было ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С потолка кабины ему подмигивали красотики, вырезанные из журналов, в «бардачке» он нашел пачку сига-

рет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя: «Лепрозорий — 6 км». Здесь он почувствовал себя первооткрывателем, потому что еще ни разу не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе — сначала очень ровный уложенный асфальт, а потом даже бетонка, и, когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и про солдат, а еще через пять минут он все это увидел.

Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой, дверь будки была распахнута, и на пороге уже стоял солдат в каске, в сапогах и в плащ-накидке, из-под которой высовывался ствол автомата. Еще один солдат, без каски, поглядел в окошечко. «Никогда я не был в лагерях, — пропел Виктор, — но не говорите: слава богу...» Он сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему — молоденький такой, веснушчатый солдатик, всего лет восемнадцати.

— Здравствуйте, — сказал он. — Что вы так припоздали?

— Да вот, обстоятельства, — сказал Виктор, дивясь такому либерализму.

Солдатик оглядел его и вдруг подобрался.

— Ваши документы, — сказал он сухо.

— Какие там документы, — сказал Виктор весело. — Я же говорю — обстоятельства.

Солдат поджал губы.

— Вы что привезли? — спросил он.

— Книги, — сказал Виктор.

— А пропуск есть?

— Конечно нет.

— Ага, — сказал солдат, и его лицо прояснилось. — То-то я гляжу... Тогда подождите. Тогда подождать вам придется.

— Имейте в виду, — сказал Виктор, подняв указательный палец. — За мною может быть погоня.

— Ничего, я быстро, — сказал солдат и, придерживая на груди автомат, забухал сапогами к караулке.

Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было очень забавно. Впереди, за проволокой и за воротами, тоже крутился дождь, там угадывались какие-то темные сооружения — то ли дома, то ли башни, но разобрать что-нибудь определенно было невозможно.

Неужели не пригласят посмотреть? — подумал Виктор. Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться воззвать к Голему, он сейчас где-нибудь здесь... Так и сделаю, подумал он. Зря я, что ли, геройствовал...

Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец, прыщавый мальчик-нигилист в одних трусах, очень сейчас веселый и без всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул и засмеялся.

— Здравствуйте, господин Банев! Это вы? Вот здорово... Вы ведь книги привезли? А мы ждем-ждем...

— Ну что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик.

— Да, это наша машина.

— Тогда загоняйте, — сказал солдатик. — А вам, сударь, придется выйти и подождать.

— Я хотел бы повидать доктора Голема, — сказал Виктор.

— Можно вызвать сюда, — предложил солдатик.

— Гм, — сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. Мальчик виновато развел руками.

— У вас пропуска нет, — объяснил он. — А без пропуска они никого не пускают. Мы бы с радостью...

Ничего не оставалось, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывками заполз за ограду. Потом ворота закрылись. Виктор еще некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. Вот так так, подумал Виктор. А я? Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги не бескорыстно, что надеялся многое увидеть и многое понять... проникнуть, так сказать, в эпицентр. Ну и черт с вами, подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. До перекрестка шесть километров, и от перекрестка до города километров двадцать. Можно, конечно, от перекрестка до санатория — два километра. Свиньи неблагодарные... Под дождем... Тут он заметил, что дождь ослабел. И на том спасибо, подумал он.

— Так вызвать господина Голема? — спросил солдат.

— Голема? — Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед, и потом, у него машина. И фляга. — А что же, вызовите.

— Это можно, — сказал солдатик. — Вызовем. Только навряд он выйдет, обязательно скажет, что занят.

— Ничего, ничего, — сказал Виктор. — Вы ему скажите, что Банев спрашивает.

— Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет. Ну да мне нетрудно. Банев, значит... — И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, сплошные веснушки под каской.

Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил «харлей» с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом, и еще один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. Сейчас начнется, подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рявкнул:

— Где грузовик?

— Какой грузовик? — изумленно сказал Виктор, чтобы выиграть время.

— А вы не прикидывайтесь! — заорал полицейский. — Я вас видел! Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины!

— Вы на меня не орите, — возразил Виктор с достоинством. — Что за хамство? Я буду жаловаться.

Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил:

— Тот?

— Ясно, тот! — сказал полицейский с недовольным лицом, извлекая из кармана наручники.

— Но-но-но! — сказал Виктор, отступив на шаг. — Это произвол! Как вы смеете?

— Не отягчайте вины сопротивлением, — посоветовал второй полицейский.

— А я ни в чем не виноват, — нагло заявил Виктор и сунул руки в карманы. — Вы меня с кем-то пугаете, ребята.

— Вы угнали грузовик, — сказал второй полицейский.

— Какой грузовик? — вскричал Виктор. — При чем тут грузовик? Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу. Спросите у охраны. При чем здесь какой-то грузовик?

— А может быть, не тот? — усомнился второй полицейский.

— Ну как не тот? — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа наготове наручники, он надвинулся на Виктора. — А ну, давай руки! — сказал он деловито.

В этот момент дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал:

— Прекратить скопление!

Виктор и полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял веснушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат.

— Отойти от ворот! — пронзительно крикнул он.

— Ты там потише! — сказал полицейский с недовольным лицом. — Здесь полиция.

— Ска-апление у ворот спецзоны более одного постороннего человека запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти от ворот!

— Давайте, давайте, отходите, — озабоченно сказал Виктор, тихонько подгалкивая в грудь обоим полицейским. Полицейский с недовольным лицом растерянно поглядел на него, отвел его руку и шагнул к солдату.

— Слушай, парень, ты что, сдурел? — сказал он. — Этот тип угнал грузовик.

— Никаких грузовиков! — протяжно и пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик. — Па-аследнее предупреждение! Двоим отойти на сто метров от ворот!

— Слушай, Рох, — сказал второй полицейский. — Давай отойдем, ну их к богу. Никуда он от нас не денется.

Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, открыл было снова рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой.

— Рядовой Джура, — сказал он жуя. — Почему не открываете огонь?

На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, и ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал ему что-то неслышное за треском мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились.

— Близо, — сказал сержант с неодобрением. — Что же ты смотришь? Близо ведь.

— Дальше! — пронзительным голосом завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их не стало видно.

— Повадились посторонние толпиться у ворот, — сообщил сержант солдатику, глядя на Виктора. — Ну ладно, продолжай нести службу. — Он вернулся в караулку, а вес-

нушчатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошелся взад-вперед перед воротами.

Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился:

— Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?

— Нет его, — буркнул солдатик.

— Какая жалость, — сказал Виктор. — Тогда я пойду, пожалуй... — Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские.

— Как так — пойдете? — встревоженно сказал солдатик.

— А что, нельзя? — спросил Виктор, тоже встревоженно.

— Почему нельзя, — сказал солдатик. — А насчет грузовика. Вы уйдете, а грузовик как же? Грузовики от ворот положено уводить.

— А я здесь при чем? — спросил Виктор, тревожась все больше.

— Как так — при чем? Вы его привели, вы его... это... Всегда же так, а как же?

Черт, подумал Виктор. Куда я его дену?.. С расстояния в сто метров доносилось тарахтенье мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах.

— Вы его в самом деле угнали? — спросил солдатик с любопытством.

— Ну да! Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь...

— Да-а, — сочувственно протянул солдатик. — Прямо и не знаю, что вам посоветовать.

— А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Виктор. — Стрелять не будете?

— Не знаю, — честно признался солдатик. — Вроде бы не положено. Спросить?

— Спросите, — сказал Виктор, соображая, успеет он удрать за пределы видимости или нет.

В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота растворились, и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором, дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый сутулый мокрец и смотрит на него. Виктор не двинулся с места, и тогда мокрец снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. Соизволили снизить, горько подумал Виктор. Солдатик радостно сказал:

— Ну вот и хорошо, вот все и устроилось, поезжайте с богом.

У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и двинуть прямо через поле в санаторий, в обход засевавшего в засаде «харлея».

— Там впереди полиция, — сказал он мокроцу.

— Ничего, садитесь, — сказал мокрец.

— Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста.

— Я знаю, — терпеливо сказал мокрец. — Садитесь.

Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попросился с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели «харлей». «Харлей» стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты — к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал:

— Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу.

— А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным лицом. — И предъявите документы.

— Я еду в полицейское управление, — сказал мокрец. — Может быть, поговорим там?

Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде «знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал.

— Ладно, — сказал наконец полицейский. — Только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл.

— Пожалуйста, — согласился мокрец. — Но если можно, в мотоцикле поеду я.

— Еще лучше, — проворчал полицейский с недовольным лицом. У него даже лицо просветлело. — Вылезайте.

Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец, еще сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортёж двинулся.

Хотел бы я знать, чем все это кончится, с некоторой томительностью подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавало намерение мокроца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, изнахалился... Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не миновать. Чтобы полиция да потеряла случай содрать с человека штраф... А, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. Все хорошо. По крайней мере, душу отвел... Он вытащил пачку си-

гарет и предложил полицейскому. Полицейский негодуя хрюкнул, но взял. Зажигалка у него не работала, и пришлось ему хрюкнуть еще раз, когда Виктор поднес ему свою. Вообще его можно было понять, этого немолодого дядьку, лет сорока пяти, наверное, а все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов: не тех сажал и не ту задницу лизал, да и где ему в задницах разбираться — та или не та... Полицейский курил, и вид у него уже был менее недовольный: дела его оборачивались к лучшему. Эх, бутылку бы мне сюда, подумал Виктор. Дал бы ему хлебнуть, рассказал бы ему пару ирландских анекдотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верховодят, студентов бы обложил, глядишь — и оттаял бы человек.

— Надо же, какой дождь хлещет, — сказал Виктор.

Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления.

— А ведь какой раньше здесь климат был, — продолжал Виктор. Тут его осенило. — И вот заметьте: у них там в лепрозории дождя нет, а как подъезжает человек к городу, так сразу ливень.

— Да уж, — сказал полицейский. — Они там в лепрозории ловко устроились.

Контакт налаживался. Поговорили о погоде — какая она была и какой, черт подери, стала. Выяснили общих знакомых в городе. Поговорили о столичной жизни, о миниюбках, о язве гомосексуализма, об импортном бренди и о контрабандных наркотиках. Естественно, отметили, что порядка не стало — не то что до войны или, скажем, сразу после. Что полицейский — собачья должность, хотя и пишут в газетах: добрые, мол, и строгие стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, за ранение на посту дают гроши, да еще вот теперь оружие отобрали, и — кто при таких условиях будет лезть из шкуры... Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глотков, и полицейский сказал бы: «Ладно, парень, бог с тобой. Я тебя не видел, и ты меня не видел». Однако пары глотков не было, а момент для вручения красненькой не успел созреть, так что, когда грузовик подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова поугрюмел и сухо предложил Виктору следовать за ним и поторапливаться.

Мокрец отказался давать объяснения дежурному и потребовал, чтобы их немедленно провели к начальнику по-

лиции. Дежурный ему ответил, что пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет, а что касается вот этого господина, то он обвиняется в угоне машины, к начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на него соответствующий протокол. Нет, твердо и спокойно сказал мокрец, ничего этого не будет, ни на какие вопросы господину Баневу отвечать не придется, и никаких протоколов господин Банев подписывать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только господина полицеймейстера. Дежурный, которому было безразлично, пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, появился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не знал и был сильно поддавши, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которой тот размахивал, примостился на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления замолчал, и тут же мокреца и Виктора пригласили к начальству.

Полицейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал глядеть и вовсе.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Разрешите присесть? — осведомился мокрец.

— Да, прошу, — вынужденно сказал полицейстер после небольшой паузы.

Все сели.

— Господин полицейстер, — произнес мокрец. — Я уполномочен заявить вам протест против вторичного незаконного задержания грузов, адресованных лепрозорию.

— Да, я слышал об этом, — сказал полицейстер. — Водитель был пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится.

— Вы задержали не водителя, а груз, — возразил мокрец. — Однако это не столь уж существенно. Благодаря любезности господина Банева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полицейстер, вине могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей.

— Это забавно, — сказал полицейстер. — Я не понимаю и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что как должностное лицо я не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное зако-

нодательство, где такие случаи предусмотрены. — Он явно отказывался смотреть на Виктора.

— Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения, — сказал мокрец. — Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с генералом Пфердом.

Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пферд, но зато полицмейстеру это имя было явно знакомо.

— По-моему, это угроза, — сказал он неуверенно.

— Да, — согласился мокрец. — Причем угроза более чем реальная.

Полицмейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже.

— Я приму к сведению все, что услышал сегодня, — объявил полицмейстер. — Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и господина Банева.

— Господин Банев, — сказал мокрец, — если у вас будут неприятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Голему. До свидания, — сказал он полицмейстеру.

— Всего хорошего, — отвечивал тот.

В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания, но его окликнул Тэдди.

— Здорово, Тэдди, — сказал Виктор, привалившись к стойке. — Как дела? — Тут он вспомнил. — А! Счет... Сильно я вчера!

— Счет — ладно, — проворчал Тэдди. — Не так уж и много — разбил зеркало и своротил рукомойник. А вот полицмейстера ты помнишь?

— А что такое? — удивился Виктор.

— Так я и знал, что ты не упомнишь. Глаза у тебя были, брат, что у вареного пороса. Ничего не соображал... Так вот ты, — он уставил Виктору в грудь указательный палец, — запер его, беднягу, в сортирной кабине, припер дверцу метлой и не выпускал. А мы-то не знали, кто там, он только что пришел, мы думали, что это Квадрига. Ну, думаем, ладно, пусть посидит... А потом ты его оттуда выпащил, стал кричать: ах, бедный, весь испачкался! — и совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил, и еле мы тебя, брат, оттащили.

— Серьезно? — сказал Виктор. — Ну и ну. То-то он сегодня на меня весь день волком смотрит.

Тэдди сочувственно покивал.

— Да, черт возьми, неудобно, — проговорил Виктор. — Извиниться надо бы... Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина...

— Я боюсь, не пришли бы тебе дело, — сказал Тэдди. — Сегодня утром тут уже ходил один легавый, снимал показания... шестьдесят третья статья тебе обеспечена — оскорбительные действия при отягчающих обстоятельствах. А может, и того хуже. Террористический акт. Понимаешь, чем пахнет? Я бы на твоём месте... — Тэдди помотал головой.

— Что? — спросил Виктор.

— Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил, — сказал Тэдди.

— Да.

— Ну и что он?

— Да чепуха. Хочет, чтобы я статью написал. Против мокрецов.

— Ага! — сказал Тэдди и оживился. — Ну, тогда в самом деле чепуха. Напиши ты ему эту статью, и все в порядке. Если бургомистр будет доволен, полицмейстер и пикнуть не посмеет, можешь его тогда каждый день в унитаз заталкивать. Он у бургомистра вот где... — Тэдди показал громадный костлявый кулак. — Так что все в порядке. Давай я тебе по этому поводу налью за счет заведения. Очищенной?

— Можно и очищенной, — сказал Виктор задумчиво.

Визит бургомистра представлялся ему теперь совсем в новом свете. Вот как они меня, подумал Виктор. Да-а... Либо убирайся, либо делай что велят, либо мы тебя скрутим. Между прочим, убраться тоже будет нелегко. Террористический акт — разыщут. Экий ты, братец, алкоголик, смотреть противно. И ведь не кого-нибудь, а полицмейстера. Честно говоря, задумано и выполнено неплохо. Он не помнил ничего, кроме кафельного пола, залитого водой, но очень хорошо представлял себе всю сцену. Да, Виктор Банев, любимый ты мой человек, поросья ты мое вареное, оппозиционер кухонный, и даже не кухонный — прибанный, любимец господина Президента... да, видно, пришла и тебе пора, так сказать, продаваться... Роц-Тусов, человек опытный, по этому поводу говорит: продаваться надо легко и дорого — чем честнее твое перо, тем дороже оно обходит-

ся власть имущим, так что, и продаваясь, ты наносишь ущерб противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным... Виктор опрокинул рюмку очищенной, не испытав при этом никакого удовольствия.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Давай счет. Много получилось?

— Твой карман выдержит, — ухмыльнулся Тэдди. Он достал из кассы листок бумаги. — Следует с тебя: за зеркало туалетное — семьдесят семь, за рукомойник фарфоровый большой — шестьдесят четыре, всего, сам понимаешь, сто сорок один. А торшер мы списали на ту драку. Одного не понимаю, — продолжал он, следя, как Виктор отсчитывает деньги. — Чем ты это зеркало раскокал? Здоровенное зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли?

— Чьей? — хмуро спросил Виктор.

— Ладно, не горюй, — сказал Тэдди, принимая деньги. — Напишешь статечку, реабилитируешься, гонорарчик отхватишь, вот все и окупится... Налить еще?

— Не надо, потом... Я еще подойду, когда поужинаю, — сказал Виктор и пошел на свое место.

В ресторане все было как обычно — полутьма, запахи, звон посуды на кухне; очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бутылкой минеральной воды; согбенный доктор Р.Квадрига; прямой и подтянутый, несмотря на насморк, Павор; расплывшийся в кресле Голем с разрыхленным носом спившегося пророка. Официант.

— Миноги, — сказал Виктор. — Бутылку пива. И чего-нибудь мясного.

— Доигрались, — сказал Павор с упреком. — Говорил я вам — бросьте пьянствовать.

— Когда это вы мне говорили? Не помню.

— А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Р.Квадрига. — Убил наконец кого-нибудь?

— А ты тоже ничего не помнишь? — спросил его Виктор.

— Это насчет вчерашнего?

— Да, насчет вчерашнего... Напился как зюзя, — сказал Виктор, обращаясь к Голему, — загнал господина полицейстера в клозет...

— А-а! — сказал Р.Квадрига. — Это все вранье. Я так и сказал следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понимаете, изжога зверская, голова трещит, сижу смотрю в окно, и тут является эта дубина и начинает шить дело...

— Как вы сказали? — спросил Голем. — Шить?

— Ну да, шить, — сказал Р.Квадрига, протыкая воображаемой иглой воображаемую материю. — Только не штаны, а дело... Я ему прямо сказал: все вранье, вчера я весь вечер просидел в ресторане, все было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов, словом, скучища... Обойдется, — ободряюще сказал он Виктору. — Подумаешь... А зачем ты это сделал? Ты его не любишь?

— Давайте об этом не будем, — предложил Виктор.

— Так а о чем же мы будем? — спросил Р.Квадрига обиженно. — Эти двое все время препираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В кои веки случилось что-то интересное, и сразу — не будем.

Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пива и спросил:

— Кто такой генерал Пферд?

— Лошадь, — сказал Р.Квадрига. — Конь. Дер Пферд. Или дас.

— А все-таки, — сказал Виктор, — знает кто-нибудь такого генерала?

— Когда я служил в армии, — сказал доктор Р.Квадрига, — нашей дивизией командовал его превосходительство генерал от инфантерии Аршманн.

— Ну и что? — сказал Виктор.

— Арш по-немецки — задница, — сообщил молчаливый до сих пор Голем. — Доктор шутит.

— А где вы слыхали про генерала Пферда? — спросил Павор.

— В кабинете у полицмейстера, — ответил Виктор.

— Ну и что?

— И все. Так никто не знает? Ну и прекрасно. Я просто так спросил.

— А фельдфебеля звали Баттокс, — заявил Р.Квадрига. — Фельдфебель Баттокс.

— Английский вы тоже знаете? — спросил Голем.

— Да, в этих пределах, — ответил Р.Квадрига.

— Давайте выпьем, — предложил Виктор. — Официант, бутылку коньяку!

— Зачем же бутылку? — спросил Павор.

— Чтобы хватило на всех.

— Опять учините какой-нибудь скандал.

— Да бросьте вы, Павор, — сказал Виктор. — Тоже мне абстинент.

— Я не абстинент, — возразил Павор. — Я люблю выпить

и никогда не упускаю случая выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, по-моему, напиваться каждый вечер.

— Опять он здесь, — сказал Р.Квадрига с отчаянием. — И когда успел?..

— Мы не будем напиваться, — сказал Виктор, разливая всем коньяк. — Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина напивается, ну и бог с ней, а мы просто выпьем.

— В том-то все и дело, — сказал Павор. — Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие.

— Вы полагаете нас порядочными людьми? — спросил Голем.

— Во всяком случае, культурными.

— По-моему, — сказал Виктор, — у культурных людей гораздо больше оснований напиваться, чем у некультурных.

— Возможно, — согласился Павор. — Однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает... Мы вот сидим здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал кто-нибудь из нас за это время что-нибудь пусть даже не умное, но хотя бы серьезное? Хихиканье, шуточки... одно хихиканье да шуточки.

— А зачем — серьезное? — спросил Голем.

— А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим. Пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа.

— Ну хорошо, Павор, — примирительно сказал Виктор. — Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но хотя бы серьезное.

— Не желаю серьезного, — объявил Р.Квадрига. — Пьявки. Кочки. Фу!

— Цыц! — сказал ему Виктор. — Дрыхни себе... Правильно, Голем, давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начинайте, расскажите нам про пропасть.

— Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью.

— Нет, — сказал Виктор. — Честное слово — нет. Я ироничен — может быть. Но это происходит оттого, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств...

— Нет, — сказал Павор. — Нет... Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось.

— Нехватка денежных средств, — пробормотал Голем.

Павор не обратил на него внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил нагнув голову и глядя исподлобья.

— Человечество обанкротилось биологически — рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас. Далее, мы обанкротились идеологически — мы перебрали все философские системы и все их дискредитировали, мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и порядка, и каждый раз, когда она получает богов, вождей и порядок, она делается недовольной, потому что на самом деле ни черта ей не надо — ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелищ. Сейчас она скована железной необходимостью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходимость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики. Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма, она смердит и воняет девять тысяч лет и ни на что большее не годится, кроме как смердеть и вонять. Страшно другое — разложение захватывает нас с вами, людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает... А тут еще это проклятье — демократическое воспитание: эгалитэ, фратэрнитэ, все люди — братья, все из одного теста... Мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы — спасаться пора.

— Пора выпить, — сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза закосили. Это выпадало из образа, а говорил он, как и все адепты пропастей, лютую ба-

нальщину. Так и хотелось ему сказать: бросьте срамиться, Павор, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически усмехнитесь.

— Это все, что вы можете мне ответить? — осведомился Павор.

— Я могу вам еще посоветовать. Побольше иронии, Павор. Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то не знали бы — что.

Павор иронически усмехнулся.

— Я-то знаю, — сказал он.

— Ну-с?

— Есть только одно средство прекратить разложение...

— Знаем, знаем, — легкомысленно сказал Виктор, — нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было.

— Нет, — сказал Павор. — Это только отсрочка. А решение одно: уничтожить массу.

— У вас сегодня прекрасное настроение, — сказал Виктор.

— Уничтожить девяносто процентов населения, — продолжал Павор. — Может быть, даже девяносто пять. Масса выполнила свое назначение — она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту картофеля. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать.

— Господи, — сказал Виктор. — И все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные неурядицы?

— Не притворяйтесь дураком, — сказал Павор. — Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за чего извращаются самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы. Из-за чего войны, хаос, безобразия? Из-за тупости серой массы, которая выдвигает правительства, ее достойные. Из-за чего Золотой Век так же безнадежно далек от нас, как и во время оно? Из-за косности и невежества серой массы. В принципе Гитлер был прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком много лишнего. Но он был порождением серой массы и все испортил. Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения.

— А по какому признаку собираетесь уничтожать вы? — спросил Виктор.

— По признаку незаметности, — ответил Павор. — Если человек сер, незаметен, значит, его надо уничтожить.

— А кто будет определять, заметный это человек или нет?

— Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип, а кто, что и как — это детали.

— А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Виктор, которому Павор надоел.

— То есть?

— На кой черт вам этот судебный процесс? Мельчите, Павор! И ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахивать мир, меньше чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем временем то беспокоитесь о чинах, то от триппера лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обдeldывать темные делишки.

— Вы все-таки полегче, — сказал Павор. Видно было, что он здорово взбесился. — Вы же сами — пьяница и бездельник...

— Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов и не берусь переделывать мир.

— Да, — сказал Павор. — Вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть подонок, дешевый фрндер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите, и делаете только то, чего хотят от вас. Потакаете желаниям таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник. А вы просто поганый рифмач, из тех, которые расписывают общественные сортиры.

— Все это правильно, — согласился Виктор. — Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы — гаденькая личность, Павор. Всего лишь один из многих. И если будут уничтожать, то вас уничтожат. По принципу незаметности. Философствующий санитарный инспектор? В печку его!

Интересно, как мы выглядим со стороны, подумал он. Павор отвратителен. Ну и улыбочка! Что это с ним сегодня? А Квадрига спит, что ему ссоры, серая масса и вся эта философия... А Голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет, кто кому врежет. Что-то Павор долго молчит... Аргументы подбирает, что ли?

— Ну хорошо, — сказал наконец Павор. — Поговорили, и будет.

Улыбочка у него исчезла, глаза снова сделались как у

штурмбаннфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование.

— Все-таки для писателя вы отвратительно плохо разбираетесь в людях, — сказал Голем.

— Это не мое дело, — легко сказал Виктор. — Пусть в людях разбираются психологи и департамент безопасности. Мое дело — улавливать тенденции повышенным чутьем художника... А к чему вы это говорите? Опять «Виктуар, перестаньте бренчать»?

— Я вас предупреждал: не трогайте Павора.

— Какого черта, — сказал Виктор. — Во-первых, я его не трогал. Это он меня трогал. А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?

— Догадываюсь.

— Вас это не волнует?

— Нет. Руки у них короткие. То есть у бургомистра руки короткие и у суда.

— А у Павора?

— У Павора руки длинные, — сказал Голем. — И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу.

— Интересно, при ком вы бренчите, — проворчал Виктор.

— При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку.

— Прошу. — Виктор налил. — Может, разбудим Квадригу? Что он, в самом деле, даже не защитил меня от Павора?

— Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы впутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик?

— Мне так захотелось, — сказал Виктор. — Свинство — задерживать книги. И потом, меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить... Кстати, Голем, а может, генерал Пфферд заступится за меня перед бургомистром?

— Чихал он на вас вместе с бургомистром, — сказал Голем. — У него своих забот хватает.

— А вы ему скажите — пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек? Они, во-первых, сосут из них кровь, а

во-вторых — растлевают. Опозорю вас перед всем миром. Кровосос и растлитель под маской врача. — Виктор чокнулся с Големом и выпил. — Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать такую статью. Вам, конечно, это тоже известно.

— Нет, — сказал Голем. — Но это не существенно.

— Я вижу, вам все не существенно, — сказал Виктор. — Весь город против вас — не существенно. Вас отдают под суд — не существенно. Санинспектор Павор раздражен вашим поведением — не существенно. Может быть, генерал Пферд — это псевдоним господина Президента? Кстати, этот всемогущий генерал знает, что вы — коммунист?

— А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил Голем. — Только не орите так, Тэдди оборачивается.

— Тэдди — наш человек, — возразил Виктор. — Впрочем, он тоже раздражен: его заели мыши. — Он насупил брови и закурил сигарету. — Погодите, что это вы меня спрашивали... А, да. Я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине.

— И дрался за него, — добавил Голем.

— Вот именно. И дрался.

— С фашистами, — сказал Голем.

— Именно с фашистами.

— А у вас пропуск есть? — спросил Голем.

— Пропуск... Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба.

— Да, Павору здесь не везет, — сказал Голем. — Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинается.

Доктор Р.Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал:

— Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон. — Голова его снова со стуком упала на стол.

— А все-таки, Голем, — сказал Виктор, понизив голос, — это правда, что вы коммунист?

— Мне помнится, компартия у нас запрещена, — заметил Голем.

— Господи, — сказал Виктор, — а какая партия у нас разрешена? Я же не о партии спрашиваю, а о вас...

— Я, как видите, разрешен, — сказал Голем.

— В общем, как хотите, — сказал Виктор. — Мне-то все

равно. Но бургомистр... Впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Пферд...

— Но мы же ему не скажем, — доверительно шепнул Голем. — Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозорий, а в лепрозории — какой-то Голем, мокрецы какие-то, ну и ладно.

— Станный генерал, — задумчиво сказал Виктор. — Генерал от лепрозория. Между прочим, с мокрецами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах.

— Если бы только в городе, — сказал Голем.

— А в чем дело? Это же просто больные люди, и даже, кажется, не заразные.

— Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заразны не совсем просто.

— То есть?

— То есть Тэдди вот, например, заразиться от них не может. И бургомистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой — может.

— Вы, например.

— Я тоже не могу. Уже.

— А я?

— Не знаю. Вообще, это — только моя гипотеза. Не обращайтесь внимания.

— Не обращаю, — грустно сказал Виктор. — А чем они еще необыкновенны?

— Чем они необыкновенны, — повторил Голем. — Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы. Вернее, на две большие и одну маленькую... Есть люди, которые не могут жить без прошлого, они целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в прошлом радость и пример. Скажем, господин Президент. Что бы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылся и откуда бы он взялся вообще?.. Потом, есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин Президент, в какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин Президент. Что же до будущего, то вы не имеете о нем ни малейшего представления и, по моему, боитесь иметь... И наконец, есть люди, которые

живут будущим. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье... Да они, собственно, и живут-то уже в будущем... на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем... — Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку. — Они умны, — проговорил он с нежностью. — Они чертовски умны — в отличие от большинства людей. Они все как на подбор талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные.

— Обыкновенные желания — это, например, женщины...

— В каком-то смысле — да.

— Водка, зрелища?

— Безусловно.

— Страшная болезнь, — сказал Виктор. — Не хочу... И все равно непонятно... Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку, — это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают...

— А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите.

Виктор усмехнулся.

— Подождите, — сказал он. — Это еще не все непонятное. При чем здесь, например, Павор? Ну ладно — меня не пускают, я — человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест? Может быть, у вас там антисанитарные условия.

— А если его интересуют не санитарные условия?

Виктор в замешательстве посмотрел на Голема.

— Вы опять шутите? — спросил он.

— Опять нет, — ответил Голем.

— Так он что, по-вашему, — шпион?

— Шпион — слишком емкое понятие, — возразил Голем.

— Погодите, — сказал Виктор. — Давайте начистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?

— Ох уж эта проволока, — вздохнул Голем. — Сколько об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном... точнее, портвейн с табаком.

— Ладно, — сказал Виктор. — Значит, генерал Пфферд. Ага... — сказал он. — И этот молодой человек с портфелем... Вот оно что! Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно... А Павор, значит, не военный. По другому, значит, ведомству. Или, может быть, он шпион не наш, иностранный?

— Упаси бог! — сказал Голем с ужасом. — Этого нам еще не хватало...

— Так... А он знает, кто этот парень с портфелем?

— Думаю, да, — сказал Голем.

— А этот парень знает, кто такой Павор?

— Думаю, нет, — сказал Голем.

— Вы ему ничего не сказали?

— Какое мне дело?

— И генералу Пферду не сказали?

— И не подумал.

— Это несправедливо, — произнес Виктор. — Надо сказать.

— Слушайте, Виктор, — сказал Голем. — Я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке, вас могут погасить, вы даже пикнуть не успеете.

— Меня испугать нетрудно, — сказал Виктор со вздохом. — Я напуган с детства. И все-таки я никак не могу понять: что им всем нужно от мокрецов?

— Кому — им? — устало и укоризненно спросил Голем.

— Павору. Пферду. Парню с портфелем. Всем этим крокодилам.

— Господи, — сказал Голем. — Ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что вам от них нужно. Что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам господина Президента?

— Много, — согласился Виктор. — Я сыт по горло.

— Ну и прекрасно. Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги... Хотите, я подарю вам пишущую машинку?

— Я пишу по старой системе, — сказал Виктор. — Как Хемингуэй.

— Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?

— Сюжеты рождаются из темы, — важно сказал Виктор. — Я изучаю жизнь.

— Ради бога, — сказал Голем. — Изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы.

— Это невозможно, — возразил Виктор. — Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли

физику? Ведь мы наблюдаем не мир как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя.

— Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить.

— Ну, — сказал Виктор, — во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых — мало ли где мне могут дать по черепу? Мне в любой момент могут подвесить, так что же теперь — из номера не выходить?

Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.

— Слушайте, вы, прибор, — сказал он. — Вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно — и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...

— Я ни в какой эксперимент не вмешивался, — сказал Виктор. — Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...

— Идиот, — сказал Голем. — Идет он себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая!

— Чего это ради я буду переходить на другую сторону?

— А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран.

Виктор выпрямился.

— Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого.

— Знакомый подоспел сзади с кастетом. У вас есть знакомые с кастетами?

Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил: Павор с покрасневшим от гриппа носом выгаскивает из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол — тяжелый, тусклый, прикладистый.

— Бросьте, — сказал Виктор и откашлялся. — Ерунда. Не мог Павор...

— Я не называл никаких имен, — возразил Голем.

Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки.

— При чем здесь его обязанности? — спросил он.

— Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднапинг.

— А я помешал?

— Пытался помешать.

— Значит, они его все-таки схватили?

— И увезли. Скажите спасибо, что вас не прихватили —

во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают.

— Значит, Павор... — медленно сказал Виктор.

— Никаких имен, — напомнил Голем строго.

— Сукин сын, — сказал Виктор. — Ладно, посмотрим...

А зачем им понадобился мокрец?

— Ну как — зачем? Информация... Где взять информацию? Сами знаете — проволока, солдаты, генерал Пфферд...

— Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор.

Голем долго молчал. Потом сказал:

— Он умер.

— Забили?

— Нет. Наоборот. — Голем снова помолчал. — Они болваны. Не давали ему читать, и он умер от голода.

Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор вдруг почувствовал ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. Боже мой, подумал он, какая же это дрянь, какая гадость, бандит, холодный убийца... а после этого, через час, помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной, как с товарищем, подлец, и все врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой... Словно сквозь черный туман, Виктор видел, как доктор Р.Квадрига медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой, и глаза у него были, как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал... И правильно, я сам дерьмо, никому не нужный, мелкий человек, в морду меня, сапогом, и держать за руки, не давать утираться, и на кой черт я кому нужен, надо было бить крепче, чтобы не встал, а я как во сне, ватными кулаками, и боже мой, на кой черт я живу, и на кой черт живут все, ведь это так просто, подойти сзади и ударить железом в голову, и ничего не изменится, ничего в мире не изменится, родится за тысячу километров отсюда в ту же самую секунду другой такой же ублюдок... Жирное лицо Голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины, глаза заплыли, он лежал

в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом, двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял... И никого не люблю, не могу любить Диану, мало ли с кем я сплю, спать все умеют, но разве можно любить женщину, которая тебя не любит, а женщина не может любить, когда ты не любишь ее, и так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные спариваются и разбегаются, только животные не придумывают слов и не сочиняют стихов, а просто спариваются и разбегаются... А Тэдди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки, его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже блестели под лампой... А все потому, что я — дерьмо, и никакой не писатель, какой из меня к черту писатель, если я не терплю писать, если писать это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья, ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать: давай, давай — и я буду давать, но сейчас не могу, даже думать об этом не могу, а то меня вырвет... Бол-Кунац стоял за спиной Р.Квадриги и смотрел на часы — тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами, — и от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах — запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером... И мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание, или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол: чей-то отчаянный оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла... Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Р.Квадрига, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: «Ничего не нужно. Спрячьте меня. Ну их...» Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки. Бол-Кунац сказал:

— Господин Голем, простите, пожалуйста. Вам письмо. — Он положил перед Големом конверт и снова взглянул на часы. — Добрый вечер, господин Банев, — сказал он.

— Добрый вечер, — сказал Виктор, наливая себе коньяку.

Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тэдди шумно сморкался в клетчатый носовой платок.

— Слушай, Бол-Кунац, — сказал Виктор. — Ты видел, кто меня тогда ударил?

- Нет, — ответил Бол-Кунац, поглядев ему в глаза.
- Как так — нет? — сказал Виктор, нахмурившись.
- Он стоял ко мне спиной, — объяснил Бол-Кунац.
- Ты его знаешь, — сказал Виктор. — Кто это был?

Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман.

— Вы ошибаетесь, — сказал Бол-Кунац. — Я его не знаю.

— Банев, — пробормотал Р.Квадрига. — Я тебя прошу... Я не могу там один. Пойдем со мной... Очень жутко...

Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул:

— Тэдди! Запишите на меня... и учтите, что я разбил четыре рюмки... Ну, я пошел, — сказал он Виктору. — Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать.

— До свидания, господин Банев, — вежливо сказал Бол-Кунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно покачал головой.

— До свидания, Бол-Кунац, — сказал он.

Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант, лицо у него было опухшее, все в красных пятнах. Он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловки и неуверенны.

— Вы здесь недавно? — спросил Виктор.

— Да, господин Банев. Сегодня с утра.

— А что Питер? Заболел?

— Нет, господин Банев. Он уехал. Не выдержал. Я тоже, наверное, уеду...

Виктор посмотрел на Р.Квадригу.

— Отведите его потом в номер, — сказал он.

— Да, конечно, господин Банев, — ответил официант нетвердым голосом.

Виктор расплатился, прощально помахал Тэдди и вышел в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Павора, поднял руку, чтобы постучать, постоял так немного и, не постучав, снова спустился вниз. Портье за своей конторкой с изумлением рассматривал руки. Руки у него были мокрые, к ним пристали клочья волос, а на лице, на обеих щеках, вспухли свежие царапины. Он посмотрел на Виктора — глаза у него были ошалелые. Но сейчас нельзя было

замечать всех этих странностей, это было бы бестактно и жестоко, и тем более нельзя было говорить об этом, необходимо было сделать вид, будто ничего не случилось, все это надо было отложить на потом, на завтра или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил:

— Где остановился этот... знаете, молодой человек в очках, он всегда ходит с портфелем?

Портье замаялся. Как бы в поисках выхода, он посмотрел на номерную доску с ключами, потом все-таки ответил:

— В триста двенадцатом, господин Банев.

— Спасибо, — сказал Виктор, кладя на конторку монету.

— Только они не любят, когда их беспокоят, — нерешительно предупредил портье.

— Я знаю, — сказал Виктор. — Я и не думал их беспокоить. Я просто так спросил... загадал, понимаете ли: если в четном, то все будет хорошо.

Портье бледно улыбнулся.

— Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев? — вежливо сказал он.

— Всякие могут быть, — вздохнул Виктор. — Большие и малые. Спокойной ночи.

Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито неторопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать, и взвесить, и прикинуть возможные последствия, и учесть все на три хода вперед, но на самом деле думал он только о том, что ковер на лестнице давным-давно пора сменить, облез ковер, вытерся. И только уж перед тем, как постучать в дверь триста двенадцатого номера (люкс — две спальни и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар), он чуть не сказал вслух: «Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга».

Стучать пришлось довольно долго: сначала деликатно, костяшками пальцев, а когда не ответили — более решительно, кулаком, а когда и на это не отреагировали — только скрипнули половицей и задышали в замочную скважину, — тогда, повернувшись задом, каблуком, уже совсем грубо.

— Кто там? — спросил наконец голос за дверью.

— Сосед, — ответил Виктор. — Откройте на минуту.

— Что вам надо?

— Мне надо сказать вам пару слов.

— Приходите утром, — сказал голос за дверью. — Мы уже спим.

— Черт бы вас подрал, — сказал Виктор, рассердившись. — Вы хотите, чтобы меня здесь увидели? Откройте, чего вы боитесь?

Щелкнул ключ, и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ладони.

— Пару слов, — сказал он.

— Входите, — сказал долговязый. — Только без глупостей.

Виктор вошел в прихожую, долговязый закрыл за ним дверь и зажег свет. Прихожая была тесная, вдвоем они с трудом помещались в ней.

— Ну, говорите, — сказал долговязый. Он был в пижаме, спереди чем-то запачканной. Виктор с изумлением принялся — от долговязого несло спиртным. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане.

— Мы так и будем здесь беседовать? — осведомился Виктор.

— Да.

— Нет, — сказал Виктор. — Здесь я беседовать не буду.

— Как хотите, — сказал долговязый.

— Как хотите, — сказал Виктор. — Мое дело маленькое.

Они помолчали. Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами.

— Кажется, ваша фамилия Банев? — сказал он.

— Кажется.

— Ага, — сказал долговязый хмуро. — Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже.

— Сосед по гостинице, — объяснил Виктор.

— Ага... Так что вам нужно, я не пойму.

— Мне нужно кое-что вам сообщить, — сказал Виктор. — Есть кое-какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли.

— Ну ладно, — сказал долговязый. — Пойдемте в ванную.

— Знаете, — сказал Виктор, — я, пожалуй, уйду.

— А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?

— Вы знаете, — сказал Виктор, — я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В конце концов, это не мое дело. — Он сделал движение.

Долговязый даже закричал от раздиравших его противоречий.

— Вы, по-моему, писатель, — сказал он. — Или я вас с кем-то путаю?

- Писатель, писатель, — сказал Виктор. — До свидания.
— Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте.

Вот сюда.

Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры — справа портьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно.

— Добрый вечер, — сказал Виктор.

Молодой человек молча наклонил голову.

— Это ко мне, — сказал долговязый. — Не обращай внимания.

Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой.

— Прошу сюда, — сказал долговязый. Они прошли в спальню направо, и долговязый сел на кровать. — Вот кресло, — сказал он. — Садитесь и выкладываете.

Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета.

— Ладно, — сказал Виктор. Не то чтобы ему удалось полностью преодолеть отвращение, но, раз он сюда пришел, надо было говорить. — Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошибаюсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать.

— Предположим, — сказал долговязый. — И кто же за нами следит?

— Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман.

— Что? — сказал долговязый. — Санинспектор, что ли?

— Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. — Виктор встал, но долговязый не пошевелился.

— Предположим, — повторил он. — А откуда вы это, собственно, все знаете?

— Это важно? — спросил Виктор.

Некоторое время долговязый раздумывал.

— Предположим, что не важно, — произнес он.

— Ваше дело — проверить, — сказал Виктор. — А я больше ничего не знаю. До свидания.

— Да куда же вы, погодите, — сказал долговязый. Он нагнулся к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан. — Так хотели войти и теперь уже уходите... Ничего, если из одного стакана?

— Это смотря что, — ответил Виктор и снова сел.

— Шотландское, — сказал долговязый. — Устраивает?

— Настоящее шотландское?

— Настоящий скотч. Получайте. — Он протянул Виктору стакан.

— Живут же люди, — сказал Виктор и выпил.

— Куда нам до писателей, — сказал долговязый и тоже выпил. — Вы бы все-таки рассказали толком...

— Бросьте, — сказал Виктор. — Вам за это деньги платят. Я вам назвал имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более что я на самом деле ничего не знаю. Разве что... — Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клянул.

— Ну? — сказал он. — Ну?

— Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там... Фламенты... Ювенты...

— Фламин Ювента, — подсказал долговязый.

— Вот-вот.

— Насчет мокреца — это точно? — спросил долговязый.

— Да. Я пытался помешать, и господин санинспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине.

— Так-так, — произнес долговязый. — Значит, это был Сумман... Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?

— Хочу, — сказал Виктор. Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинчивал себя, как бы он себя ни настраивал, ему было противно. Ну и ладно, подумал он. И на том спасибо, что в доносчики я, по крайней мере, не гожусь. Никакого удовольствия, хотя они теперь и начнут жрать друг друга. Голем был прав: зря я полез в это дело... Или Голем хитрее, чем я думаю?

— Прошу, — сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.

7. Феликс Сорокин. «Испитал»

Эту ночь я провел хорошо, без кошмаров. Мне приснилось имя: Катя. Только имя, и больше ничего.

Я проснулся поздно и позавтракать решил в «Жемчужнице». Есть в нашем жилом массиве такое питейное заведение, расположенное точнехонько напротив районного Дома пионеров. Внешний вид у этого заведения довольно странный, более всего напоминает оно белофинский дот «Миллионный», разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы: глыбы скучного серого бетона, торчащие вкривь и вкось, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими по замыслу архитектора изображать морские водоросли, на уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры-окна. А внутри это вполне приличное заведение, никаких изысков: холл с гардеробом, за холлом — приветливый, хорошо освещенный круглый зал, там всегда есть пиво, можно взять обычные холодные закуски, из горячего подают бефстроганов и фирменное мясо в горшочке, а вот раков я не видел там никогда. Время от времени я хожу туда завтракать — когда надоедают мне вареные яйца и фруктовый кефир.

Я подоспел как раз к открытию, торопливо разделся и захватил столик у стены под окном. Официант, в котором развязность странно сочеталась с сонной угрюмостью, принес мне кружку пива и принял заказ на мясо в горшочке. Кругом гомонили. И курили. Натощак.

За мой столик никто не подсаживался, хотя место передо мной пустовало. С одной стороны, это было, конечно, прекрасно. Терпеть не могу общаться с посторонними людьми. С другой же стороны, мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше: в троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегаловках, где меня никто не знает, пустующее место рядом со мной занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал, что есть такие люди, самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвращение, то ли вообще инстинктивное желание держаться подальше. И, подумав об этом, я тут же перескочил мыслями ко вчерашнему письму. Вот и еще фактик, пусть косвенный, который подтверждает, что не было то письмо дурацкой шуткой, что действительно почувал во мне кто-то нечто чужое, наводящее на фантастические мысли. Но все равно, главное, конечно, не в этих пустяках, а в моих «Современных сказках».

Господи, эта книжка воистину — как настоящий ребенок: неприятностей и горестей от нее гораздо больше, нежели радостей и удовольствий. Редакторы рубили ее в капусту, лапшу из нее делали, вермишель и, если бы не Мирон Михайлович, изуродовали бы ее на всю жизнь. А когда она все-таки вышла, на нее двинулись рецензенты.

Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое, была неуклюжа, беспомощна, отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее как на глиняного болвана для упражнений в кавалерийской рубке. Я читал рецензии на «Современные сказки», болезненно шипел, и перед глазами моими вставал, как на экране, бледный красавец в черкеске и с тухлым взглядом отпетого дроздовца — как он, докурив пахитоску до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заслюненный окурок от губы, сощуривается на мою беззащитную книгу, неторопливо обнажает шашку и легко разбегается на цыпочках, заноса над головою голубую сталь...

Они писали, что я подражаю не лучшим американским образцам. (Сейчас эти образцы признаны лучшими.) Они писали, что машины у меня заслоняют людей. (Машин у меня вовсе никаких не было, разве что автобусы.) «Где автор увидел таких героев?» — спрашивали они кого-то. «Чему может научить нашего читателя такая литература?» — вопрошали они друг друга. «И фальшивой нотой в работе издательства прозвучал выпуск беспомощной книжки Сорокина...»

А потом грянул обзор Гагашкина и фельетон Брыжейкина в «Добровольном информаторе», и я приземлился в больнице, и тут только начальственные благодетели мои спохватились, что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже и оступившегося по недомыслию, и взяли свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод.

Тогда я не читал еще «Марсианских хроник» и даже не слышал, что такая книга существует. Я писал свои «Сказки», представления не имея, что у меня получаются «Марсианские хроники» навыворот: цикл смешных и грустных историй о том, как осваивали нашу Землю инопланетные пришельцы. Главное там для меня было — попытаться взглянуть на нас, на нашу обывденную жизнь, на наши страсти и надежды со стороны, глазами чужаков, не злобных каких-нибудь чужаков, а просто равнодушных, инакомыслящих и инакочувствующих. Получилось, по-моему, ей-

богу, забавно, только вот некоторые критики до сих пор считают меня ренегатом большой литературы, а некоторые читатели, оказывается, — одним из героев этой книги...

Официант принес мне мясо в горшочке, я спросил еще кружку пива и принялся есть.

— Вы разрешите? — произнес негромкий хрипловатый голос.

Поднявши глаза, я увидел, что рядом стоит, положив руку на спинку свободного стула, рослый горбун в свитере и потрепанных джинсах, с узким бледным лицом, обрамленным вьющимися золотистыми волосами до плеч. Без всякой приветливости я кивнул, и он тотчас уселся боком ко мне — видимо, горб мешал ему. Усевшись, он положил перед собой тощую черную папку и принялся тихонько барабанить по ней ногтями. Официант принес мое пиво и выжидательно взглянул на горбуна. Тот пробормотал: «Мне то же самое, если можно...» Я доел мясо, взялся за кружку и тут заметил, что горбун, оказывается, пристально смотрит на меня, а на красных длинных губах его блуждает улыбка, которую я бы назвал любезной, не будь она такой нерешительной. Я уже знал, что он сейчас заговорит со мной, и он заговорил.

— Понимаете ли, — сказал он, — мне посоветовали обратиться к вам.

— Ко мне?

— Понимаете ли, да. Именно к вам.

— Так, — сказал я. — А кто посоветовал?

— Да вот... — Он с готовностью принялся озираться, вытянув шею, словно стремясь заглянуть через головы. — Странно, только что вот там сидел... Где же он?..

Я смотрел на него. Был он весь какой-то грязноватый. Из рукавов серого грязноватого свитера высывались грязноватые манжеты сорочки, и воротник сорочки был засален и грязен, и руки его с длинными пальцами были давно не мыты, как и золотые волнистые волосы, как и бледное худое лицо с белобрысой щетинкой на щеках и подбородке. И попахивало от него — птичьим двором, этакой неопрятной кислятинкой. Станный он был тип: для алкоголика выглядел слишком, пожалуй, респектабельно, а для так называемого приличного человека казался слишком уж опустившимся.

— Ушел куда-то, — сообщил он виноватым голосом. — Да бог с ним... Понимаете, он мне сказал, что вы способны если и не поверить, то, по крайней мере, понять.

— Слушаю вас, — сказал я, откровенно вздохнув.

— Собственно... вот! — Он двинул ко мне через стол свою папку и сделал рукой жест, приглашающий папку раскрыть.

— Извините, — сказал я решительно, — но чужих рукописей я не читаю. Обратитесь...

— Это не рукопись, — сказал он быстро. — То есть это не то, что вы думаете...

— Все равно, — сказал я.

— Нет, пожалуйста... Это вас заинтересует! — И, видя, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною.

В папке были ноты.

— Послушайте... — сказал я.

Но он не стал слушать. Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать мне, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки.

А дело его ко мне состояло в том, что всего за пять рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру Труб Страшного Суда. Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история, которую к тому же очень трудно изложить в общепонятных терминах. Он... как бы это выразиться... ну, скажем, падший ангел. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет... одиночество... никчемность... бесперспективность. Всего пять рублей, неужели это так дорого? Ну, хорошо, пусть будет три, хотя без пятерки ему велено не возвращаться...

Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории давно уже перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже и элементарную брезгливость. Я молча совал в протянутую руку двугривенный и удалялся с места беседы с наивозможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне золотоволосый горбун, показалась мне восхитительной с чисто профессиональной точки зрения. Грязноватый падший ангел был просто талантлив! Такая выдумка сделала бы честь и самому Г.Дж.Уэллсу. Судьба пятерки была решена, тут и говорить было не о чем. Но мне

хотелось испытать эту историю на прочность. Точнее, на объемность.

Я придвинул к себе ноты и взглянул. Никогда и ничего я не понимал в этих крючках и запятыях. Ну, хорошо. Значит, вы утверждаете, что если мелодию эту сыграть, скажем, на кладбище...

Да, конечно. Но не надо. Это было бы слишком жестоко...

По отношению к кому?

По отношению к мертвым, разумеется! Вы обрекли бы их тысячи и тысячи лет скитаться без приюта по всей планете. И еще, подумайте о себе. Готовы ли вы к такому зрелищу?

Это рассуждение мне понравилось, и я спросил: для чего же тогда, по его мнению, мне могут понадобиться эти ноты?

Он страшно удивился. Разве мне не интересно иметь в своем распоряжении такую вещь? Неужели я не хотел бы иметь гвоздь, которым была прибита к перекладине креста рука Учителя? Или, например, каменную плиту, на которой Сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория Седьмого, Гильдебранда?

Этот пример с плитой пришелся мне по душе. Так мог сказать только человек, представления не имеющий о малогабаритных квартирах. Ну, хорошо, сказал я, а если сыграть эту мелодию не на кладбище, а где-нибудь в Парке культуры имени Горького?

Падший ангел нерешительно пожал плечами. Наверное, лучше этого не делать. Откуда нам знать, что там, в этом парке, на глубине трех метров под асфальтом?

Я вынул пять рублей и положил перед горбуном.

— Гонорар, — сказал я. — Валяйте в том же духе. Воображение у вас есть.

— Ничего у меня нет, — тоскливо отозвался горбун.

Он небрежно сунул пятерку в карман джинсов, поднялся и, не прощаясь, пошел прочь между столиками.

— Ноты заберите! — крикнул я ему вслед.

Но он не обернулся.

Я сидел, ожидая официанта, чтобы расплатиться, и от нечего делать разглядывал ноты. Их всего-то было четыре листочка, и вот на обороте последнего я обнаружил небрежную запись шариковой ручкой: «пр. Грановского, 19, «Жемчужница», клетч. пальто».

Наверное, нервы у меня в последнее время были немножечко на взводе, уж больно густо шли события, уж больно

расщедрился тот, кому надлежит ведать моей судьбою. Поэтому, едва прочитав про «клетч. пальто», я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру — сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал: известный мне человек в клетчатом пальто-перевертыше, крепко сжимая локоть златокудрого горбуна, облаченного в неопрятный брезентовый плащ до пят, исчезал из моего поля зрения.

Я опустил на стул и припал к кружке.

Такой конец забавной, хотя и не столь уж приятной истории подействовал на меня настолько угнетающе, что мне захотелось немедленно вернуться домой и никуда больше сегодня не ходить. Несвязные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут же разваливались сюжетики самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладала самая здравая и самая реалистическая мысль: «Что я скажу Федору моему Михеичу?»

Подошел официант, и я беспрекословно расплатился за свое мясо, за свое пиво и за то пиво, которое не допил падший ангел. Затем я взял свою папку, вложил в нее ноты, пустую папку горбуна оставил на столе и пошел в гардероб одеваться.

Всю дорогу до Банной я украдкой высматривал фигуру в клетчатом пальто, но так ничего и не высмотрел.

Конференц-зал на этот раз был пуст и погружен в полутьму. Пройдя между рядами стульев, я добрался до двери с надписью «Писатели — сюда» и постучался. Никто мне не ответил, и, осторожно отворив дверь, я вступил в ярко освещенное помещение вроде короткого коридора. В конце этого коридора имела место еще одна дверь, над которой красовался этакий светофорчик, вроде тех застекленных хреновин, какие обыкновенно бывают над входом в рентгеновский кабинет. Верхняя половина светофорчика светилась, демонстрируя надпись «Не входите!». Нижняя была темная, однако и на ней можно было без труда различить надпись «Входите». По правой стене коридорчика поставлено было несколько стульев, и на одном из них, скрючившись в три погибели и опираясь ладонями на роскошный, хотя и потертый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам Гнойный Прыщ собственной персоной.

При виде него у меня, как всегда, холодок зашевелился под ключицами, и, как всегда, я подумал: «Это надо же, жив! Опять жив!»

Я поздоровался. Он ответил и пожевал провалившимся ртом. Я сел за два стула от него и стал смотреть в стену перед собой. Я ничего не видел, кроме основательно обшарпанной стены, небрежно окрашенной светло-зеленой масляной краской, но я физически ощущал, как выплывшие старческие глазки внимательно и прицельно сбоку меня ощупывают, как идет в шаге от меня некая привычная мозговая работа — с машинной скоростью тасуются карточки, на которые занесено все: был или не был, состоял ли, участвовал ли, все факты, все слухи, все сплетни, и всевозможные интерпретации слухов, и необходимые комментарии к сплетням, и строятся какие-то умозаключения, и подбиваются некие итоги, и формулируются выводы, которые, возможно, понадобятся впредь.

Я сознавал, конечно, что все это — мой психоз. Старая сволочь вряд ли даже знала меня, а если и знала, то все это делается совсем не так, да и времена уже не те, старьёй он уже, никому он теперь не нужен и никому не опасен. Годы не проходят, чтобы не пронесся слух, будто он почил в бозе, он теперь более персонаж исторических анекдотов, нежели живой человек, — гнойная тень, протянувшаяся через годы в наше время. И все-таки я ничего не мог с собой поделать. Я боялся.

Тут он заговорил. Голос у него был скрипучий и невнятный — наверное, из-за плохого протеза. Однако я разобрал, что он полагает нынешнюю зиму ненормально снежной, и еще что-то о климате и погоде.

Впервые в моей жизни он заговорил со мною. Слова его были вполне банальны, любой человек мог бы произнести эти слова. Но мне, как в анекдоте, захотелось загородиться от него руками и заверещать: «Разговаривает!..»

Много-много лет назад, когда я был сравнительно молод, вполне внутренне честен и непроходимо глуп, до меня вдруг дошло (словно холодной водой окатило), что все эти мрачные и отвратительные герои жутких слухов, черных эпиграмм и кровавых легенд обитают не в каком-то абстрактном пространстве анекдотов, черта с два! Вон один сидит за соседним столиком, порядочно уже захорошевший, — добродушно бранясь, вылавливает из солянки маслину. А тот, прихрамывая на пораженную артритом ногу, спускается навстречу по беломраморной лестнице. А этот вот кругленький, вечно потный, азартно мотается по коридорам Моссовета, размахивая списком писателей, нуждающихся в жилплощади...

И когда это дошло до меня, встал мучительный вопрос: как относиться к ним? Как относиться к этим людям, которые по всем принятым мною нравственным и моральным правилам — отъявленные преступники; хуже того — палачи; хуже того — предатели! Случалось, по слухам, что бивали их по щекам, выливали им на голову тарелку с супом в ресторане, плевали публично в глаза. По слухам. Сам я этого никогда не видел. По слухам, не подавали им руки, отворачивались при встрече, говорили резкие слова на собраниях и заседаниях. Да, бывало что-то вроде, но я не знаю ни одного такого инцидента, чтобы не лежало в его основе что-нибудь вовсе не романтическое — выхваченная из-под носа путевка, адюльтерчик банальнейший, закрытая, но ставшая открытою недоброжелательная рецензия.

Они ходили среди нас с руками по локоть в крови, с памятью, гноящейся невообразимыми подробностями, с придушенной или даже насмерть задавленной совестью, — наследники вымороченных квартир, вымороченных рукописей, вымороченных постов. И мы не знали, как с ними поступать. Мы были молоды, честны и горячи, нам хотелось хлестать их по щекам, но ведь они были стары, и дряблые их, отечные щеки были изборождены морщинами, и недостойно было топтать поверженных; нам хотелось пригвоздить их к позорному столбу, клеймить их публично, но ведь казалось, что они уже пригвождены и заклеены, они уже на свалке и никогда больше не поднимут головы. В назидание потомству? Но ведь этот кошмар больше никогда не повторится, и разве такие назидания нужны потомству? И вообще казалось, пройдет год-другой, и они окончательно исчезнут в пучине истории, и сам собою отпадет вопрос, подавать им руку при встрече или демонстративно отворачиваться...

Но прошел год, и прошел другой, и как-то неуловимо все переменялось. Действительно, кое-кто из них ушел в тень, но в большинстве своем они и не думали исчезать в каких-то там пучинах. Как ни в чем не бывало они, добродушно бранясь, вылавливали из солянки маслины, спешили, прихрамывая, по мраморным лестницам на заседания, азартно мотались по коридорам высоких инстанций, размахивая списками, ими же составленными и ими же утвержденными. В пучине истории пошли исчезать черные эпитафии и кровавые легенды, а герои их, утратив при рассмотрении в упор какой бы то ни было хрестоматийный

антиглянец, вновь неотличимо смешались с прочими элементами окружающей среды, отличаясь от нас разве что возрастом, связями и четким пониманием того, что сейчас своевременно, а с чем надобно погодить.

И пошли мы выбивать из них путевки, единовременные ссуды, жаловаться им на издательский произвол, писать на них снисходительные рецензии, заручаться их поддержкой на всевозможных комиссиях, и диким показался бы уже вопрос, надо ли при встрече подать руку товарищу имярек. Ах, он в таком-то году обрел на безвестную гибель Иванова, Петрова и двух Рабиновичей? Слушайте, бросьте, о ком этого не говорят? Половина нашего старичья обвиняет в такого рода грешках другую половину, и скорее всего, обе половины правы. Надоело. Нынешние, что ли, лучше?

Не суди и не судим будешь. Никто ничего не знает, пока сам не попробует. Нечего на зеркало пенять. А паче всего — не плюй в колодец и не мочись против ветра.

Потому что страшно. И всегда было страшно. С самого начала.

Этот мерзкий старик, что сидел через два стула от меня, мог сделать со мной все. Написать. Намекнуть. Выразить недоумение. Или уверенность. Эта тварь представлялась мне рудиментом совсем другой эпохи. Или совсем других условий существования. Ты перешел улицу на красный свет — и тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово — и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации — и тварь откусывает тебе голову. Ты абсолютно незащищен перед нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов ее охоты и целей ее существования. У кого-то из фантастов — то ли у Ефремова, то ли у Беляева — описан чудовищный зверь гишу, пожиратель древних слонов, доживший до эпохи человека. Человек не умел спастись от него, потому что не понимал его повадок, а не понимал потому, что повадки эти возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло. И человек мог спастись от гишу только одним способом: объединиться с себе подобными и убить...

Мы поговорили о погоде. Потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться, какое это безобразие — на третий этаж без лифта по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать, эта тема показалась мне скользкой.

Тут дверь под светофорчиком распахнулась, и в коридор к нам вывалился Петенька Скоробогатов.

— Господи, да что это с тобой? — воскликнул я, вставая ему навстречу.

Голова Петеньки была обмотана белым бинтом, как чалмой. Левая рука, тоже перебинтованная и толстая, как бревно, висела на перевязи. Правой рукой Петенька опирался на палку. Да что же это они с ним сделали? — с ужасом подумал я.

Впрочем, тут же выяснилось, что ОНИ ничего с ним не делали, а просто вчера, возвращаясь с собрания, увлекшись спором с председателем тутошнего месткома, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное, промахнулся на ступеньках и сверзился по винтовой лестнице с третьего этажа на первый. Троиخ увезли в больницу, и там они по сей день лежат. После трепанации. А он, Петенька, хоть бы хны.

— ...Так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с третьего до первого. Голова-ноги, голова-ноги. И хоть бы хны! Повезло, понимаешь, за председателя зацепился, а он толстый такой кнур, мягкий...

Он расселся рядом со мной, вытянув поврежденную ногу. Все ему было как с гуся вода. Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в Госкомиздат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать двухтомник будут Кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Ляйпциге...

Услыхав про Ляйпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, Гнойного Прыща уже не было.

— А это у тебя что? — вскричал вдруг Петенька, выхватывая у меня папку. — А! Так ты и музыкой балуешься? — произнес он, увидев ноты. — Брось, не советую. Мертвый номер. — Он сунул папку обратно мне в руки. — Вот я сейчас... Ей-богу, сам удивился. Сумасшедший индекс сейчас получил. Просто сумасшедший. Этот тип мне рукопись не вернул. «Не отдам, — говорит. — Эталон». Я ему говорю: «Какой там эталон, писано между делом, случайный заказ». А он отвечает: «Для вас — случайный заказ, а для нас — эталон». Не-ет, Феликс, машину не обманешь, что ты!

И снова распахнулась дверь под светофорчиком, и в коридорчик вернулся Гнойный Прыщ. Он переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь и остановился. Несколько секунд он стоял, упершись одной рукой в стену, а другой прижимая к груди бювар. Лицо у него было зеленое,

как у протухшего покойника, рот мучительно полуоткрыт, глаза навывкате.

— Как же так? — прошипел он, вполне, впрочем, явственно. — Как это может быть? Ведь я же своими глазами...

Его шатнуло, и мы с Петенькой ринулись к нему, чтобы поддержать. Но он отвел нас рукой, сжимающей бювар.

— Я же лично... — свистящим шепотом прокричал он, уставясь в пространство между нами. — Лично... Сам!

— Пустяки, — бодро произнес Петенька, обхватывая его за талию рукой с тростью. — Ничего такого особенного нету. И раньше бывало, и еще много раз будет, Мефодий Кирильч...

— Да вы понимаете ли, что говорите? — спросил его Мефодий Кирильч с каким-то даже отчаянием. — Или, может, Трубы Страшного Суда протрубили?

— Ни-ни-ни-ни-ни! — возразил Петенька. — Это я вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых, большого диаметра. Давайте-ка мы с вами присядем, Мефодий Кирильч, и маленько отдохнем...

— Лично!.. — прохрипел старик, послушно усаживаясь. — А впоследствии сам читал...

— Вы, Мефодий Кирильч, строчки читали, а надо было между, — сказал Петенька, нагло мне подмигивая. — Там, видимо, подтекст был, а вы его не уловили. Вот машина вас и ущучила...

— Какой подтекст? Какая машина? Да вы понимаете ли, о чем я говорю, молодой человек?

Мне было тягостно и противно, я отвернулся и тут же заметил, что на светофорчике горит теперь надпись «Входите». Как сомнамбула поднялся я с места и последовал приглашению.

Мне и раньше приходилось бывать в вычислительных центрах, так что серые шершавые шкафы, панели, мигающие огоньками, прочие экраны-циферблаты внимания моего в этой большой, ярко освещенной комнате не привлекли. Гораздо страннее и интереснее показался мне человек, сидевший за столом над рулонами и папками.

Был он, похоже, в моих годах, худощавый, с русыми, легко рассыпающимися волосами, с чертами лица в общем обыкновенными и в то же время чем-то неуловимо значительными. Что-то настораживало в этом лице, что-то в нем такое было, что ощущалась потребность внутренне подтянуться и говорить кратко, литературно и без всякого ерни-

чества. Был он в синем лабораторном халате поверх серого костюма, сорочка на нем была белоснежная, а галстук неброский, старомодный и старомодно повязанный.

— Закройте, пожалуйста, дверь плотно, — произнес он мягким приятным голосом.

Я оглянулся и увидел, что оставил дверь полуоткрытой, извинился и прихлопнул створку. Затем я назвал себя. Что-то изменилось в его лице, и я понял, что имя мое ему знакомо. Впрочем, себя он не назвал и сказал только:

— Очень рад. Если позволите, давайте взглянем, что вы нам принесли. Пройдите сюда, присаживайтесь.

В этих простых и даже, пожалуй, простейших, обыкновеннейших словах его прозвучало, как мне показалось, какое-то превосходство, притом настолько явственное, что я испытал вдруг потребность объясниться, оправдаться, что я не манкировал, что так уж сложились обстоятельства мои в последнее время, а вообще-то я уже был здесь вчера, буквально двадцати шагов не дошел до его двери — опять же по причинам, от меня никак не зависящим.

Впрочем, этот приступ виноватой почтительности, острый, почти физиологический, миновал быстро, и, разумеется, я ничего такого ему не сказал, а просто прошел к его столу, положил перед ним свою папку, а сам сел в довольно удобное полукресло. Меня вдруг двинуло в противоположность, захотелось вдруг развалиться, и ногу перекинуть через ногу, и, рассеянно озираясь по сторонам, изрыгнуть какую-нибудь фривольную банальность вроде: «А ничего себе живут ученые, лихо устроились!»

Но и такого, конечно, я ему ничего не сказал и ногу на ногу не стал задирать, а сидел смирно, прилично и смотрел, как он придвигает к себе мою папку, осторожно и аккуратно развязывает тесемки, а сам словно бы улыбается длинным тонким ртом и, кажется, поглядывает на меня сквозь рассыпавшиеся волосы — то ли с любопытством, то ли с ехидцей, но явно доброжелательно.

Он раскрыл папку и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я потянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляда от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту, и прочитанное, несомненно, заинтересовало его, потому что, разрешив наконец мне изъять из папки манускрипт павшего ангела, он посмотрел на меня невеселыми серыми глазами и произнес:

— Любопытные, надо вам сказать, бумаги попадают в старых папках у писателей...

Я не нашелся, что ему ответить, да и не ждал он моего ответа, а уже бегло, но аккуратно перелистывал копии моих рецензий на давно уже гниющие в редакционных архивах поделки из самоотека, копии аннотаций на японские патенты, рукописи моих переводов из японских технических журналов и прочий хлам, оставшийся от тех моих тяжелых лет, когда меня перестали печатать и принялись поносить...

Он листал, надеясь, видимо, отыскать в этой груде хлама что-нибудь хоть мало-мальски полезное, и мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мною человек, строгий и невеселый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюнктурщик, и Сорокина он, видимо, читал, и ждал от Сорокина серьезный матерьял, на который можно было бы опереться в работе, элементарной порядочности ждал он от Сорокина, а Сорокин приволок ему мешок дерьма и вывалил на стол — на, мол, подавись.

Такие примерно переживания терзали меня, когда он закрыл наконец позорную папку, положил на нее бледные руки с длинными худыми пальцами и снова на меня посмотрел.

— Я вижу, Феликс Александрович, — произнес он, — что вас вовсе не интересует объективная ценность вашего творчества.

Не знаю, содержался ли в его словах или тоне упрек, но я из плебейского чувства противоречия сейчас же оцетинился.

— Это почему же вы так полагаете?

— Ну а как же? — Он постучал ногтем по папке. — Из этого матерьяла, который вы мне принесли, только и следует, что у вас скверный почерк и что в Японии много работали над топливными элементами.

Вздорный демон склоки заворочался во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания: «Знать ничего не хочу, сказано было — любую рукопись, вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что им надо, а потом сами недовольны...» Но ничего подобного говорить я не стал, а сказал я, поникнув:

— Так уж вышло...

И добавил, неожиданно для себя:

— Не сердитесь, пожалуйста.

— Ну что вы, — произнес он и вдруг улыбнулся странной печально-ласковой улыбкой. — Как же мне на вас сер-

диться, Феликс Александрович? В сущности, ведь это нужнее вам, чем нам.

И тут до меня дошло, какую поразительную вещь сказал он минуту назад.

— Позвольте, — проговорил я, почему-то понизив голос. — Вы шутите, наверное? В каком смысле вы это сказали — про объективную ценность?

— В самом прямом, — ответил он, перестав улыбаться.

— Да разве же это возможно? Это что же — надо понимать, что вы здесь изобрели Мензуру Зоили?

— Почему бы и нет? И Мензуру, и многое другое...

— Но позвольте! Это же бессмыслица! Какая может быть у произведения объективная ценность?

— Почему бы и нет? — повторил он.

— Да хотя бы потому... Это же, простите, банальность! Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит. Сегодня это гремит на весь мир, а завтра все забыли...

— Все это, Феликс Александрович, верно, но какое это имеет отношение к объективной ценности?

— А такое это имеет отношение к объективной ценности, — сказал я горячась, — что объективно ценное произведение должно быть и для вас ценно, и для меня ценно, и вчера было ценно, и завтра будет ценно, а этого не бывает, этого быть не может!

Однако он возразил, что я путаю объективную ценность с ценностью вечною. Вечных ценностей не бывает действительно, ничего не бывает в литературе и искусстве такого, что бы ценилось всеми и всегда. Но не замечал ли я, что многие произведения, отремев, казалось бы, свое, проживши, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче и энергичнее, нежели раньше. Может быть, имеет смысл такую вот способность заново обретать жизнь как раз и считать мерою объективной ценности? При чем это всего лишь один из возможных подходов к проблеме объективной ценности... Существуют и другие, более функциональные, более удобные для алгоритмизации.

Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить, особенно на такие вот отвлеченные, непрактичные темы. Но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу: легкая эйфория, уютная компания, графинчик, естественно, и в перспективе

второй графинчик, коль скоро возникает в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок, среди рулонов и графиков, и не в уютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытывал робость... Нет, граждане, в такой обстановке я вам не спорщик.

И, словно бы угадав эти мои мысли, он произнес:

— Впрочем, спорить об этом, Феликс Александрович, не имеет никакого смысла. Машина для измерения объективной ценности художественных произведений, Мензура Зоили, как вы ее называете, создана. И уже довольно давно. И вот когда она была создана, Феликс Александрович, возник другой вопрос, гораздо более важный: да нужна ли кому-нибудь объективная ценность произведения? Чрезвычайно поучительна судьба первой действующей модели такой машины, а также ее изобретателя... Простите, я вас не утомляю?

Жутковатое предчувствие уже овладело мною, и я поспешно закивал, всем видом своим давая понять, что несколько не утомлен и очень жду продолжения.

И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как три десятка лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский дом творчества в Кукушкине свою первую модель «Испитала» — «Измерителя писательского таланта»; и о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора Аменподесповича и потом с восторгом зачитал в столовой заключение «Испитала», никого, впрочем, не удивившее; и о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Флавием Веспасиановичем и бестактным редактором издательства «Московский литератор»; и о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гауссианы Никифоровны, когда пропали даром сто семь порций осетрины на вертеле и филе по-суворовски, доставленных из клуба на персональном ЗИСе; и как Лукьян Любомудрович тщился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате, — предлагал сначала ящик водки, потом деньги и, наконец, жилплощадь в одном из высотных зданий... словом, о том, как восемь дней в доме творчества в Кукушкине стоял ад кромешный, а в ночь на девятый день машину разнесли вдребезги, а еще через день Мефодий Кирилыч закончил эту историю в полном соответствии с исчезнувшими ныне правилами разрешения конфликтов.

Жадно выслушав эту историю, я спросил, едва он замолчал:

— Значит, и вы знали Анатолия Ефимовича?

— Разумеется! — ответил он с некоторым даже удивлением. — А почему вы о нем сейчас вспомнили?

— Ну как же! Ведь все то, что вы мне сейчас рассказали, это замысел комедии, которую покойный Анатолий Ефимович хотел написать...

— А, да, — произнес он, как бы вспомнив. — Только он, знаете ли, не только хотел написать. Он и написал эту комедию. Он и себя там вывел — под другим именем, конечно. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло...

Что-то резануло меня в этой последней фразе, но я уже зацепился за другую, как мне показалось, несообразность.

— Что значит — написал? — возразил я. — Мне Анатолий Ефимович все это рассказывал буквально за месяц до кончины. Именно как замысел комедии рассказывал.

Он усмехнулся невесело.

— Нет, Феликс Александрович. Когда он вам это рассказывал, пьеса уже четверть века как была написана. И лежала она в трех экземплярах, отредактированная, выправленная, вполне готовая к постановке, в ящике его стола. Помните его стол? Огромный, старинный, с множеством ящиков. Так вот слева, в самом низу и лежала эта его комедия с неуклюжим названием «Изпитал».

Он произнес это так веско и так в то же время грустно, что мне ничего иного не оставалось, как немного помолчать. И мы помолчали, и он снова раскрыл мою папку и принялся перелистывать рукописи.

Я чувствовал легкую обиду на Анатолия Ефимовича, что не доверился он мне и не показал этот кусочек своей жизни, а ведь казалось мне, что он меня любит и отличает. Хотя, с другой стороны, кто я ему был такой, чтобы мне доверять? Бесед своих удаивал на кухне за чаем, где принимал только близких, и на том спасибо...

Но одновременно с легкой этой обидою испытывал я удивление. Удивляло меня не то, что Мензура Зоили, оказывается, давно уже изобретена и опробована. Меня удивляло, что я не испытываю по этому поводу удивления. Как-никак, реальное существование такой машины опрокидывало многие мои представления о возможном и невозможном...

Наверное, все дело было в том, что сама личность моего

собеседника до такой степени выходила за рамки этих моих представлений, что все остальное казалось мне странным и удивительным лишь постольку, поскольку было от нее производным. Мне ужасно захотелось спросить, а не он ли тот самый молодой изобретатель, который устроил неделю ужасов в Кукушкине, а затем был выведен в пьесе Анатолия Ефимовича. Я уже кашлянул и уже рот было разинул, но он тотчас же поднял на меня свои прозрачные серые глаза, и я тут же понял, что ни за что не решусь задать ему этот вопрос. И брякнул я наугад:

— Так что же это у вас получается? Значит, все вот эти шкафы и есть «Испитал»? Значит, правильно у нас говорят, что вы здесь измеряете уровень наших талантов?

На этот раз он даже не улыбнулся.

— Нет, конечно, — проговорил он. — То есть в каком-то смысле — да. Но в общем-то мы занимаемся совсем другими проблемами, очень специальными, скорее лингвистическими... или, точнее, социально-лингвистическими.

Я спросил, надо ли мне понимать его так, что эти шершавые шкафы действительно могут измерить уровень моего таланта, только сейчас настроены на другую задачу. Он ответил, что в известном смысле это так и есть. Тогда я не без яду осведомился, в каких же единицах измеряется у них здесь талант: по пятибалльной шкале, как в средней школе, или по двенадцатибалльной, как измеряются землетрясения... Он возразил, что наивно было бы предполагать, будто такое сложное социопсихологическое явление, как талант, можно оценивать в таких примитивных единицах. Талант — явление специфическое и для своего измерения требует единиц специфических...

— Впрочем, — сказал он, — проще будет показать вам, как машина работает. Данные, которые она выдает, имеют весьма косвенное отношение к таланту, но все равно... Вот, скажем, эта страничка, ваша рецензия на некую повесть под названием «Рожденье голубки»... Что это за повесть — можно судить по одному названию... Но машина будет иметь дело не с повестью, а с вашей рецензией, Феликс Александрович.

Он не без труда отцепил от листков намертво прижавшую скрепку, взял верхний листок и положил его в этакий мелкий ящичек размером в машинописную страницу. Затем он задвинул ящичек в паз, небрежно перекинул несколько тумблеров на пульте и нажал указательным пальцем

на красную клавишу с лампочкой внутри. Лампочка погасла, но зато засветились и замигали многочисленные огоньки на вертикальной панели, и оживились два больших экрана по сторонам панели. Зазмеились кривые, запрыгали цифры, защелкали и тихонько заньли всякие там клистроны, кенотроны и прочие электронные потроха. Эпоха НТР.

Длилось все это с полминуты. Затем нытье прекратилось, а на панели и на экранах установились покой и порядок. Теперь там светились две гладкие кривые и огромное количество разнообразных цифр.

— Ну, вот и все, — произнес он, выдвинул ящичек и уложил листок обратно в папку.

Я и рта раскрыть не успел, а он уже объяснял мне, что вот эти цифры — это энтропия моего текста, а вот эти характеризуют что-то такое, что долго объяснять, а вот эта кривая — это сглаженный коэффициент чего-то такого, что я не разобрал, а вот эта — распределение чего-то такого, что я разобрал и даже запомнил было, но сразу забыл.

— Обратите внимание вот на эту цифру, — сказал он, постукивая пальцем по одинокой четверке, сиротливо устроившейся в нижнем правом углу цифрового экрана. — Среди ваших коллег сложилось почему-то убеждение, будто именно это и есть пресловутая объективная оценка, или индекс гениальности, как называет ее этот странный, обмотанный бинтами человек.

— Ойло Союзное, — пробормотал я машинально.

— Возможно. Впрочем, сегодня он назвался Козлухиным, а вообще-то он появлялся здесь неоднократно, каждый раз с другой рукописью и под другим именем. Так вот, он упорно называет эту цифру индексом гениальности и считает, что чем она больше, тем автор гениальней...

И он рассказал, как, пытаясь разубедить Петеньку Скоробогатова, он однажды вырвал наугад из какой-то случайно попавшейся под руку газеты фельетон про жуликов в торговой сети и вложил в машину, и машина показала семизначное число, и хотя невооруженным глазом было видно, что фельетон безнадежно далек от гениальности, Петенька Скоробогатов ни в чем не разубедился, хитренько подмигнул и бережно спрятал газетный обрывок в разбухшую записную книжку.

— Так что же она показала, эта ваша семизначная цифра? — с любопытством спросил я.

— Простите, Феликс Александрович, но цифры бывают

только однозначными. Семизначными бывают числа. Так вот, число, выдаваемое на этой строчке дисплея, — он снова постучал пальцем по моей четверке, — есть, популярно говоря, наивероятнейшее количество читателей данного текста.

— Читателей текста... — заметил я с робкой мстительностью.

— Да-да, строгий стилист несомненно найдет это словосочетание отвратным, однако в данном случае «читатель текста» — это термин, означающий человека, который хотя бы один раз прочитал или прочтет в будущем данный текст. Так что эта четверка — не какой-то там мифический индекс вашей, Феликс Александрович, гениальности, а всего лишь наивероятнейшее количество читателей вашей рецензии, показатель НКЧТ, или просто ЧТ...

— А что такое эн-ка? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать: голова у меня шла кругом.

— НК — наивероятнейшее количество.

— Ага... — сказал я и замолчал было, но в голове моей тут на мгновение прояснело, и я спросил с возмущением: — Так какое же отношение это ваше НКЧТ имеет к таланту, к способности, вообще к качеству данного, как вы выражаетесь, текста?

— Я предупреждал вас, Феликс Александрович, что мера эта имеет лишь косвенное отношение...

— Да никакое даже не косвенное! — прервал я его, набирая обороты. — Количество читателей зависит прежде всего от тиражей!

— А тиражи?

— Ну, — сказал я, — уж мне-то вы не рассказывайте. Уж мы-то знаем, от чего, а главное — от кого зависят тиражи! Сколько угодно могу я вам назвать безобразной халтуры, которая вышла полумиллионными тиражами...

— Разумеется, разумеется, Феликс Александрович! Вы сейчас совсем как этот ваш забинтованный Козлухин — почему-то упорно и простодушно связываете величину НКЧТ с качеством текста прямой зависимостью.

— Это не я связываю, это вы сами связываете! Я-то как раз считаю, что никакой зависимости нет, ни прямой, ни косвенной!

— Ну как же нет, Феликс Александрович? Вот текст, — он двумя пальцами приподнял за уголок страничку злощастной моей рецензии, — показатель НКЧТ, как видите, четыре. Есть возражения против такой оценки?

— Но позвольте... Естественно, если брать рецензию, да еще внутреннюю... Ну, редактор ее прочтет... может, автор, если ему покажут...

— Так. Значит, возражений нет.

Он вдруг ловко, как фокусник, извлек из моей папки старую школьную тетрадку в выцветшей, желто-пятнистой обложке и столь стремительно придвинул ее к лицу моему, что я отшатнулся.

— Что мы здесь видим? — спросил он.

Мы здесь видели щемяще-знакомую с детских лет картинку: бородатый витязь прощается с могучим долгогривым конем. А под картинкой стихи: «Как ныне собирается вещей Олег...»

— В чем дело? — спросил я с вызовом. — Между прочим, замечательные, превосходные стихи... Никакие уроки литературы их не убили...

— Безусловно, безусловно, — сказал он. — Но я вас не об этом спрашиваю. Если этот листок ввести сейчас в машину, то?..

Я интеллектуально заметался.

— Н-ну... — промямлил я. — Много должно получиться, наверное... одних школьников сколько... Миллионов десять — двадцать?

— За миллиард, — жестко произнес он. — За миллиард, Феликс Александрович!

— Может, и за миллиард, — сказал я покорно. — Я же говорю — много...

— Итак, — произнес он, — тривиальная рецензия — НКЧТ равно четырем. «Замечательные, превосходные стихи» — НКЧТ превосходит миллиард. А вы говорите — никакой зависимости нет.

— Так ведь... — Я замахал руками и защелкал пальцами. — Песня-то... о вешем Олеге... Она ведь напечатана! И сколько раз! Ее поют даже!

— Поют, — он покивал. — И будут петь. И будут печатать снова и снова.

— Ну вот! А рецензия моя...

— А рецензию вашу петь не будут. И печатать ее тоже не будут. Никогда. Потому и НКЧТ у нее всего четыре. На прошлые времена и на все будущие. Так она и стинет никем не читанная.

Удивительное ощущение возникло у меня в этот момент. Он словно хотел что-то подсказать мне, навести на какую-

то мысль. Он словно стучался в какую-то неведомую мне дверцу моего сознания: «Открой! Впусти!» Но все произнесенные нами слова и высказанные мысли были сами по себе банальны до бесцветности, и никакого отклика во мне они не находили. Словно кто-то пуховой подушкой бил в стальную дверь намертво запертого сейфа.

— Ну и правильно... — сказал я нерешительно. — И господь с ней. Тоже мне — художественная ценность...

Он помолчал, разминая пальцами кожу над бровями.

— Я пошутил, Феликс Александрович, — сказал вдруг он почти виновато. — Конечно же, вы совершенно правы.

Он снова замолк. Молчал и я, пытаясь понять, в чем же именно я оказался прав, да еще — совершенно прав. И еще, в чем была соль шутки. И когда молчание стало неловким и даже неприличным, я произнес:

— Ну что же... я пойду, пожалуй?

— Да-да, конечно, большое вам спасибо.

— Папку я возьму?

— Разумеется, прошу вас...

— А может быть, она вам...

— Нет-нет, большое спасибо. Мы выжали из нее все, что можно.

— Так что, мне больше приходить не надо?

Он поднял на меня невеселые глаза.

— Я всегда буду рад вас видеть, Феликс Александрович. Правда, завтра меня здесь не будет. Приходите послезавтра, если соберетесь.

Не знаю, что он имел в виду на самом деле, но для меня это приглашение прозвучало скорее как приказ. И опять демон склоки шевельнулся в душе моей, но я не дал ему воли. Я ограничился тем, что пожал плечами, и принялся завязывать тесемки на папке, и тут он сказал:

— Ноты, пожалуйста, не забудьте, Феликс Александрович.

Оказывается, я чуть не забыл у него на столе эти дурацкие ноты. Он смотрел, как я запикиваю их в папку, как снова завязываю тесемки, а когда мы уже попрощались и я уже шел к выходу, он сказал мне вслед:

— Феликс Александрович, я бы не советовал вам носить эту партитуру по улицам. Мало ли что может случиться...

Но я решил ничего не уточнять. С меня было довольно. Словно бы ничего не услышав, я молча вышел в коридорчик и плотно прикрыл за собой дверь. В коридорчике никого не было.

От Банной до метро я пошел пешком. Я брел, оскальзываясь, по обледенелым тротуарам, проталкивался через скопления провинциалов у дверей модных магазинов, пробирался через скопления автомобилей на перекрестках и при этом почти ничего вокруг себя не замечал. Мысли мои неотступно возвращались к беседе с моим странным знакомцем. Кстати, ведь он так и не назвал себя! И как это ему удалось? Странно, странно...

С одной стороны, казалось бы, что тут такого? Встретились два интеллигентных человека. По делу. Познакомились. Ну ладно, один из них себя не назвал, а другой вспомнил об этом только после беседы. Это далеко не самое странное. Два интеллигентных, несомненно симпатичных друг другу человека обменялись кое-какими, довольно отвлеченными соображениями по поводу вполне банальных предметов: гениальность, творчество, литература, читатели, тиражи и тэ дэ. Но почему после этой беседы у меня словно занозы какие-то засели в сознании? Где-то вот здесь, за ушами, будто зудит что-то. Но что именно и почему?

Уже в метро, стиснутый между двумя детскими колясками (в одной был ребенок, а в другой резиновые камеры для «Москвича»), я внезапно совершенно отчетливо услышал сквозь грохот колес его мягкий голос: «Анатолий Ефимович не только хотел написать эту комедию. Он ее и написал. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло».

Так. Вот она, первая заноза. Сначала написал, а потом все это произошло. Вздор, вздор, это мне послышалось, конечно. Или оговорка. Главное — что у него было с Анатолием Ефимовичем? И когда он, собственно, успел? Анатолий Ефимович, не в пример подавляющему большинству моих коллег, был человеком крайне замкнутым, я бы сказал даже — нелюдимым. Заседаниями он манкировал, даже самыми ответственными. Салоны не посещал и в доме своем, упаси бог, таковых не устраивал. В Клубе почти не появлялся, спиртного не любил, а предпочитал хороший чай, заваренный собственноручно в домашних условиях. Друзей у него практически не осталось: одни умерли еще до войны, другие погибли во время, а третьи, как он однажды выразился, «избрали часть благу». В сущности, он был одинок, я каждый раз думал об этом, когда видел в углу его кабинета груды нераспечатанных пачек с многочисленными переизданиями его трилогии, той самой, удостоенной всех мысли-

мых лавров, — он не раздаривал даже авторские экземпляры, ему некому было их раздаривать.

Собственно, кроме меня он принимал в своем доме еще семь человек. Я всех их знал, и уверен я, что никто из них и не слыхивал об «Испитале». А нынешний мой знакомец не только слыхал об этой комедии, но и явно читал ее! Странно, странно... Может быть, они когда-то, еще до меня задолго, были близки, а потом рассорились? Но ведь он примерно моего возраста, он в сыновья Анатолию Ефимовичу годится, так когда же они успели бы?

Я так ничего и не придумал по этому поводу, а потом все эти мысли вылетели у меня из головы, когда совсем уже рядом с домом я поскользнулся по-настоящему, совершил фантастический пируэт и обрушился на бок, вдобавок сбив с ног подвернувшуюся даму с собачкой.

Поднимать нас сбежалось шестеро, и порядочно было тут кряхтения, сопенья, ободрительных возгласов и сомнительных ламентаций по поводу того, что право на труд у нас не подразумевает, видно, права на посыпание песком обледенелых тротуаров. Больше всех, по-моему, пострадала собачка, которой в суматохе оттоптали лапу, но и я треснулся весьма серьезно. Я стоял, прижимая ладонь к боку, и пытался дышать, а вокруг меня переговаривались в том смысле, что ничего подобного в Москве зимой еще не бывало... бардак... конец света... Страшный Суд...

Отдышавшись, я с трудом произнес слова благодарности спасителям моим и слова вины перед несчастной дамой и ее собачкой. Мы разошлись, и я поковылял к облицованному черной плиткой крыльцу своему.

Эсхатологические реминисценции, прозвучавшие в негодующем хоре поборников права на труд для дворников, направили мысли мои в совершенно иное русло. Я вспомнил падшего ангела и его дурацкие ноты, а затем, по естественной ассоциации, вспомнил напутственные слова моего сегодняшнего знаконца: «Я бы не советовал вам разгуливать с этими нотами по улице. Мало ли что, знаете ли...» А что, собственно? Что это за ноты такие, с которыми мне не советуют гулять по улицам? «Боже, царя храни»? Или «Хорст Вессель»? И по этому поводу тоже ничего у меня не придумалось, кроме невероятного, разумеется, но зато все объясняющего предположения, что это действительно партитура Труб Страшного Суда.

Но тут я, по крайней мере, знал, к кому обратиться. Я не

доехал до своего шестнадцатого этажа, а вышел на шестом. Там в четырехкомнатной квартире жил и работал популярный композитор-песенник Георгий Луарсабович Чачуа, хлебосол, эпикуреец и неистовый трудяга, с которым мы были на «ты» чуть ли не с самого дня вселения в этот дом.

За обитой дерматином дверью гремел рояль и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачуа работал. Я заколебался. За дверью грохнул взрыв хохота, рояль смолк, голос тоже оборвался. Нет, кажется, Чачуа не работал. Я нажал на кнопку звонка. В тот же момент рояль загремел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское. Да, Чачуа, кажется, не работал. Я позвонил вторично.

Дверь распахнулась, и на пороге возник Чачуа в черных концертных брюках с яркими подтяжками поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутой у ворота, разгоряченное лицо озабочено, гигантский нос покрыт испариной. Ч-черт, все-таки он работал...

— Извини, ради бога, — сказал я, прижимая к груди папку.

— Что случилось? — осведомился он встревоженно и в то же время слегка раздраженно.

— Ничего не случилось, — ответил я, намертво задавливая в себе позыв говорить с кавказским акцентом. — Я на минуту забежал, потому что у меня к тебе...

— Слушай, — произнес он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. — Зайди попозже, а? Там люди у меня, работаем. Часа через два, а?

— Подожди, у меня дело совсем пустяковое, — сказал я, торопливо развязывая тесемки на папке. — Вот ноты. Посмотри, пожалуйста, когда будет время...

Он принял у меня листки и с недоумевающим видом перебрал их в руках. Из глубины квартиры доносились спорящие мужские голоса. Спорили о чем-то музыкальном.

— Л-ладно... — произнес он замедленно, не отрывая взгляда от листков. — Слушай, кто писал, откуда взял, а?

— Это я тебе потом расскажу, — сказал я, отступая от двери.

— Да, дорогой, — сейчас же согласился Чачуа. — Лучше потом. Я сам к тебе зайду. У меня еще на час работы, потом «Спартак» будет играть, а потом я к тебе зайду.

Он махнул мне листками и захлопнул дверь.

Придя домой и раздевшись, я прежде всего полез в душ. Я был мокрый от пота, ушибленный бок ныл немилосердно,

и вообще мне надо было успокоиться. Ворочаясь под душем, я составил себе программу на вечер. Прежде всего — ужин, он же сегодня обед. Его надо приготовить. Картошка есть. Сметана есть. Кажется, есть зеленый горошек. Ба! Есть же банка говядины! К черту супы! Сварить картошку и вывалить в нее тушеную говядину! И лук есть, и маринованная черемша... И коньячок. Много ли человеку надо? Я враз повеселел.

Почему я не против чистить картошку, так это потому, что голова совершенно свободна. Между прочим, никто из моих знакомых не умеет чистить картошку так чисто и быстро, как я. Армия, товарищи! Центнеры, тонны, вагоны перечищенной картошки! И какой, бывало, картошки! Гнилой, глубоко замороженной, сине-зеленой, прочерневшей насквозь... А такую вот картошечку мирного времени, да еще рыночную вдобавок, чистить одно удовольствие. И боже мой, как это прекрасно, что больше мне не надо ехать на Банную!..

Я промыл начищенные картофелины в трех водах, налил в кастрюльку воды и нарезал в нее картофелины, разрезав каждую надвое или натрое. Затем я поставил кастрюльку на огонь.

...Как хотите, а вся эта их затея с определением НКЧТ — чушь и разбазаривание народных денег. Как и большинство высокоумных затей, связанных с литературой и искусством вообще. Это же надо, понаставили шкафов тысяч на сто, и все для того лишь, чтобы доказать: ежели писателя издавать, то читателей у него будет много, хотя, может, и не очень; а ежели его, наоборот, не издавать, ежели его, сукина кота, держать в черном теле, то тогда у него, мерзавца, пакостника этакого, читателей и вовсе не будет. Или еще хлестче: ежели издать, скажем, Александра Сергеевича Пушкина томик, хотя бы и прозы, и параллельно издать романчик Унитазова Сортир Сортирьча про страсти в литейном ковше, то у Пушкина читателей окажется не в пример больше. Вот ведь, по сути дела, и все, что он пытался мне там втолковать. Ну, плюс еще, может быть, нехитрую мысль, что хорошее всегда хорошо, а плохое не всегда плохо...

Или тут что-то не так? Или что-то я тогда не понял и сейчас понять не могу? А вольно же ему было намекать, говорил бы прямо, чего ему нужно, а теперь я хрен туда еще когда-нибудь пойду, а вот и картошечка поспела!..

Вот и все готово сделалось у меня на столе, аппетитней-

шая смесь картофеля и красноватой говядины дымилась в глубокой тарелке, и пахло на кухне мясными запахами, и луком, и лавровым листом, и коньячок пролился в пузатую рюмку, и до чего же славно стало жить, и горизонты посветлели и озарились добрыми предчувствиями. Сценария у меня более половины готово, и в ателье за шубой идти не надо, и не надо, черт подери, совсем не надо больше идти на Банную. Все долги уплачены до захода солнца, как говаривал юный мистер Коркран.

Я опрокинул рюмку, набил рот картошкой с мясом и потянулся к телевизору.

По первой программе кто-то пилил на скрипке. Полюбовавшись некоторое время измученным лицом пильщика, я переключил. По второй программе плясала самодеятельность: взметывала пестрые юбки, грохотала каблуками, сводила и разводила руки и время от времени душераздирающе взвизгивала. Я снова набил рот картошкой и снова переключил. Здесь несколько пожилых людей сидели вокруг круглого стола и разговаривали. Речь шла о достигнутых рубежах, о решимости что-то где-то обеспечить, о больших работах по реконструкции чего-то железного...

Я жевал картошку, ставшую вдруг безвкусной, слушал и проникновенно про себя матерился. Телевизор! Блистательное чудо двадцатого нашего века! Поистине фантастический концентрат усилий, таланта, изобретательности десятков, сотен, тысяч великолепнейших умов нашего, моего времени! Для того, чтобы сейчас вот, вернувшись с работы, десятки миллионов усталых людей остервенело щелкали переключателями вместе со мной, не в силах решить поистине неразрешимую задачу: что выбрать? Вдохновенного пильщика? Или буйную потную толпу самодеятельных плясуннов? Или этих унылых и косноязычных специалистов за круглым столом?

Все-таки я выбрал пильщика. Налил вторую рюмку, отхлебнул и стал слушать. Наваждение какое-то, подумалось мне вдруг. С самого детства меня пичкают классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека каждый день пичкать классической музыкой, то он помаленьку к ней привыкнет и в дальнейшем уже жить без нее не сможет, и это будет хорошо. И началось. Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы и блатные песни — на нас рушили скрипичные концерты. Мы

рвались слушать бардов и менестрелей — нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению музыкальной культуры в наше сознание имели ктд ну хотя бы как у тепловой машины Дени Папена, я жил бы сейчас в окружении знатоков и почитателей музыкальной классики и сам безусловно был бы таким знатоком и почитателем. Тысячи и тысячи часов по радио, тысячи и тысячи телевизионных программ, миллионы пластинок... И что же в результате? Гарик Агаян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. Ойло Союзное вроде меня: чем меньше музыки, тем лучше. Шибзд Леня вообще ненавидит музыку. Есть, правда, Валя Демченко. Но он любит классику с раннего детства, музыкальная пропаганда здесь ни при чем...

Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого клюшкой по голове. Оператор стыдливо увел камеру в сторону, самое интересное мне не показали, и я выключил телевизор. Я был сыт, слегка навеселе, и оставалось мне всего-то-навсего вымыть посуду.

Потом я перешел в кабинет и медленно двинулся вдоль стенки с книгами, ведя указательным пальцем по стеклу.

«Война и мир». Не сегодня. Полгода еще не прошло.

«Письма Чехова». Не то настроение.

Чуковский. «От Чехова до наших дней». Недавно перечитывал.

Так. Сам Антон Павлович в десяти томах. «Скучную историю» перечитать? Нет. Побережем для дня помрачнее.

Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, и внизу вон какая-то заусеница образовалась... Нет, хватит, впредь я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй».

— Нет, — сказал я вслух. — Я сейчас «Театральный роман» почитаю. Ничего на свете нет лучше «Театрального романа», хотите бейте вы меня, а хотите — режьте...

И я взял с полки томик Булгакова, и обласкал пальцами, и огладил ладонью гладкий переплет, и в который уже раз подумал, что нельзя, грешно относиться к книге, как к живому человеку.

Телефон грянул у меня за спиной, и я вздрогнул, потому что был уже не здесь, а в крошечной грязной комнатушке с

диваном, из которого торчала пружина, неудобная, как кафкианский бред. Ушибленный бок у меня вдруг заныл, и, прижимая к ребрам прохладный томик, я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку.

Звонил Валя Демченко. Я вот совсем забыл, а в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения, и меня звали. Я обрадовался. Я обрадовался потому, во-первых, что Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год, и уж если справляется, то это означает, что все у них хорошо, что пребывают они в полосе матерьяльного благополучия, все здоровы, капитан-лейтенант Демченко, всплывши из соленых пучин, прислал бодрое письмо из города Мурманска на Нском море, и вообще все прекрасно. А во-вторых, я обрадовался потому, что далеко не всякого приглашают на дни рождения Сонечки.

Мы поговорили. Я спросил, как обстоит дело с последней Валиной повестью, со «Старым дураком». Валя ответил, что в «Ежеквартальном надзирателе» после давешних неприятностей и читать не стали, шарахнулись, как от прокаженного, а в «Губернском вестнике» да, прочли. Но молчат пока, ждут возвращения главного. Главный сейчас в Швеции, а может быть, в Швейцарии, а может быть, и в Швамбрании. Поэтому никто в «Губернском вестнике» мнения по поводу повести пока не имеет. А вот когда главный вернется и прочитает, вот тут-то и мнение возникнет как бы по волшебству...

Спросил я, как он собирается бороться за название. Он ответил, что никак не собирается, что повесть теперь называется «Старый мудрец», а вот сцену соращения он решил оставить. Какого черта! Не хочет он своею собственной рукой отрезать от себя лучшие куски мяса. Пусть уж они режут, им за это деньги платят. И не маленькие...

Я успокоил его в том смысле, что у них-то рука не дрогнет. Он не спорил. Он знал это получше меня. Затем он спросил, не звонил ли мне сегодня Ленья. Ах, не звонил! Ну так еще позвонит. Он новую фразу написал, но не совсем в ней уверен...

Положивши трубку, я задумался: что подарить Сонечке? Я не умею делать подарки. Особенно женщинам. Коньяк? Не годится, хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи? Черт их разберет, эти духи. Может быть, подарить просто пятьдесят рублей чеками Внешпосылторга? Неудобно как-то. Книгу надо подарить какую-нибудь, вот что. Эх, был бы

у меня какой-нибудь альбом репродукций... или хотя бы были деньги, рубликов триста пятьдесят — в «Планете» продается «Вашингтонская галерея», умереть можно!

Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшиел Хэммет. Давно, ох давно точит Сонечка зубки на моего Дэшиела Хэммета. Однотомничек с лучшими его вещами, избранное, я бы сказал, все равно что в моем коричневом томике Булгакова. «Кровавый урожай» там есть, и «Мальтийский сокол», и «Стеклянный ключ»... Я ведь все это знаю почти наизусть, а Сонечка — это такой человек, что прав у нее на эту книгу никак не меньше, чем у меня.

И, принявши это решение, я поставил томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля «тхюйен жонг», на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек «The Novels of Dashiell Hammett». Вот что я сделаю, подумал я, листая страницы с золотым обрезом. Почитаю-ка я его сегодня и завтра напоследок и с тем распрощаюсь. Осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бок, я возлег на диван, и том в моих руках сам собой раскрылся на «Мальтийском соколе».

Я дочитал до того места, где к Сэму Спэиду заявляются под утро лейтенант Данди и детектив Том, и тут мне стало невмоготу. Я отложил книгу, поднялся кряхтя и спустил ноги с дивана.

Бок болел у меня, который уж раз болел у меня этот несчастный мой левый бок. Я побрел в ванную, задрал перед зеркалом рубаху и посмотрел. Бок был жирный, дряблый был у меня бок, и никаких следов увечья на нем не обнаруживалось. Как, впрочем, и в прежние разы. Я прошел на кухню, вылил в рюмку остатки коньяка и выпил маленькими глоточками, как японцы пьют сакэ.

В первый раз я сломал себе это ребро в шестьдесят пятом, зимой в Мурашах, когда подвинул меня лукавый съехать на финских санях по крутому склону до самой речки. Все съезжали, вот и я решил: чем я хуже? А хуже я оказался тем, что на середине склона струсил, показалось мне вдруг, что скорость моя приближается к космической, и чтобы не улететь к едрене фене, я принял решение катапультироваться. И катапультировался. Шагов двадцать скакал я на левом боку вниз по пересеченной местности. «Сломали ребрышко-то», — сказал мне хирург нашей поликлиники, когда я, вер-

нувшись из Мурашей, явился к нему с жалобой на боли в боку. Это было раз.

Два года спустя я однажды зашел в Клуб пообедать. Я озирался в поисках свободного столика, и тут на меня из-за угла напало сильно поддатое Ойло Союзное. Будучи в агрессивно-восторженном состоянии духа (по случаю гонорара за очередную свою халтуру), оно обхватило меня длинными своими конечностями поперек, как в свое время Геркулес схватил Антея, приподняло меня над матерью-землею и стиснуло так, что ребро только жалобно хрустнуло. «Ты знаешь, трещина у тебя, старик», — озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался ему на боль. Это было два.

В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузе из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа восьмибалльный шторм. Писательская бригада, вся заблеванная, благополучно помиралась в койках, меня же, морской болезни не подверженного, черт понес на палубу. Буквально на секунду оторвал я руку от поручней, и меня со страшной силой шарахнуло о комингс все тем же боком. «Боюсь, переломчик у вас», — сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно.

Это было уже три, и мне казалось, что, поскольку бог любит именно троицу, злоключения ребра моего на этом закончатся. Но, как видно, изба без четырех углов не строится...

Я уныло поглядел на свет через пустую бутылку и втиснул ее в шкафчик под мойкой. Чаю попью, вот что я сейчас сделаю. Я поставил чайник, а сам встал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу.

Экая все-таки мерзопакость. Ведь казалось же, что все наладилось, все заботы позади, так нет же — теперь ребро. Тот, кто ведает моей судьбой, махнул рукой на изящество выдумки и обратился к приемам прямым, грубым, подлым. Ну, на что похоже? Среди бела дня, в пределах огромного мегалополиса солидный пожилой человек, не спортсмен какой-нибудь легкомысленный, не буян и не алкоголик, вдруг ни с того ни с сего ломает ребро! Горько, товарищи. Горько и неприлично...

Я сходил в кабинет за Дэшиелом Хэмметом и принялся пристраиваться около кухонного стола в поисках позы, наименее болезненной. Как и в прошлые разы, оказалось, что легче всего мне в излюбленной Катькиной позе: колени на

табуретке, локти на столе, задница в воздухе. В этой позе я и стал жить. В этой позе я стал пить чай и читать про пудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую малтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании, а в наши дни началась за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спэйда вваливается продырявленный пятью пулями капитан «Ла Паломы», в дверь позвонили.

Кряхтя и постанывая, с огромной неохотой оторвавшись от Сэма Спэйда, я побрел открывать. Оказывается, за это время я успел начисто забыть и про ноты павшего ангела, и про Гогу Чачуа, и поэтому, увидев его на пороге, я испытал потрясение, тем более что лицо его...

Нет, строго говоря, лица на нем не было. Был огромный, с синими прожилками, светло-голубой нос над толстыми усами с пробором, были бледные дрожащие губы, и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что и я не мог выговорить ни слова и только посторонился, давая ему дорогу.

Как слепой, он устремился в прихожую, натолкнулся на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он обеими руками бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладони.

Ноги подо мной подогнулись, и я остановился в дверях, ухватившись за косяк. Он молчал, и мне казалось, что молчание это длится невероятно долго. Более того, мне казалось, что оно никогда не кончится, и у меня возникла дикая надежда, что оно никогда не кончится и я не услышу никогда тот ужас, который принес мне Чачуа. Но он все-таки заговорил.

— Слушай... — просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над ушами. — Опять «Спартак» пропер! Ну что ты будешь делать, а?

8. Банев. Гадкие лебеди

— Который час? — сонно спросила Диана.

Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказал:

— Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще.

— Действительно, — сказала Диана. Диван скрипнул. — Девять часов. А ты что там делаешь?

— Бреюсь, — ответил Виктор, снимая следующую полосу мыла. — Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь.

— Сумасшедший, — сказала Диана сквозь зевок. — Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колочками. Кактус.

В зеркало ему было видно, как она ломающимися шагами подошла к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благодстная, — совсем не та, что ворвалась к нему вчера в номер.

— Сегодня ты похожа на кошку, — сообщил он. — И даже не на кошку — на кошечку, на кошаточку... Чего ты улыбаешься?

— Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось...

Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, из бесформенной кучи шелка в кресле выглядывало только ее чудное лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее.

— Не торопись, — сказала она. — Обрежешься. Все равно мне уже пора ехать.

— Поэтому я и тороплюсь, — возразил Виктор.

— Ну, нет, я так не люблю. Так только кошки... Как там мои шмотки?

Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешанные на обогревательной решетке. Все высохло.

— Куда ты спешишь? — спросил он.

— Я же тебе говорила. К Росшеперу.

— Что-то я ничего не помню. Что там с Росшепером?

— Ну он же повредился, — сказала Диана.

— Ах да! — сказал Виктор. — Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он там вывалился. Здорово расшибся?

— Этот дурак, — сказала Диана, — решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит.

— Что это он? — равнодушно спросил Виктор. — Белая горячка?

— Что-то вроде.

— Подожди, — сказал Виктор. — Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала? Из-за этого вола?

— Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог. Не мог, и все тут. Ничего не мог. Даже помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары.

— Что ты в этом понимаешь, — пробормотал Виктор. — Ты вот ему про писсуары рассказывала, а я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а последнее время... Вообще жизнь у меня последнее время... — Он остановился. Какое ей дело? — подумал он. Спарились и разбежались. — Да, слушай... Когда, ты говоришь, Росшепер сверзился?

— Третьего дня, — ответила Диана.

— Вечером?

— Угу, — сказала Диана, грызя печенье.

— В десять часов вечера, — сказал Виктор. — Между десятью и одиннадцатью.

Диана перестала жевать.

— Правильно, — сказала она. — А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепатеку?

— Подожди, — сказал Виктор. — Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное. Но сначала — а ты что делала в этот момент?

— Что я делала?.. А, да. Я в тот вечер, помнится, психанула. Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да как реву! — в три ручья, с детства так не ревела...

— И вдруг все прошло, — сказал Виктор.

Диана задумалась.

— Да... Нет... Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепугалась и выскочила...

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: «Виктор! Виктор, проснись! Открой, Виктор!» Виктор замер с бритвой в руке. «Виктор! — хрипел Тэдди. — Открой!» — и бешено вертел дверную ручку. Диана вскочила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мокрый, растерзанный, и в руке у него был обрез.

— Где Виктор? — хрипло рявкнул он.

Виктор вышел из ванной.

— Что такое? — спросил он. У него заколотилось сердце. Арест... Война...

— Дети ушли, — тяжело дыша, сказал Тэдди. — Собирайся, дети ушли!

— Постой, — сказал Виктор. — Какие дети?

Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, измятой бумаги.

— Сманили детей, сволочи! — заорал он. — Сманили, гады! Ну теперь все! Хватит, натерпелись... Теперь все!

Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне себя. Таким он видел Тэдди только один раз, когда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот момент резко и нервно затрещал телефон. Виктор схватил трубку. Это была Лола.

— Виктор, — заняла она. — Я ничего не понимаю, Ирма куда-то пропала, оставила записку, что никогда не вернется, а кругом говорят, что дети ушли из города... Я боюсь! Сделай что-нибудь... — Она почти плакала.

— Хорошо, хорошо, сейчас, — сказал Виктор. — Дайте штаны надеть. — Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на разворошенной постели и, бормоча странные слова, сливал в стакан остатки из всех бутылок. — Погоди, — сказал Виктор. — Надо без паники. Я сейчас...

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намыленный подбородок, он несколько раз порезался, ему некогда было направить бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной, лицо у нее было жесткое и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна.

...А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам, шли спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли оглядываясь, шли держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры без лиц, и на месте лиц были черные повязки, над повязками безжалостно и холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затянутые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и

капли дрожали и катились по стали... Чепуха, думал Виктор, чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так...

...Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали и пели и не оглядывались, потому что уже все забыли, потому что у них было только будущее, потому что они навсегда забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопиных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно извергающее преступления и преступные намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными кошмарами, которых они никогда не видели и никогда не увидят...

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребезжали и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опрометью бросился к окну, но за окном был все тот же дождь, пустая мокрая улица и только кто-то проехал на велосипеде — мокрый брезентовый мешок, натужно двигающийся ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минуту спустя к нему присоединились отрывистые жалобные гудки.

— Пошли, — сказала Диана. Она была уже в плаще.

— Нет, погоди, — сказал Тэдди. — Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь, автомат... Есть?

Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбегали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресторане за столом сидел Р.Квадрига, недоуменно крутя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы — все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов, потому что такие слова мог знать только Тэдди — приютская крыса, воспитанник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять бармен.

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую пару. Низкий рев сирен ПВО и писклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалипсическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже «Братя по разуму» на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь.

На шоссе за окраиной люди стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуганные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или впопыхах не заправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех, и скоро кузов оказался набит до отказа. Виктор с Тэдди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорию. Несколько раз грузовик обгоняли другие грузовые машины, набитые людьми, мотоциклисты, и еще один грузовик догнал их и пристроился сзади.

Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидевших, и каждый старался забраться подальше от бортов, и никто ничего не говорил — все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала. И шел дождь — такой, какого Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди — сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его навстречу движению. Видимость была отвратительная — пятнадцать метров вперед и пятнадцать назад, и Виктор очень боялся, что Диана сшибет кого-нибудь на шоссе или врежется в затормозившую машину. Но все обошлось благополучно, и Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в

последний раз и грузовик занесло перед громадным скоплением машин у ворот лепрозория.

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и казалось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево от шоссе, насколько хватало глаз, вдоль колючей изгороди растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили — роскошные длинные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже один автокран, на стреле которого сидело несколько человек. Над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные выкрики.

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тэдди, вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закаченными в обмороке глазами, оскаленные... Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно увяз. Люди стояли плотной стеной, никто не желал уступать своего места, их можно было толкать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только вжимали головы в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям, они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышущейся массой капюшонов и шляп.

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

— Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же умные люди...

— А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие?

— Сим, меня сейчас задавят... Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, ходили босьяками, лишь бы их одеть-обуть...

— Напереть всем разом — и ворота к черту...

— Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего-то ремнем гоняли, а у нас дома в заводе такого не было...

— Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то детей?

— Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что же это, господа? Это же безумие какое-то! Где это видано?

— Ничего, легионеры им покажут... Они с тылу, понял? Ворота откроют, тут и мы поднапрям...

— А пулеметы видел? То-то и оно...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня же дочка там!

— Они давно собирались, я уж видела, да боязно было спрашивать.

— А может, и ничего? Что ж они, звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи...

— В кр-р-ровь, зубами рвать буду!

— Да-а, видно, совсем мы дерьмом стали, если родные дети от нас к заразам ушли... Брось, сами они ушли, никто их не гнал насильно...

— Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? Выходи ко мне, давай сюда, вот он я!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, я ими распорядиться буду, как пожелаю!

— Да где же полиция, господи!

— Надо телеграмму господину Президенту! Пять тысяч подписей — это вам не шутка...

— Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь?

— Муничек мой! Муничка! Муничка!

— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией по мозгам...

— Открывай ворота, так вашу перетак!.. Мокрецы паршивые! Гады!

— Ворота!

Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, он все-таки выбрался, пробрался к грузовику и снова залез в кузов. Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно. Ворота были плотно закрыты, перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив в толпу автоматы, человек десять солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал в толпу офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней ее площадке стоял пулемет и копошились люди в сером. Потом там, за проволокой, еле слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так

что даже стали слышны надсадные вопли офицера («...Спокойствие... имею приказ... по домам...»), затем снова загудела, заворчала, заревела.

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе, как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищенных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами Легиона — эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами... и значки, созвездия значков, значок Отличного Стрелка, и Отличного Парашютиста, и Отличного Подводника, и еще значки с портретом господина Президента, и его зятя, основателя Легиона, и его сына, обершефа Легиона... и у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу — ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат, и все по толпе, по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек, и Виктор уже начал отчаянно озираться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже улыбался, и взревел громовым голосом; но он успел прореветь только: «Прошу внимания! Прошу собравшихся...», а затем мегафон, видимо, опять испортился, офицер, бледнея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела — казалось, закричали все разом, и те, кто уже кричали раньше, и те, которые раньше молчали, или просто переговаривались, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов! — кричал он. — Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но толпа, до сих пор неподвижная, стала

равномерно кольхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, уронив мегафон, попятился к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался Голос.

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышалась в нем, безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать, — сказал Голос. — Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они жить больше так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите раздражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства.

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука — только какой-то шорох, словно туман шуршал, проползая над землей. Потом Голос заговорил снова:

— Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо — лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня приходите. В Лошадиной лощине будет оборудован дом встречи, после пятнадцати часов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать тридцать от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае — завтра, пусть ваш бургомистр позаботится о добавочном транспорте.

Голос снова помолчал. Толпа стояла неподвижной стеной. Люди словно боялись пошевелиться.

— Только имейте в виду, — продолжал Голос. — От вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы еще сможем заставить детей приходиться на свидания, даже если им этого не захочется, а потом... смотрите сами.

А теперь расходитесь. Вы мешаєте и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом, а теперь расходитесь.

Толпа оставалась неподвижной. Может быть, она пыталась думать. Виктор пытался. Это были отрывочные мысли. Не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупое раскрашенное лицо Лолы... А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас... Отец с дрожющими от ярости губами... Я из тебя сделаю человека, щенок паршивый, я с тебя всю шкуру спущу... У меня объявилась дочка двенадцати лет, не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично пристроить?.. Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного Росшепера... не на Росшепера, а на меня... мне, пожалуй, стыдно, но что она понимает, соплячка?.. Брысь на место!.. Вот тебе кукла, хорошая кукла?.. Тебе еще рано, вырастешь — узнаешь...

— Ну, что же вы стоите? — сказал громовой Голос. — Расходитесь!

Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.

— Идите же, — сказал Голос.

И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь — уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то вскрикнул громко, раздались возгласы, звучавшие неуверенно, вокруг автомобилей и автобусов возникли небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в кабины, нетерпеливо растаскивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели. Многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, но не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил с железным лязгом и встал с раскрытыми люками у всех на виду. Виктор знал, почему они оборачиваются и почему они торопятся, у него горели щеки, и если он чего-нибудь боялся, так это что Голос снова скажет: «Идите!» — и снова тяжелая мокрая ладонь брезгливо толкнет его в лицо.

Кучка дураков в золотых рубахах все еще нерешительно топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к оставшимся подошел офицер и рывкнул на них, внушительный, уверенный, исполняющий приятный долг, и они тоже попятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая

на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи, и вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, легковые машины, и люди в кузове, встревоженно и нетерпеливо озираясь, спрашивали друг друга: «А где же водитель?»

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана Свирепая, поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!» — и никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился, должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморось. Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину.

Они молчали до самого санатория.

Диана сразу ушла к Росшеперу — так она, по крайней мере, сказала, — а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть, час, а может быть, два он беспрерывно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывал в окно, задерживал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валился на кровать.

...Унижение, думал он. Да, конечно. Надавали пощечин, назвали подонком, как надоевшего попрошайку, но все-таки это были отцы и матери, все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, но ведь не специально же, а по невежеству... матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми и хвастали друг перед другом, проклинали их зачастую, но не представляли себе жизни без них... и ведь сейчас действительно жизнь совсем опустела, вообще ничего не осталось. Так разве же можно с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно, и еще надавать на прощание по морде...

...Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонн, их ласковые мягкие руки, подносящие младенца к груди... Да, конечно, инстинкт, и целая религия, построенная на инстинк-

те... наверное, вся беда в том, что эту религию пытаются распространять и дальше, на воспитание, где никакие инстинкты уже не работают, а если и работают, то только во вред... потому что волчица говорит своим волчатам: «Кусайте, как я», и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: «Удирайте, как я», и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: «Думай, как я», а это уже преступление... Ну, а эти-то как — мокрецы, заразы, гады, кто угодно, только не люди, по меньшей мере сверхлюди, — эти-то как? Сначала: «Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось, это плохо, потому что то-то и то-то, а должно быть так-то и так-то. Посмотрел? А теперь начинай думать сам, думай, как сделать, чтобы не было того-то и того-то, а получилось так-то и так-то». Только я не знаю, что это за то-то и что это за так-то, и вообще все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные хорошие люди, но главная масса перла по старой дороге, никуда не сворачивая, по-нашему по-простому... Да и как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: «Кусай, как я, и прячься, как я», и так же натаскивал его отца его дед, а деда — прадед, и так до глубин пещер, до волосатых копыеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, потому что жалею самого себя, но им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются они даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, у них свои дела, и от старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей, и они будут охранять тебя, весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир, будут кормить тебя, будут тебя холить... будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами.

...И черт возьми, это по-своему грандиозно — все уже пробовали, только этого не пробовали: холодное воспитание без розовых соплей, без слез... хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспитание... но все равно — жестокость, презрение, это же видно... Ничего у них не получится, потому что, ну ладно — разум, думайте, учитесь, анализируйте, — а как же руки матери, ласковые руки, которые снимают боль и делают мир теплым? И колючая щетина

отца, который играет в войну и в тигра, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше всех на свете? Ведь это же тоже было! Не только же визгливые (или тихие) свары родителей, не только ремень и пьяное бормотание, не только же беспорядочное обрывание ушей, сменяющееся внезапно и непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино... Да откуда я знаю — быть может, у них есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве?.. как Ирма смотрела на того мокреца!.. каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смотрели... и уж во всяком случае, ни Бол-Кунац, ни Ирма, ни прыщавый нигилист-обличитель никогда не наденут золотых рубашек, а разве этого мало? Да черт возьми — мне от людей больше ничего и не надо!..

... Подожди, сказал он себе. Найди главное. Ты за них или против? Бывает еще третий выход: наплевать. Но мне не наплевать. Ах, как бы я хотел быть циником, как легко, просто и роскошно жить циником!.. Ведь надо же — всю жизнь из меня делают циника, стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют, только бы я стал циником, — а я никак... Ну, хорошо, хорошо. Все-таки: за или против? Конечно, против, потому что не терплю пренебрежения, ненавижу всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон... И я — за, потому что люблю людей умных, талантливых и ненавижу дураков, ненавижу тупиц, ненавижу золотые рубашки, фашистов ненавижу, и ясно, конечно, что так я ничего не определяю, я слишком мало знаю о них, а из того, что знаю, из того, что видел сам, в глаза бросается скорее плохое — жестокость, презрительность, бесчеловечность, физическое уродство, наконец... И вот что получается: за них — Диана, которую я люблю, и Голем, которого я люблю, и Ирма, которую я люблю, и Бол-Кунац, и прыщавый нигилист... а кто против? Бургомистр против, старая сволочь, фашист и демагог, и полицмейстер, продажная шкура, и Росшепер Нант, и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и Павор... Правда, с другой стороны — за них долговязый профессионал, а также некий генерал Пфферд — не терплю генералов, а против — Тэдди и, наверное, еще много таких, как Тэдди... Да, тут большинством голосов ничего не решишь. Это что-то вроде свободных демократических выборов: большинство всегда за сволочь...

Часа в два пришла Диана, Диана Веселая Обыкновенная, в туго перетянутаом белом халате, подмазанная и причесанная.

— Как работа? — спросила она.

— Горю, — ответил он. — Сгораю, светя другим.

— Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл... Лопать хочешь?

— Черт возьми, да! — сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтракал.

— Тогда, черт возьми, пошли!

Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча хлебали диетический суп «Братья по разуму», черные от физической усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно заглядывал в тарелки.

— Я тебя сейчас познакомлю с одним человеком, — сказала Диана. — Он будет с нами обедать.

— Кто таков? — с неудовольствием осведомился Виктор. Ему хотелось помолчать за едой.

— Мой муж, — сказала Диана. — Мой бывший муж.

— Ага, — произнес Виктор. — Ага. Что ж... Очень приятно.

И чего это ей вздумалось, подумал он уныло. И кому это нужно. Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служебному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу — желтолицый, горбоносый, в темном костюме и в черных перчатках. Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и негромко сказал:

— Здравствуйте, рад вас видеть.

— Банев, — представился Виктор с фальшивой сердечностью, которая всегда нападала на него при виде мужей.

— Мы, собственно, уже знакомы, — сказал муж. — Я Зурзматор.

— Ах да! — воскликнул Виктор. — Ну, конечно! У меня, должен вам сказать, память... — Он замолчал. — Погодите, — сказал он. — Какой Зурзматор?

— Павел Зурзматор. Вы меня, вероятно, читали, а недавно даже весьма энергично вступились за меня в ресторане. Кроме того, мы еще в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах... Давайте сядем.

Виктор сел. Ну хорошо, подумал он. Пусть. Значит, без повязки они такие. Кто бы мог подумать? Пардон, а где же его «очки»? У Зурзматора — он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, играющий танцора, который иг-

рает танцора, который на самом деле мокрец, или даже сразу четыре мокреца, или даже пять, считая с ресторанным, — не было у Зурзмансора «очков», будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в желтоватый латиноамериканский цвет. А Диана со странной, какой-то материнской улыбкой смотрела то на него, то на своего мужа. И это было неприятно, Виктор почувствовал что-то вроде ревности, которой раньше никогда не ощущал, имея дело с мужьями. Официантка принесла суп.

— Ирма передает вам привет, — сказал Зурзмансор, разламывая кусочек хлеба. — Просит не беспокоиться.

— Спасибо, — отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не чувствуя вкуса. Зурзмансор тоже ел, поглядывая на Виктора исподлобья — без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой, как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось хорошее воспитание.

— Значит, вы все-таки тот самый Зурзмансор, — произнес Виктор. — Философ...

— Боюсь, что нет, — сказал Зурзмансор, промакивая губы салфеткой. — Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение.

Виктор не нашелся что ответить и решил подождать с беседой. В конце концов не я инициатор встречи, мое дело маленькое, он меня хотел увидеть, пусть он и начинает... Принесли второе. Внимательно следя за собой, Виктор принялся резать мясо. За длинными столами дружно и просто-душно чавкали «Братья по разуму», гремя ножами и вилками. А ведь я здесь дурак дураком, подумал Виктор. Братец по разуму. Она ведь, наверное, до сих пор его любит. Он заболел, пришлось им расстаться, а она не захотела расстаться, иначе зачем бы она поперлась в эту дыру выносить горшки за Росшепером... И они часто видятся, он пробирается в санаторий, снимает повязку и танцует с ней. Он вспомнил, как они танцевали — шерочка с машерочкой... Все равно. Она его любит. А мне какое дело? А ведь есть какое-то дело. Что уж там — есть. Только — что есть? Они отобрали у меня дочь, но я ревную к ним дочь не как отец. Они отобрали у меня женщину, но я ревную к нему Диану не как мужчина... О черт, какие слова! Отобрали женщину, отобрали дочь... Дочь, которая увидела меня впервые за двенадцать лет жизни... или ей уже тринадцать? Женщину, ко-

тору я знаю считанные дни... Но, заметьте, ревную — и притом не как отец и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если бы он сейчас сказал: «Милостивый государь, мне все известно, вы запятнали мою честь, как насчет сатисфакции?»

— Как продвигается работа над статьей? — спросил Зурзматор.

— Никак, — сказал Виктор.

— Было бы любопытно прочесть, — сообщил Зурзматор.

— А вы знаете, что это должна быть за статья?

— Да, представляем. Но ведь вы такую писать не станете.

— А если меня вынудят? Меня генерал Пфферд защищать не станет.

— Видите ли, — сказал Зурзматор, — статья, которую ждет господин бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний трансформируют по-своему любое задание, которое им дается. Вы относитесь к таким людям.

— Это хорошо или плохо? — спросил Виктор.

— С нашей точки зрения — хорошо. О человеческой личности очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ничего больше в себе и не содержит. Поэтому особенно ценны так называемые творческие личности, перерабатывающие информацию в действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию.

— А вам не кажется, что это звучит оскорбительно? — сказал Виктор.

Зурзматор, странно искривив лицо, посмотрел на него.

— А, понимаю, — сказал он. — Творец, а не подопытный кролик... Но, видите ли, я изложил вам только одно обстоятельство, сообщаящее вам ценность в наших глазах. Другие обстоятельства общеизвестны, это правдивая информация об объективной действительности, машина эмоций, средство возбуждения фантазии, удовлетворение потребности в сопереживании... Собственно, я хотел вам польстить.

— В таком случае, я польщен, — сказал Виктор. — Однако все эти разговоры к написанию пасквилей никакого

отношения не имеют. Берется последняя речь господина Президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами «так называемые мокрецы», или «пациенты кровавого доктора», или «вурдалаки из лепрозория»... так что мой психический аппарат участвовать в этом деле не будет.

— Это вам только кажется, — возразил Зурзмансор. — Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приметесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду.

— Может быть, — сказал Виктор. — Во всяком случае, писать эту статью мне сейчас не хочется.

— А что-нибудь другое — хочется?

— Да, — сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза, — я бы с удовольствием написал, как дети ушли из города. Нового Гаммельнского крысолова.

Зурзмансор удовлетворенно кивнул.

— Прекрасная мысль. Напишите.

Напишите, подумал Виктор с горечью. Мать твою так, а кто это напечатает? Ты, что ли, это напечатает?

— Диана, — сказал он. — А нельзя здесь что-нибудь выпить?

Диана молча поднялась и ушла.

— И еще с удовольствием написал бы про обреченный город, — сказал Виктор. — И про непонятную возню вокруг лепрозория. И про злых волшебников.

— У вас нет денег? — спросил Зурзмансор.

— Пока есть.

— Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом литературной премии лепрозория за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше, это очевидно. Так что деньги у вас будут.

— Н-да, — сказал Виктор. — Такого со мной еще не было. И много денег?

— Тысячи три... Не помню точно.

Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и один стакан.

— Еще стакан, — попросил Виктор.

— Я не буду, — сказал Зурзмансор.

— Я, собственно... Гм...

— Я тоже не буду, — сказала Диана.

— Это за «Беду»? — спросил Виктор, наливая.

— Да. И за «Кошку». Так что месяца на три вы будете обеспечены. Или меньше?

— Месяца на два, — сказал Виктор. — Но не в этом дело... Вот что: я хотел бы побывать у вас в лепрозории.

— Обязательно, — сказал Зурзмансор. — Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день. Десяток домиков и лечебный корпус.

— Лечебный корпус, — повторил Виктор. — И кого же у вас там лечат?

— Людей, — сказал Зурзмансор со странной интонацией. Он усмехнулся, и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, рот стал треугольным, а левая щека вместе с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение. Диана уронила тарелку, Виктор машинально оглянулся, а когда снова уставился на Зурзмансора, тот уже был прежний — желтый и вежливый. Тьфу, тьфу, тьфу, мысленно сказал Виктор. Изыди, нечистый дух. Или показалось? Он торопливо вытащил пачку сигарет, закурил и стал смотреть в стакан. «Братья по разуму» с большим шумом поднялись из-за столов и побрели к выходу, зычно перекликаясь. Зурзмансор сказал:

— Вообще мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается. Разрешаются опыты над климатом, разрешается подготовка нашей смены... и так далее. Не стоит об этом распространяться. Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну а мы их не разубеждаем. — Он помолчал. — Пишите о чем хотите и как хотите, Банев, не обращайтесь на псов лающих. Если у вас будут трудности с издательствами или денежные затруднения, мы вас поддержим. В крайнем случае мы будем издавать вас сами. Для себя, конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены.

Виктор выпил и покачал головой.

— Ясно, — сказал он. — Опять меня покупают.

— Если угодно, — сказал Зурзмансор. — Главное, чтобы

вы осознали: есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который весьма заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны, Банев. Причем вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев — наш сторонник и наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творческой личности. Вот и все, что нам от вас нужно.

— Оч-чень, оч-чень льготные условия, — сказал Виктор. — Карт-бланш и штабеля маринованных миног в перспективе. В перспективе и в горчичном соусе. И какая вдова ему б молвила «нет»?.. Слушайте, Зурзматор, а вам пришлось когда-нибудь продавать душу и перо?

— Да, конечно, — сказал Зурзматор. — И вы знаете, платили безобразно мало. Но это было тысячу лет назад и на другой планете. — Он снова помолчал. — Вы не правы, Банев, — сказал он. — Мы не покупаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы оставались самим собой, мы опасаемся, что вас сомнут. Ведь многих уже смяли... Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно разрушить, купить их нельзя. Каждая данная моральная ценность нужна только одной стороне, красть или покупать ее не имеет смысла. Господин Президент считает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер. А мы не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, пусть даже нашими, и умер. Нам нужны художники, а не пропагандисты.

Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость, и гордость, и недоверие, и унижение, разочарование и ответственность, и еще что-то, в чем он пока не мог разобраться.

— Было очень приятно побеседовать, — сказал Зурзматор. — Желаю успешной работы.

— До свидания, — сказал Виктор.

Зурзматор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко и твердо шагая. Виктор смотрел ему вслед.

— Вот за это я тебя и люблю, — сказала Диана.

Виктор рухнул на стул и потянулся к бутылке.

— За что? — рассеянно спросил он.

— За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, скандалист, подонок, все-таки нужен таким людям.

Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще одна Диана — Диана Влюбленная — с огромными

сухими глазами, Мария из Магдалы, Диана Смотрящая Снизу Вверх.

— Подумаешь, — пробормотал Виктор. — Интеллектуалы... Новые калифы на час.

Однако это были только слова. На самом деле он понимал: все было не так просто.

Виктор вернулся в гостиницу на следующий день, после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туссок: Росшеперу прислали из столичных оранжерей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Росшеперу, при всей его аномальной прожорливости, с такой массой ягоды в одиночку не управиться.

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб, и сказал:

— Щенок-то мой, оказывается, заводилой у них был.

— Ну что уж вы так, — сказал Виктор. — Он славный парнишка. Умница, и воспитан хорошо.

— Так уж драл я его! — сказал швейцар приободрившись. — Старался... — Он снова помрачнел. — Соседи заедаются, — сообщил он. — А я что? Я и не знал ничего...

— Плюньте на соседей, — посоветовал Виктор. — Это же они от зависти. Мальчишка у вас — прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит.

— Ха! — сказал швейцар, снова приободрившись. — Так, может, еще породнимся?

— А что же, — сказал Виктор, — очень даже может быть. — Он представил себе Бол-Кунаца. — Отчего же...

Посмеялись по этому поводу, пошутили.

— Стрельбы вчера не слышали? — спросил швейцар.

— Нет, — сказал Виктор, насторожившись. — А что?

— А так получилось, — сказал швейцар, — что, значит, когда мы все оттуда разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрался-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь. А по ним из пулеметов.

— Вот черт, — сказал Виктор.

— Сам я не видел, — сказал швейцар. — Люди рассказывают. — Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо: — Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается.

— Обидно, — пробормотал Виктор, расстроившись.

Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все в общем ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в Дом встречи проведать сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павор.

— Добрый день, — сказал Павор, ослепительно улыбаясь.

Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, — сказал он мрачно. — Что скажете?

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сволочь, а во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.

— Слушайте, Виктор, — сказал Павор. — Я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды.

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.

— Ей-богу, до того мне в последнее время не везет, — продолжал Павор, — весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки, бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю...

— Господин Сумман, — сказал Виктор. — Перестаньте ваньку валять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетита, ступайте себе.

— Виктор, — произнес Павор укоризненно. — Мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застойной болтовне. Неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молал? Мигрень, неприятности, насморк... Ну что вы хотите от человека?

— Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу, — объяснил Виктор. — А если уж бьет —

бывают обстоятельства, — то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля.

— Ах, вот вы о чем, — сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно осунулось. — Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность. Я понятия не имел, что это вы. И потом... Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства.

— Господин Сумман, — сказал Виктор, облизывая ложку. — Я всегда недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил — он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, уберите.

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну понятно — здоровый мужик, и карате, наверное, знает, и кастет у него есть... Хорошо бы разозлиться сейчас... Что он, в самом деле, мне лакомство портит...

— Я вижу, вы много знаете, — сказал Павор. — Это плохо. Я имею в виду — для вас. Ну ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь вам, что знал, кого бью, но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись... В общем, единственное, на что я мог бы пойти, это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения.

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и труднопредставимое.

— Однако извиняться за то, что я работник известного вам департамента, — продолжал Павор, — я не могу, да и не хочу в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душителы вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих романах изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну, а я — по-другому... Подробности я вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрых тварей, боюсь их — и не только за себя боюсь, за всех людей боюсь, которые хоть чего-то стоят. За вас, на-

пример. Вы же ни черта не понимаете. Вы вольный художник, эмоционал: ах, ох — и все разговоры. А речь идет о судьбе системы. Если угодно — о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина Президента — диктатор, тиран, дурак... А надвигается такая диктатура, какая вам, вольным художникам, и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно верное: человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот, ваши любезные мокрецы обещают такую жесткость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмансора или Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого определения — его не интересует. Господин Президент по прирожденной своей ограниченности — ну, облает вас, ну, в крайнем случае, прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе приглашает. А Зурзмансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует: дерьмо собачье, никуда не годное, — и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнет грязной тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы были...

Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожиданное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. Ну-ну, сказал себе Виктор предостерегающе. Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же тебя покупает за ломаный грошик... Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. Это же чиновник, не забывай. У него, по определению, не может быть идейных соображений — начальство приказало, вот он и работает за компот. Прикажут ему защищать мокрецов — будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал...

Павор взял себя в руки и улыбнулся.

— Я знаю, что вы думаете, — сказал он. — По вашей физиономии видно, как вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно. А вот представьте себе, ничего мне от вас не нужно. Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтобы вы выбрали правильную сторону... — Он болезненно оскалился. — Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. Потом

спохватитесь, — да поздно будет... Я уже не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убираться, я и пришел-то к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ служебного рвения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет... Но это — ладно, это чепуха, об этом еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой под охраной этих кретинов... — Он опять оскалился. — А вот пройдет десяток лет...

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали «сядьте», а Павору сказали «встаньте».

— Павор Сумман, вы арестованы.

Павор, белый, даже какой-то синевато-белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал:

— Ордер.

Ему дали посмотреть какую-то бумагу и, пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя: пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга... Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Тогда он закурил и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться или, по крайней мере, выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет... На лестничной клетке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся — и точно: в углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету.

— А, вот он сам, — сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. — Я как раз к вам, — сказал долговязый. — Но раз уж так получилось, пойдёмте к нам, там даже спокойнее.

Виктору было все равно, куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал их все. Тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого

человека было скучающее выражение на лице, а Виктор думал, что было бы, если дать ему сейчас по башке, выхватить портфель и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню налево, а долговязый сказал Виктору: «Одну минуточку» — и удалился в спальню направо. Виктор присел за стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и не смотрели, что он из красного дерева, на него клали горящие сигареты и по крайней мере один раз стряхнули авторучку. Потом из своей спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из своей спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутылка скетча, стакан и лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим сафьяном.

— Сначала формальности, — сказал долговязый. — Хотя нет, подождите, сначала второй стакан. — Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, взглянул в него, подул и поставил на поднос. — Итак, формальности, — сказал он.

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в стену. Тогда Виктор тоже поднялся.

— Виктор Банев! — провозгласил долговязый казенно-возвышенным голосом. — Милостивый государь! От имени и по специальному повелению господина Президента я имею вручить вам медаль «Серебряный Трилистник второй степени» в награду за особые услуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен чести здесь представлять!

Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся прищипливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал.

— А теперь это надо обмыть, — сказал долговязый.

Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей.

— За кавалера «Трилистника»! — провозгласил он.

Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею.

— Третья степень у вас, кажется, была, — сказал долговязый. — Теперь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое. За что первую схватили?

— Не помню, — сказал Виктор. — Было там что-то такое, убил, наверное, кого-нибудь... А, помню. Это за Китчинганский плацдарм.

— О! — сказал долговязый и снова разлил виски. — А я вот не воевал. Не успел.

— Вам повезло, — сказал Виктор. Они выпили. — Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку.

— Я же сказал: за особые услуги.

— За Суммана, что ли? — произнес Виктор, горестно усмехаясь.

— Бросьте! — сказал долговязый. — Вы же важная персона, вы же там, в кругах... — Он неопределенно помахал пальцем возле уха.

— В каких там кругах... — сказал Виктор.

— Знаем, знаем! — лукаво закричал долговязый. — Все знаем! Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха... Вы — молодец.

— В первый раз слышу, — сказал Виктор нервно.

— Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал — еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у Президента и подsunул ему представление на вас. — Долговязый засмеялся. — Потеха, говорят, была. Старик заорал: «Какой Банев? Куплетист? Ни за что!» Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше превосходительство! В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю. Что там у вас с ним получилось?

— Да так, — неохотно сказал Виктор. — О литературе поспорили.

— Вы действительно пишете книжки? — спросил долговязый.

— Да. Как полковник Лоуренс.

— И прилично платят?

— Надо будет и мне попробовать, — сказал долговязый. — Времени вот только свободного все нет. То одно, то другое...

— Да, времени нет, — согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее

было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает. — Вы знаете, я пойду, — сказал он, поднимаясь. — Время.

Долговязый тотчас вскочил.

— Конечно, — сказал он.

— До свидания.

— Честь имею, — сказал долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился.

Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джину, а когда шел обратно, портье окликнул его:

— Господин Банев, вам звонил господин бургомистр. В номере вас не было, и я...

— Что ему нужно? — утрюмо спросил Виктор.

— Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе? Если он позвонит еще раз...

— Пошлите его в задницу, — сказал Виктор. — Я сейчас выключу у себя телефон, и если он будет звонить вам, то так и передайте: господин Банев, кавалер «Трилистника второй степени», посылает-де вас, господин бургомистр, в задницу.

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. Хватит, хватит с меня, думал он. Не нужно мне ничего, ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей, оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории... Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-синего лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Баттокс, генерал Аршманн с вашими орденосными объятьями, Зурзмансор с отклеивающимся ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что, корчась, прячется на дне траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, стена от напряжения, вспучиваются, выпячиваются и между делом, походя, выдавливают его наверх, все выше, выживают его из траншеи, выпирают над бруствером... а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-

то, что плохо-де работаете, а он — вот он, над бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как подводная лодка, думал он, и кто-то подсказал ему: чтобы не могли запеленговать. Да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня, нет. Молчу. Разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником?.. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, твердил он, и позывных не передавать. Он уже почувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по горло, до подбородка... и не хочу ни пить, ни писать... Он налил джину и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать... ох, надоело петь и писать... Где банджо, подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вытащил банджо. А мне на вас плевать, подумал он. Ох, до какой степени мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Павор Сумман, которому выкручивали руки и били по морде... Сыт я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... не стал уставать, уже устал, но «стал уставать» — это хорошо, а значит, это так и есть... лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. Подводная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а лагерь — не тетка... вот как, вот как...

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор наконец услышал, но не испугался, потому что это был не ТОТ стук. Обыкновенный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем.

— Веселитесь? — сказал он. — Павора арестовали.

— Знаю, знаю, — сказал Виктор весело. — Садитесь, слушайте...

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел:

Сыт я по горло, до подбородка,
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать...

— Дальше я еще не сочинил, — крикнул он. — Дальше будет водка... молодка... лагерь — не тетка... А потом — слушайте:

Не помогают ни девки, ни водка,
С водки — похмелье, а с девок — что взять?
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать...
Сыт я по горло, сыт я по глотку,
О-о-ох, надоело пить и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать...

— Все! — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех, — оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное, бесчестное действие, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового крючка...

— Завидую, — сказал Голем. — Но не пора ли вам застезь за статью?

— И не подумаю, — сказал Виктор. — Вы меня не знаете, Голем, — я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и вы тоже напейтесь! Снимайте плащ... Снимайте, я вам говорю! — заорал он. — И садитесь! Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть вы и пророк. И я вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет, и большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми, — а я говорю: нет, ничего не понимаю... Вот поэтому я нужен... Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим...

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы.

*Когда мы писали «Гадких лебедей», нам представилось необходимым включить в повесть именно эту песню Владимира Высоцкого. Мы обратились к Владимиру Семеновичу — поэт дал согласие. — А. С., Б. С. («Гадкие лебеди» — повесть Стругацких, вошедшая в роман как «баневские» главы — прим. ред.)

— Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем Легиона и абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом — Легион победно двигался вперед без меня, господин Президент неутомимо становился господином Президентом, и опять же без меня. Все прекрасно обходилось без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь, и что же — кто-нибудь побеспокоился, заинтересовался, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимающий Банев? Ни хрена подобного! А вот когда я перестал понимать что бы то ни было — о, тогда все переменялось. Все газеты заметили меня. Куча департаментов заметила меня. Господин Президент лично удостоил... А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой... э-э... полковники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! За что? А за то, господа, что он ничего не понимает. — Виктор сел. — Я здорово пьян? — спросил он.

— Не без, — сказал Голем. — Но это не важно, продолжайте.

Виктор развел руки.

— Все, — сказал он виновато. — Я иссяк... Может быть, вам спеть?

— Спойте, — согласился Голем.

Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу», потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом про правду и ложь, потом снова «Сыт я по горло», потом затянул государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее», но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.

— Опять иссяк, — сказал он грустно. — Так, говорите, Павора арестовали? А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите... А вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полагаете?

— Вряд ли, — сказал Голем. — Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим.

— А мокрецы?

— Может быть, они не дадут нам передавить друг друга... Трудно сказать.

— А может быть, помогут? — сказал Виктор с пьяным смехом. — А то ведь мы даже давить не умеем. Десять тысяч лет давим и все никак не передавим... Слушайте, Голем, а зачем вы мне ввали, что вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то...

— Гм, — произнес Голем. — Откуда у вас такие сведения? Я этого не знал.

— Ладно-ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил с Зуэр... с Зу... с Зурзмансором. Он мне все рассказал: секретный институт... обмотались повязками в целях сохранения... Вы знаете, Голем, они там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Пфердом до бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается... Фу, черт, как пьян — все плывет...

Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие непривычно внимательные глазки.

— И Зурзмансор сказал вам, что он здоров?

— Да, — сказал Виктор. — Впрочем, не помню... Скорее всего, нет. Но видно же.

Голем поскреб подбородок краем стакана.

— Жалко, что вы пьяны, — сказал он. — Впрочем, может быть, это хорошо. У меня сегодня настроение. Хотите, я расскажу вам все, что догадываюсь и думаю о мокрецах?

— Валяйте, — согласился Виктор. — Только больше не врите.

— Очковая болезнь, — сказал Голем, — это очень любопытная штука. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь? — Он замолчал. — Нет, не буду я вам ничего рассказывать.

— Бросьте, — сказал Виктор. — Вы уже начали.

— Ну и дурак, что начал, — возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся. — Задавайте вопросы, — сказал он. — Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу... Давайте, давайте, а то я опять раздумаю.

В дверь постучали.

— Идите к черту! — гаркнул Виктор. — Я занят!

— Простите, господин Банев, — сказал робкий голос портя. — Вам звонит ваша супруга.

— Вранье! У меня нет никакой супруги... Впрочем, пардон. Я забыл. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо. — Он

схватил стакан, налил до краев, сунул Голему и сказал: — Пейте и ни о чем не думайте. Я сейчас.

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаговолишь ли ты присоединиться.

— Нет, — сказал Виктор. — Не соблаговолю. Я занят.

— Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустился до такой степени...

— Я занят! — рявкнул Виктор.

— Тебя не волнует, что с твоей дочерью?

— Перестань валять дурака, — сказал Виктор. — Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Чего тебе еще нужно?

Лола принялась плакать.

— Перестань, — сказал Виктор, морщась. — Ирме там хорошо. Лучше, чем в самом лучшем пансионе. Поезжай и убедись сама.

— Грубая, бездушная, эгоистическая свинья, — объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, снова выключил телефон и вернулся к столу.

— Слушайте, Голем, — сказал он. — Что вы там делаете с моими детьми? Если вы там готовите себе смену, то я не согласен.

— Какую смену?

— Ну, какую... Вот я и спрашиваю: какую?

— Насколько мне известно, — сказал Голем, — дети очень довольны.

— Мало ли что... Я и без вас знаю, что они довольны. Но что они там делают?

— А разве они вам не говорили?

— Кто?

— Дети.

— Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?

— Они строят новый мир, — сказал Голем.

— А... Да, это они мне говорили. Но это же так, философия... Что вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колочей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пферда!.. А если они там заразятся?

— Чем? — спросил Голем.

— Очковой болезнью, естественно!

— В шестой раз повторяю вам, что генетические болезни не заразны.

— В шестой, в шестой... — проворчал Виктор, потеряв

- нить. — А что это такое вообще — очковая болезнь? Что от нее болит? Или, может быть, это секрет?
- Нет, это везде опубликовано.
 - Ну, расскажите, — сказал Виктор. — Только без терминов.
 - Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри, особенно на руках и на ногах... иногда — гнойные язвы...
 - Слушайте, Голем, а это вообще важно?
 - Для чего?
 - Для сути.
 - Для сути — нет, — сказал Голем. — Я думал, вам это интересно.
 - Я хочу понять суть! — сказал Виктор проникновенно.
 - А сути вы не поймете, — сказал Голем, слегка повысив голос.
 - Почему?
 - Во-первых, потому что вы пьяны...
 - Это еще не причина, — сказал Виктор.
 - А во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить.
 - Так не бывает, — заявил Виктор. — Вы просто не хотите говорить. Но я на вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибунал... Павора вот забрали... Бог с вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не нашлось?
 - Не нашлось, — ответил Голем. — В лепрозории живут архитекторы. И подрядчики.
 - С автоматами, — сказал Виктор. — Видел. Ничего не понимаю. Кто-то из вас врет. Либо вы, либо Зурзмансор.
 - Конечно, Зурзмансор, — хладнокровно сказал Голем.
 - А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то... Вы мне только скажите, Голем чего они хотят? Только честно.
 - Счастья, — сказал Голем.
 - Для кого? Для себя?
 - Не только.
 - А за чей счет?
 - Для них этот вопрос не имеет смысла, — медленно сказал Голем. — За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.
 - Совсем как мы, — сказал Виктор.
 - Ну нет, — возразил Голем. — Совсем не так.
 - Почему? Мы тоже...

— Нет, потому что мы выгаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду... Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия.

— Не понимаю, — сказал Виктор.

— Я вас предупреждал. Я сам многого не понимаю, но я догадываюсь.

— А есть кто-нибудь, кто понимает?

— Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети... Но даже если они и понимают, то по-своему. Очень по-своему.

Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на стол.

— Голем, — сказал он. — Вот вы — коммунист. Какого черта вы делаете в лепрозории? Почему вы не на митинге? Почему не на баррикаде? Москва вас не похвалит.

— Я архитектор, — спокойно сказал Голем.

— Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И вообще, чего вы меня водите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне сказали? Жрете мой джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете бесперечь.

— Ну уж и бесперечь, — сказал Голем. — Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв.

— Дайте сюда стакан, — сказал Виктор. — Уже напились. — Он плеснул из бутылки и выпил. — Черт вас разберет, Голем. Ну зачем вам это? Что это за игры? Если можете рассказать — рассказывайте, а если это тайна — нечего было начинать.

— Это очень просто объясняется, — благодушно сказал Голем, вытягивая ноги. — Я же пророк, вы сами меня так обзывали. А пророки все в таком положении: знают они много, и рассказать им хочется — поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания себе веса. А когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудобства, неловкости... Вот они и зуммерят, как господь бог, когда его спросили насчет камня.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Поеду в лепрозорий и узнаю все без вас. Ну, подскажите что-нибудь...

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получится не так уж плохо. И вообще все не так плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же

закачалась. Никакого дождя не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек волн. Лечь бы на дно... И он бы лег, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос Голема:

— ...Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет Вселенной, но это будет не краснощекий богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя... Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы...

Зурзмансор, который сидел на носу лодки, повернул голову, и стало видно, что у него нет лица, лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел...

— Ложитесь спать, — пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж очень хотелось спать. — Ложитесь спать, Голем...

Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, в окна с дробным треском хлестал дождь. Он с трудом поднял руку и потянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую стену. Странно, подумал он. А где Диана? Или это не санаторий? Он попробовал облизать губы, толстый шершавый язык не повиновался. Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае... Ага, собственно, мне хочется пить. «Диана!» — позвал он. Да, здесь же не санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена... Так это же мой номер! — подумал он с восторгом. Как я сюда попал? Он лежал под одеялом и был раздет до белья. Что-то я не помню, чтобы я раздевался, подумал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся сам. Если на мне ботинки, то я раздевался сам... Он потер ногрой об ногу. Ага, босой. Черт, руки чешутся, волдыри какие-то, поразвели клопов в номерах. Съеду. Куда это я ехал в лодке?.. А, это Павор здесь клопов развел... Он вдруг вспомнил о Паворе и сел, его замутило, и он опять лег на спину. Давно я так не надирался, однако... Павор... «Серебряный Трилистник»... Когда это было? Вчера? Он скривился и стал драть ногтями левую руку. Что сейчас — утро или вечер? Наверное, утро... А может быть, вечер. Голем! — вспомнил он. Мы с Големом высосали целую бу-

тылку. И не разбавляли. А до этого полбутылки высосали с долговязым. А до этого я еще где-то сосал. Или это было вчера? Постой-ка, а сейчас — сегодня или вчера? Встать было надо, попить, то-се... Нет, подумал он упрямо. Я сначала разберусь.

Что-то Голем рассказывал интересное, он решил, что я пьян и ничего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что же я понимал?.. Он яростно потер тыльной стороной правой ладони по шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают... Нет, это из Павора... Ага, вот из Голема: у них все впереди, а у нас впереди — только они. И генетическая болезнь... А что же, вполне возможно. Когда-нибудь это должно произойти. Может быть, давно уже происходит. Внутри вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болезнью. Старый вид — для одних условий, новый вид — для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, положим, это тоже нужно, но скорее по инерции. Можно с практической сметкой укокошить миллион, и ничего существенного не произойдет. Это уж точно, много раз испробовано. Кто-то сказал, что если бы из истории вынули всего лишь несколько десятков... ну, пусть несколько сотен человек, то мы моментально оказались бы в каменном веке. Ну, пусть несколько тысяч... Что это за люди? Это, брат, совсем другие люди.

А вполне возможно: Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятная, и вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапека... Они, конечно, особенные: ни практической сметки у них не было, ни нормальных человеческих потребностей... Или, может быть, это кажется? Просто духовная сторона так гипертрофирована, что все прочее незаметно. Ну, это ты зря, сказал он. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка — это уже само по себе звучит... А вообще интересно было бы себе представить, как в наши дни рождается хомо супер. Хороший сюжет... Черт, руки зудят нестерпимо... Написать бы такую утопию в духе Орвелла или Бернарда Вольфа. Правда, трудно представить себе такого супера: огромный лысый череп, хиленькие ручки-ножки, импотент — банальщина. Но вообще-то что-то в этом роде и должно быть. Во всяком случае, смещение по-

требностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь особенной не надо, роскоши никакой, да и женщин в общем-то — так только, для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу книг... аллею для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи... Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового, вот и все...

Виктор кряхтя поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошел в ванную, открутил кран и с наслаждением напился, не зажигая света. Страшно было даже подумать — зажечь свет. Потом он снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная клопов. Вообще-то для сюжета это даже хорошо: секретный институт, часовые, шпионы... патриотизм патриотической уборщицы Клары... экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности — куда уж мне... Это вообще невозможно. Шимпанзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Конечно, кое-что представить можно. Атмосферу. Состояние непрерывного творческого экстаза. Ощущение своего всемогущества, независимости... отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие... Да, чтобы написать такую штуку, надо нализаться ЛСД. Вообще эмоциональная сфера супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология. Болезнь... Жизнь-болезнь материи, мышление-болезнь жизни. Очковая болезнь, подумал он.

И вдруг все стало на свои места. Так вот что он имел в виду! — подумал Виктор про Голема. Умные и все на подбор талантливые... Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. Зурзмансор мне просто баки забивал. Значит, началось... Ничего нельзя скрыть, подумал он с удовлетворением. А такую штуку — тем более. Пойду к Голему, нечего ему строить пророка. Они, наверное, многое ему рассказали... Черт подери, это же будущее, то самое будущее, которое запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня! У нас впереди — только они... Его охватило лихорадочное возбуждение. Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом вчера, потому что вчера, и позавчера, и неделю назад каждая секунда тоже была исторической...

Он вскочил, зажег свет и, морщась от рези в глазах, стал на ощупь искать свою одежду. Одежды не было, но потом

глаза привыкли к свету, он схватил брюки, висящие на спинке кровати, и вдруг увидел свою руку. Рука до локтя была покрыта красной сыпью и мертвенно-белыми бугорками. Некоторые бугорки кровоточили от расчесов. На другой руке было то же самое. Что за черт, подумал он, холодея, потому что он уже знал — что это. Он уже вспомнил: изменения кожи, сыпь, волдыри, иногда — гнойные язвы... Гнойных язв пока не было, но он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать. Не может быть, подумал он. Я тоже. Неужели я тоже?.. Он осторожно погладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав дыхание, прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце, в ушах тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, не было ватной тяжести в мозгу. Дурак, подумал он, улыбаясь. Что я надеюсь заметить? Это должно быть как смерть, секунду назад ты был человеком, мелькнул квант времени — и ты уже бог, и не знаешь этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он дурак, как умный, если он действительно умен, не знает, что он умный... это, наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я заснул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я вижу ее с предельной резкостью и постиг это голой логикой, даже не заметив...

Он счастливо засмеялся, ступил на пол и, хрустнув мышцами, подошел к окну. Мой мир, подумал он, глядя сквозь залитое водой стекло, и стекло исчезло, далеко внизу утонул в дожде замерший в ужасе город и огромная мокрая страна, а потом все сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостом, и он увидел гигантскую чечевицу Галактики, косо и мертво висящую в мерцающей бездне, клочья светящейся материи, скрученные силовыми полями, и бездонные провалы там, где не было света, и он протянул руку и погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил легкое тепло, и, когда он сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как мыльная пена. Он снова засмеялся, шелкнул по носу свое отражение в стекле и нежно погладил бугорки на вспухшей коже.

— По такому поводу необходимо выпить! — сказал он вслух.

В бутылке оставалось еще немного джину, бедный старый Голем не смог допить до конца, бедный старый лжепророк... не потому лжепророк, что прорицания его неверны, а потому, что он всего-навсего говорящая марионетка.

Я всегда буду любить тебя, Голем, подумал Виктор, ты хороший человек, ты умный человек, но ты — всего лишь человек... Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его стошнило. Черт, подумал он. Какая мерзость. В зеркале он увидел свое лицо — мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими и неестественно черными глазами. Ну вот и все, подумал он, ну вот и все. Виктор Банев, пьяница и хвастун. Не пить тебе больше, и не орать песен, и не хохотать над глупостями, и не молотить веселую чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать и не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином Президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией молодых почитателей... Он вернулся на кровать. Курить не хотелось. Ничего не хотелось, от всего мутило, и стало грустно. Ощущение потери, сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение паутины, разрасталось, мрачные ряды колючей проволоки вставали между ним и тем миром, который он так любил. За все надо платить, думал он, ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить, за новую жизнь надо платить старой жизнью... Он яростно чесал руки, обдирая кожу, и не замечал этого.

Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, оправляя волосы.

— Замерзла, — сказала она. — Пускают погреться?

— Да, — сказал он, плохо понимая, что говорит. Она выключила свет, и теперь он не видел ее, только слышал ключ, повернувшийся в скважине, треск расстегиваемых кнопок, шорох одежды и как туфли упали на пол, а потом она оказалась рядом, теплая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь всему конец — вечный дождь, угрюмые дома с крышами, как решето, чужие незнакомые люди в мокрой черной одежде, с мокрыми повязками на лицах... и вот они снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами — тоска, ужас, одиночество... Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже был не прежний, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.

— Что с тобой, малыш? — ласково спросила Диана. — Перебрал?

Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно страшно.

— Подожди, — сказал он. — Подожди.

Он встал, нащупал выключатель, зажег свет и несколько секунд стоял к ней спиной, не решаясь обернуться, но все-таки обернулся. Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем обычно, она всегда была красивее, чем обычно, но это было как картина. Это возбуждало гордость за человека, восхищение человеческим совершенством, но больше это ничего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, а потом, видимо, испугалась, потому что вдруг быстро села, и он увидел, что губы ее шевелятся. Она что-то говорила, но он не слышал.

— Подожди, — повторил он. — Не может быть. Подожди.

Он одевался с лихорадочной поспешностью и все твердил: подожди, подожди, но он уже думал не о ней, дело было не только в ней. Он выскочил в коридор, ткнулся в номер Голема, в запертую дверь, не сразу сообразил, куда теперь, а затем сорвался и побежал вниз, в ресторан. Не надо, твердил он, не надо мне этого, я не просил.

Слава богу. Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руку за спинку кресла, и рассматривал на просвет рюмку с коньяком. А доктор Р. Квадрига был красен, агрессивен и, увидевши Виктора, сказал на весь зал:

— Это мокрецы. Стервы. Прочь.

Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил ему коньяку.

— Голем, — сказал Виктор. — Ах, Голем, я заразился!

— Спринцевание! — провозгласил Р. Квадрига. — Мне тоже.

— Выпейте коньячку, Виктор, — сказал Голем. — Не надо так волноваться.

— Идите к черту, — сказал Виктор, в ужасе глядя на него. — У меня очковая болезнь. Что делать?

— Хорошо, хорошо, — сказал Голем. — Вы все-таки выпейте. — Он поднял палец и крикнул официанту: — Содовой! И еще коньяку.

— Голем, — сказал Виктор с отчаянием, — вы не понимаете. Я не могу. Я заболел, говорю я вам! Заразился! Это нечестно... Я не хотел... Вы же говорили — не заразно...

Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвяз-

но, что Голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Голему под нос свои руки. Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и упала на пол.

Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился вперед, взял руки Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать расчесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодные и твердые. Ну вот и все, думал Виктор, вот и первый врачебный осмотр, а потом будут еще осмотры, и лживые обещания, что есть еще надежда, и успокоительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких осмотров, и его отвезут в лепрозорий, замотают рот черной тряпкой, и все будет кончено.

— Землянику ели? — спросил Голем.

— Да, — покорно сказал Виктор. — Клубнику.

— Слопали небось килограмма два, — сказал Голем.

— При чем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки. — Сделайте что-нибудь! Не может быть, чтобы было поздно. Только что началось...

— Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противопоказано жрать клубнику в таких количествах.

Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал:

— Вы же сами говорили... волдыри... сыпь...

— Волдыри и от клопов бывают, — сказал Голем наставительно. — У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по разуму. Как у большинства писателей. Тоже туда же — мокрец...

Виктор почувствовал, что оживает. Обошлось, стучало у него в голове. Обошлось, кажется. Если обошлось, я не знаю что сделаю. Курить брошу...

— А вы не врете? — сказал он жалким голосом.

Голем ухмыльнулся.

— Выпейте коньяку, — предложил он. — При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте. А то у вас уж очень жалкий вид.

Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего! Подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмелья. Сейчас пройдет. И все прошло.

— Милый писатель, — сказал Голем, — чтобы стать архитектором, одних волдырей недостаточно.

Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор глубоко и вольно вздохнул, вдохнул знакомый ресторанный дух и ощутил прекрасные запахи табачного

дыма, маринованного лука, подгоревшего масла и жареного мяса. Жизнь вернулась.

— Дружище, — сказал он официанту. — Бутылку джина, лимонный сок и четыре порции миног в двести шестнадцать. И быстро!.. Алкоголики, — сказал он Голему и Р. Квадриге. — Пропадите вы тут пропадом, а я пойду к Диане! — Он готов был расцеловать их.

Голем сказал, ни к кому не обращаясь:

— Бедный прекрасный утенок!

На секунду Виктор ощутил сожаление. Всплыло и исчезло воспоминание о каких-то огромных упущенных возможностях. Но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.

9. Феликс Сорокин.

«...Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?»

И опять приснился мне сон, исполненный бессилия и безнадёжности, будто с пушечным громом распахнулись вдруг все окна и двери и тугим сквозняком вынесло из Синей Папки все, что я написал, в озаренное кровавым заревом пространство над шестнадцатизэтажной пропастью, и закружились, замелькали, закувыркались разносимые ветром странички, и ничего не осталось в Синей Папке, но еще можно было сбежать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь, да вот только ноги словно вросли в пол, и глубоко в тело вошли удерживающие меня над лоджией крючья. «Катя!» — закричал я, и заплакал в отчаянии, и проснулся, и оказалось, что глаза у меня сухие, ноги свело, и невыносимо болит бок.

Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я все-таки очень нездоров, и придется мне внять все-таки убеждениям Катки и лечь на обследование... и сразу все затормозится, все остановится, и надолго закроется моя Синяя Папка...

И еще я подумал, что хорошо бы распечатать ее в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты... хотя, с другой стороны, она тоже не девочка, что-то у нее нехорошее то ли с почками, то ли с печенью... Совершенно непонятно, просто представить себе нельзя, как, где, у кого

можно поместить рукопись на хранение — чтобы и хранили, и не совали бы в нее нос...

Потому что вполне возможно, что нынешний мой сон — пророческий: ничего мне не успеть закончить, и разметает мою Синюю Папку тугой сквозняк по канавам и помойкам. И листочка не останется, чтобы засунуть его в машину на предмет определения НКЧТ...

И вот когда я вспомнил об НКЧТ (просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости), вот тогда словно сама собой проявилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула: не ценность произведения они там определяют, а предсказывают они там судьбу произведения!

Так вот что он хотел мне все время втолковать, невеселый мой вчерашний знакомец! Наивероятнейшее Количество Читателей Текста — сюда же все входит! И тиражи сюда входят, и качество, и популярность, и талант писателя, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдет, прочтут ее разве что жена, близкие друзья да хорошо знакомый редактор, на котором все и кончится: «Ты же понимаешь, старик... Ты, старик, пойми меня правильно...»

Уменьшая машина, хитренькая! А я, дурак, потащил к ним свои рецензии, мусор им свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативши колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное он мое имел в виду, подлинное. Чтобы твердо понял я, на каком я свете и надо ли мне дальше горячиться или же, подобно многим до меня, стоит бросить работать и начать вместо этого хорошо зарабатывать...

И холодно мне стало от этих мыслей, кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдрут захотелось закурить.

Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось? Конечно, знать будущее — вековая мечта человечества, вроде ковра-самолета и сапога-скорохода. Царикороли-императоры большие деньги за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном неперемennom условии: чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее — кому его нужно знать? Вот прихожу я на Банную с Синей Папкой, и говорит мне машина человеческим голосом: «А дела твои, Феликс Александрович, дерьмо. Три читателя у тебя будут, и утрись». Я отбросил одеяло и стал нашаривать ногами тапоч-

ки. А ведь и не идти на Банную теперь тоже нельзя! Должен же я знать... Зачем? Зачем это мне знать, что вся работа моя, жизнь моя, по сути дела, коту под хвост? Но с другой стороны, почему уж так обязательно коту под хвост? А если и так, то что это означает — коту под хвост? Не сам ли я мечтаю отдать на хранение Синюю Папку так, чтобы не залез в нее потный любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? Впрочем, потный любопытный нос — это все-таки нечто иное. Брыжейкин — Гагашкиным, а читатель — читателем. Все же я, черт возьми, не онанизмом занимаюсь — я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что Синюю Папку при моей жизни не напечатают. Обычное дело, не я первый, не я и последний. Но мысль о том, что она просто сгинет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа... Нет, к этому я не готов. Глупо, согласен. Но не готов. Потому и страшно!

Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Было всего половина седьмого, но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня прямо-таки трясло от нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить.

Это ж надо же, до чего нас убедили, будто рукописи не горят! Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим пламенем! Гадать страшно, сколько их, наверное, сгнуло, не объявившись... Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая... Ах, не зря обиняками вчера говорил мой невеселый знакомец, мог бы ведь и прямо сказать, что к чему, но рассудил, что ежели не догадаюсь я сам, то бог убогому простит, а уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда: приду, и принесу, и узнаю...

И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом, и Синяя Папка распахнута передо мною, и пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево, отглаживают, выравнивают объемистую стопочку, и ужасно горько мне стало, что вчера поздно вечером дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, сейчас вот, в минуту неуверенности, в минуту паники, когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было бы в эту минуту прочитывать последнюю, еще неведомую мне, ненаписанную строчку и под нею слово «КОНЕЦ». Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душой: «Все это, государи мои, философия, а вот

полюбуйтесь-ка на это!» — и покачал бы Синюю Папку на растопыренной пятерне.

И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот желанный момент, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал:

«Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурочек в ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос».

Я снял руки с клавиш и почесал подбородок. Обычное дело: когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме, вдохновением, все застопоривается.

В следующие полчаса я только вставил от руки слово «мокрую» и добавил после «черным-черно»: «и в черноте сверкал дождь». Нет, серьезную работу делают не так. Серьезную работу делают, например, в Мурашах, в Доме творчества. Предварительно надо собраться с духом, полностью отрешиться от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению. Ты должен твердо знать, что путевка на полный срок оплачена и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены. И никакого вдохновения! Только ежедневный рабский механический до изнеможения труд. Как машина. Как лошадь. Пять страниц до обеда, две страницы перед ужином. Или четыре страницы до обеда и тогда уже три страницы перед ужином. Никаких коньяков. Никакого трепача. Никаких свиданий. Никаких заседаний. Никаких телефонных звонков. Никаких скандалов и юбилеев. Семь страниц в день, а после ужина можешь посидеть в бильярдной, вяло переговариваясь со знакомыми и полужнакомыми братьями-литераторами. И если ты будешь тверд, если ты не будешь, упаси бог, жалеть себя и восклицать: «Имею же я, черт подери, право хоть раз в неделю...», то ты вернешься через двадцать шесть суток домой как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягдташем...

А ведь я еще даже не придумал, что же у меня будет в моем ягдташе!..

Ровно в восемь тридцать раздался телефонный звонок, но это не был Леня Шибзд. Непонятно, кто это был. Трубка дышала, трубка внимательно слушала мои раздраженные «Алло, кто говорит? Нажмите кнопку!..». А потом пошли короткие гудки.

Я бросил трубку, с отвращением выдернул из машинки початый лист, всунул его в папку под самый низ и закрыл

машинку. Светало, на дворе опять разыгралась пурга, снова ощутил я острую боль в боку и прилег. Все-таки я холерик. Ведь вот только что трясся от возбуждения, и казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя Синяя Папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка, и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя.

Бок болел, и небывалая слабость навалилась на меня, и жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть...

Она жила в квартире № 19, занимала там крошечную комнатушку бог знает на каких правах, училась на первом курсе Политехнического, и было ей около девятнадцати. И звали ее Катя, а фамилии ее Ф. Сорокин не знал и никогда не узнает. Во всяком случае, в этой жизни.

Ф. Сорокину исполнилось тогда пятнадцать, он перешел в девятый класс и был пареньком рослым и красивым, хотя уши у него были изрядно оттопырены. На уроках физкультуры он стоял в шеренге третьим после Володи Правдюка (убит в сорок третьем) и Володи Цингера (ныне большой чин в авиационной промышленности). Катя, когда он познакомился с нею, была одного с ним роста, а когда разлучила их разлучительница всех союзов, Катя была уже на полголовы ниже его.

Ф. Сорокин несколько раз встречал ее еще до знакомства — либо на лестнице, либо у Анастасии Андреевны, но ничего мужского и личного она в нем тогда не возбуждала. Он был тогда согляком и фофаном, этот рослый и красивый парень Ф. Сорокин. Дистанция между студенткой и школьником представлялась невероятной, тягостное и безрезультатное перешушывание с Люсей Неверовской (ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка) воздвигало непреодолимую баррикаду между его вожделениями и всеми остальными грудями и ляжками в мире, и вообще для уместного опорожнения семенников предполагалось обязательным сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини (о Тодзе не знал еще тогда Ф. Сорокин) и положить их головы к туфелькам.

Наверное, в психиатрии нашлось бы объяснение тому, что маленькая студентка Катя положила глаз на школьника. Обыкновенно пятнадцатилетние половозрелые мальчишки привлекают главным образом дам в возрасте, а впрочем, что

я понимаю в психиатрии? Но осмелится ли кто-нибудь утверждать, что роман Кати и Ф. Сорокина уникален? Ф. Сорокин не осмеливается. (Впрочем, он — лицо предубежденное.) Уже потом, два или три месяца спустя, Катя просто и спокойно рассказала Ф. Сорокину, что влюбилась в него с первого взгляда при первой же случайной встрече то ли на лестнице, то ли в подъезде. Может быть, она говорила неправду, но Ф. Сорокину было лестно.

Однако тут, возможно, имсет значение такое обстоятельство. Года за полтора до их знакомства с Катей произошла неприятность. Она училась тогда в десятом классе в одном из небольших городков под Ленинградом (Колпино? Павловск? Тосно?). Однажды она была дежурной и осталась после уроков прибирать класс. Тут вошли несколько ее одноклассников, схватили ее, обмотали голову пиджаками и повалили в проходе между партами. Ничего у них не получилось — может быть, от страха, может быть, по неопытности. Они только испачкали ей живот и ноги обильной дрянью и разбежались. Катя осталась девицей. Физически. А как насчет психологии?

Правда, надо сказать, что Ф. Сорокина она полюбила уже женщиной. С кем у нее это произошло в первый раз, она не сказала, а ему вопрос об этом никогда не приходил в голову.

В один жаркий день в начале сентября Ф. Сорокин вернулся из школы и зашел за ключом в квартиру № 19 к Анастасии Андреевне. Анастасии Андреевны он не застал, а нашел записку, что ключ оставлен у соседки, у Кати. В полутемном коридоре, загроможденном всяким хламом, он нашел Катину дверь и постучал. И дверь в ту же секунду распахнулась. И он увидел ее. И испытал потрясение.

В конце концов, цель оправдывает средства. А в любви, говорят, все средства хороши. Конечно, она его ждала и приготовилась. Да он-то совершенно не был готов. Потом он понял, что еще немного (немного чего?), и он либо бросился бы бежать сломя голову, либо свалился бы в обмороке.

Я поднялся кряхтя и постанывая, полез под диван и из самого дальнего темного угла достал окурки, о котором помнил весь этот год. Я пошел с ним на кухню и закурил, стоя у окна, и мельком удивился, что табачный дым не оказывает на меня никакого действия, словно не дым я вдыхал, а теплый пахучий воздух.

Катя была тощенькая, узкоплечая и узкобедрая, с круглыми торчащими грудями. На ней был мешковатый серый халат приютского типа, она молча взяла Ф. Сорокина за руку и ввела в свою комнатушку, потом вернулась к двери и тихонько, но плотно затворила ее и шелкнула задвижкой, а потом повернулась к Ф. Сорокину и стала глядеть на него, опустив руки. Халат на ней был распахнут, а под халатом у нее была голая кожа, но Ф. Сорокин увидел сначала, что она красная ото лба до груди, и потом уже все остальное. Ну и зрелище для половозрелого сопляка, который до того видел голых женщин только на репродукциях Рубенса! Впрочем, еще на порнографических карточках, их ему показывал Борька Кутузов (разорван на куски снарядом в августе сорок первого года).

Они встречались если и не каждый день, то все же достаточно регулярно. Точно в назначенный день и в условленный час, минута в минуту, Ф. Сорокин бесшумными скачками поднимался к дверям квартиры № 19. Обычно это было днем, часа в три или четыре, сразу после возвращения из школы. Конечно, он не звонил и не стучал. Дверь открывалась. Катя в своем приютском халатике на голое тело хватала его за руку, вводила в свою комнатушку, и они запирались там и насыщались друг другом жадно и торопливо, и минут через двадцать Ф. Сорокин, бесшумный и осторожный, как индеец на военной тропе, вышмыгивал в полутемный коридор, привычно нащупывал барабанчик французского замка и оказывался на лестничной площадке. Говорили они немного и только шепотом, и за всю однообразную, но невероятно насыщенную историю этой любви им ни разу не привелось побыть друг с другом более получаса подряд...

А история была действительно невероятно насыщенной — для Ф. Сорокина несомненно, однако, наверное, и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры № 19, Ф. Сорокин уже начинал тосковать. Через день-другой тоска сменялась напряженным нетерпением. Наступало назначенное время, и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится (бывали такие случаи). И вот встреча, а затем снова тоска, нетерпенье, радость и страх и снова встреча. И так неделя за неделей, осень, зима, весна и, наконец, проклятое лето сорок первого. И ни разу Ф. Сорокин не ощутил усталости от Кати, ни разу не захотелось ему перед встречей, чтобы встречи этой не было. По всей видимости, то же самое было и с нею.

Интересно, что именно в это время, в девятом классе, Ф.

Сорокин вел успешное наступление на высшую математику и сферическую тригонометрию, на пару с Сашей Ароновым (умер от голода в январе сорок второго года) вовсю мастерил астрономические трубы, вкалывал в мастерских Дома занимательной науки и играючи управлялся со школьной премудростью. И продолжался его платонический роман с Люсей Неверовской, а после встречи Нового года начался вдобавок и флирт с Ниной Халяевой (пропала без вести в эвакуации), и было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Ф. Сорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях и ни разу, ни при каких обстоятельствах, нигде и никому ни словом, ни намеком не обмолвился о Кате.

Вряд ли их связывала просто половая страсть, хотя бы и самая что ни на есть неистовая: такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли было это и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того, и от другого, была там, вероятно, мальчишеская гордость обладания настоящей женщиной и благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается, а еще было, наверное, предчувствие.

В последний раз они встретились в конце мая, в начале экзаменов.

В десятых числах июля Ф. Сорокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисеппом, возмужалый, уже убивший первого своего человека, врага, фашиста, и очень этим гордый. Окольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на сооружение противотанковых рвов куда-то в Гатчину (или в Псков?).

В конце июля в домоуправление сообщили, что Катя убита при бомбежке.

Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я всегда запрещаю себе вспоминать это? Имя — да. Катя. Катя. Но только имя. Потому, наверное, что я больше никогда не любил. Было у Ф. Сорокина с тех пор множество баб, две или три женщины и не было ни одной любви.

Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита, наконец, и вовремя.

Она только что вернулась из своей Тьмутаракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый, и это было прекрасно, и мне захотелось немедленно с нею

увидеться. Я спросил, как она сегодня, и она ответила, что сейчас она у себя в конторе проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в Клубе в пятнадцать ноль-ноль и сольемся там в гастрономическом экстазе. Для начала, сказал я деловито. Там видно будет, ответила она еще более деловито.

Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачность и обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. Вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад. И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры и недомолвки, обретшие вдруг плоть и кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вся эта темная безнадега, обступившая меня зловещим частоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то назад и в стороны, а передо мною все стало изумрудно-зеленым, серебристо-солнечным, туманно-голубым, с лихо мерцающей надписью поперек: «Перебьемся!» И бок мой теперь почти уже совсем не болел...

Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!

Прежде всего я отправился в ванную и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намек на щетину. Затем я прошелся влажной тряпкой по всем столам и шкафам. Рита не выносит пыли на полированных поверхностях. Я переменял постельное белье. Мы с Ритой признаем только свежие, хрустящие, накрахмаленные простыни. Я тщательно перетер бокалы и рюмки, придирчиво изучая стекло на просвет, я начистил «скайдрой» ножи, вилки и чайные ложки, взял себя в руки и вымыл ванну и унитаз. И уже под занавес я выкатил пылесос и пропылесосил пол везде, где он был.

Пока я всем этим занимался, дважды звонил телефон. Один раз это был Леня Шибзд, которому я после его стандартно-приветственного вопроса «как дела» не дал и рта раскрыть, а второй раз опять молча подышал в трубку тот стеснительный, и я под веселую руку поведал ему, что предложение помощи я ценю, но помощь мне не требуется, ибо

все свои дела здесь я уже довел до конца и в ближайшее время уйду с этой планеты и из этого времени навсегда.

Не знаю уж, что об этом подумал стеснительный, но звонков телефонных больше не было.

Я облачился в лучший свой костюм и вышел из дому без четверти два — с таким расчетом, чтобы успеть зайти в приемную комиссию и забрать причитающуюся мне порцию чтива. Господи, спаси меня и помилуй! Лифт не работал. То есть совсем не работал, ни большая кабина, ни малая.

И тотчас воображение мое нарисовало мне гомерическую картину, как мы с Ритой после хорошего обеда и хорошей прогулки по заснеженной Москве взбираемся пешочком на шестнадцатый этаж, как сердце у меня в груди колотится бешено и неровно, и я на каждой лестничной площадке присаживаюсь на специально для таких случаев предусмотренные скамеечки, украдкой сую в пасть нитроглицерин, а Рита, красивая женщина, дама сердца, любовница, последняя женщина моя, деликатно болтает о пустяках, унизительно-сочувственно поглядывая на меня сверху вниз, и время от времени приговаривает: «Да не спеши ты, куда нам спешить?»...

Я отогнал позорное видение и пошел спускаться пешком. И кого же я повстречал на площадке между восьмым и седьмым этажом? Кто стремительно поднимался мне навстречу, шагая через две ступеньки разом и лишь слегка придерживаясь левою рукой за перила? Кто он, румяный, насвистывающий из Гершвина, державший в правой руке тяжелую сумку с продуктами, с продуктовым заказом, судя по некоторым признакам?

Ну, разумеется, он! Костя Кудинов, поэт, тот самый до зелени бледный и облеваный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Бирюлевскую больницу!

— Старик! — заорал он жизнерадостно, едва опознав меня. — Хорошо, что мы встретились! Ты не спешишь? Имей в виду, я включил тебя в нашу бригаду. Поедем на БАМ. Двадцать дней, пятнадцать выступлений, спецрейс самолетом туда и обратно... Как это тебе, а?

Поистине сегодня был удачный день. Это может показаться странным, но я, пожилой, замкнутый, в общем-то избегающий новых знакомств человек, консерватор и сидун, — я люблю публичные выступления.

Мне нравится стоять перед набитым залом, видеть разом тысячу физиономий, объединенных выражением интереса,

интереса жадного, интереса скептического, интереса насмешливого, интереса изумленного, но всегда интереса. Мне нравится шокировать их нашими цеховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционно-издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии по поводу таких засаленных стереотипов, как вдохновенье, озаренье, божьи искры.

Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков — тонко, чтобы никакая сука, буде она окажется в зале, не могла бы придрататься; нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать, по общему мнению, полагается...

А потом, когда выступление уже позади, нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, надписывать зачитанные до дряхлости книжки «Современных сказок» и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко, до ожесточения спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, вежливо пропускается мимо ушей...

Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах, административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору.

И я, конечно, дал Косте согласие, выяснил у него, когда отлет, кто еще включен в бригаду и где нас будут инструктировать, и уже протянул ему руку для прощания, но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, хитро прищурился и как-то кокетливо пропел:

— А ты у нас рискованный мужик, Феликс Александрович! Ловко у тебя это получилось! Но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовремение, а?

Он кокетливо шурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю. Но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим... как он там... с эликсиром этим чертовым, который я же сам и выдумал себе на голову... Ничего не кончилось, что с того, что я начисто забыл про соглядатая в клетчатом пальто-перевертыше, они-то про меня не забыли, дело продолжается, и вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то,

рискнул, дурень, и теперь мне это могут припомнить! И конечно же, припомнят, обязательно припомнят!..

Иезус, Мария и Иосиф! Провалиться бы этому Косте Кудинову, откуда нет возврата! С его таинственными манерами, намеками и полунамеками! Уже через минуту подмигиваний, прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом.

В начале декабря знакомый мой редактор из «Московского плейбоя» дал мне отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так: «Врежь ты ему по соплям и ничего не бойсь, рецензия внутренняя, а главный наш от этого Бабахина уже в предынфаркте». Повесть действительно была чудовищная, и я врезал. По соплям. С наслаждением. А под самый Новый год Бабахина с громом и лязгом из председателей поперли. Не за то, конечно, что пишет он повести, способные довести до инфаркта даже такого закаленного человека, как главный «Московского плейбоя». Нет, поперли его за то, что он «ел хлеб беззакония и пил вино хищения». И вот теперь этот идиот, поэт Костя Кудинов, вообразил себе, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахина аж в начале декабря, когда все еще могло повернуться и так, и этак...

И более того. Этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим, ибо полагал — не без оснований, впрочем, — что Бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда ничего не забывают.

Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Но я был так благодарен Косте за то, что он, по всей видимости, забыл о моих приключениях с эликсиром жизни, и я только снисходительно похлопал его по плечу и дал ему понять, что все это комариная плешь и что при моих связях никакие Бабахины мне не страшны. Оставив его размышлять, какие выгоды он сможет теперь извлечь из доброго знакомства с таким значительным лицом, я неспешно и в каком-то смысле даже величественно двинулся вниз по лестнице.

И все-таки не обошлось без клетчатого пальто, все-таки оно напомнило о себе, хотя и несколько неожиданным образом.

Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение двадцатого века — красно-желтый фургон спецмедслужбы. Задние

дверцы его были распахнуты настежь, и двое милиционеров ввергали в его недра клетчатое пальто-перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а может быть, и не отбрыкивалось, а тщилося отыскать под собой опору. Лица я не видел. Я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправа от очков, ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами, третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключение, и спросить не у кого, что здесь произошло, потому что миновали времена, когда такого рода инциденты собирали зрителей. И я пошел своей дорогой.

Я вступил в Клуб, как и предполагал, в три без четверти. У входа дежурила на этот раз не подслеповатая Марья Трофимовна, а молодая еще пенсионерка, которая и работает у нас без году неделю, а уже всех знает, во всяком случае меня. Мы раскланялись, я предупредил ее, что жду даму, разделся и побрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филипповна, черноглазая и белолицая, как всегда очень занятая и очень озабоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучами лежали сочинения претендентов. Подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уймищу!

— Я вам отобрала, Феликс Александрович, — произнесла Зинаида Филипповна, рассеянно мне улыбаясь. — Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете? Вон крайняя стопка, Халабуев некто. Я вам уже записала.

Жалок и тосклив был вид стопки, воплотившей в себе дух и мысль неведомого мне Халабуева. Три тощеньких номера «Прапорщика» с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая, тощенькая же книжечка Северо-Сибирского издательства, повесть под названием «Стережем небо!».

И кто же это тебя, Халабуев, рекомендовал, подумал я. Кто же это опрометчивый отдал тебя нам на съеденье с твоими тремя рассказиками и одной повестушечкой? Да и не повестушка это даже, а так, слегка беллетризованный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Халабуев, на один зуб будешь нашим лейб-гвардейцам, если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но если даже ты и заручился, Халабуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории куртуазной литературы Франции восемнадцатого века! Но уж если, Халабуев, исхитрился ты и

у них благорасположения снискать, тогда честь тебе, Халабуев, и хвала, тогда далеко ты у нас пойдешь, и очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога, выклянчивая право на аренду дачи в Подмоскowie...

Со вздохом взял я Халабуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан.

И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, но удобный столик свободный оказался только один, и когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитейший наш юморист и автор множества скетчей, при галстукe бабочкой и при газете «Морнинг стар», которую он читал с неприступным видом над чашечкой кофе.

А за столиком слева щебетали, непрерывно жуя, две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные, — то ли дописы, то ли жописы, по классификации Жоры Наумова.

А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлонович Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых (а может, даже и правнучатых) родственниц обедом с шампанским. Он заметил меня, и мы раскланялись.

Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны, огромные черные глаза — сплошной зрачок без радужки, распушенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих. И старомодный, начала века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого, хрестоматийного прошлого; невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые певали, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта...

Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Халабуева, а другим — на дверь в холл, откуда пора было уже появиться Рите, а Аполлон Аполлонович, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштексом, и поминутно элегантными

щелчками загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой устный мемуар.

Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеянно отмечало мое привычное ухо. Вот Владимир Владимыч и странные его отношения с Осей. Вот Борис Леонидыч промелькнул, сказал что-то забавное и сменился тут же Александром Александрычем, совсем уже больным, за день до кончины. А вот и Алексей Николаевич, и конечно же: «Их сиятельство уехали в Цека...» Самуил Яковлевич... Корней Иванович... Веня появился у Алексея Максимовича, совсем молодой и очень заносчивый... а Исаак Эммануилович вступил на последнюю свою короткую дорогу. «А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя, все писатели врасыпную за кусты и в лес, а сестры со шприцами наготове — за ними, и только Миша грустно так стоит у больничного окна и говорит, бывало: «Побежали в лес по ягодицы...» Константин Сергеевич... «Ох, заберут вас когда-нибудь в ГУМ, Владимир Иванович...» Александр Сергеевич... (тут я вздрогнул). Виссарион Григорьевич с сыном своим Иосифом...

Я посмотрел на Аполлона Аполлоновича. Он был неиссякаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые. И тут Аполлон Аполлонович сказал весело:

— А вот и Михаил Афанасьевич собственной персоною. Комман сава, Мишель?

Я взглянул.

В одну зимнюю ночь сорок первого года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной. Меня подняло в воздух, плавно перенесло через пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий сугроб, и я лицом к черному небу лежал и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мной горящие бревна.

И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холла наискосок через ресторан идет Михаил Афанасьевич, мой невеселый вчерашний знакомец, только без синего лабораторного халата, а в остальном в точности такой же, и даже в том же самом сером костюме. Я видел, как шевельнулись его губы, он что-то ответил Аполлону

Аполлоновичу, а меня не заметил или не узнал и прошел мимо, к выходу, в вестибюль старой княгини. И когда он скрылся за дверью, в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлоновича произнес то ли торжественно, то ли доверительно:

— В библиотеку пошел. Или в партком.

А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были у меня к нему вопросы? Да. Были. Конечно. Хотел ли я спросить у него совета? Безусловно. Разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давеча понял, и если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать. Уже только ради этого стоило бежать за ним, но не это было главное.

Я осознал вдруг, кто он, мой невеселый знакомец с Банной, какой он такой Михаил Афанасьевич. Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершением моей бездарно-фантастасмагорической недели, на протяжении которой тот, коему надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел осуществить, и все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения. И теперь вот — последняя возможность. Самая, может быть, невероятная. И пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я и ее сейчас упущу, пожертвую ею ради солянки с маслинами или даже ради душистой моей Риты, тогда ничего у меня не останется и незачем мне будет более раскрывать мою Синюю Папку. Как во сне услышал я брюзгливое барственное бляение:

— Или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу...

И как во сне, повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо с брюзгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшееся от меня за согбенной спиной официанта.

И тут, уже совершенно наяву, увидел я в дверях холла остановившуюся Риту в любимом моем песочного цвета костюме, и глаз уколот мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову, отыскивая меня в зале, но я трусливо спрятал глаза и, слегка согнувшись, торопли-

во побежал по ковровой дорожке прочь, туда, к той двери, за которой скрылся Михаил Афанасьевич. Горестно промелькнула в голове моей мысль, что вот опять я совершаю поступок, за который придется извиняться и оправдываться, но я отогнал эту мысль, потому что все это будет потом, а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное.

В парткоме Михаила Афанасьевича не оказалось. Таточка там грохотала на своей машинке, а рядом с нею, развалившись в кресле и освободив от пиджака округлое литое брюшко, восседал красноносый и краснотубый и вообще румяный сатир и с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке:

— ...и с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре...

— И в животноводстве! — проорал я, чтобы остановить его.

Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил Таточку:

— Михаил Афанасьевич сейчас не заходил?

— Нет, — отозвалась она, не переставая грохотать. — Его сегодня не будет. — И требовательно обратилась к сатиру: — ...в архитектуре и в животноводстве... Дальше!

Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер «Ежеквартального надзирателя». Тот самый. С повестью Вали Демченко, искромсанной, изрезанной, трижды ампутированной, но все-таки живой, непобедимой, вызывающе живой.

Я приблизился и остановился, не зная, что сказать и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мною, я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся.

— А! Феликс Александрович, — произнес он своим тихим ровным голосом. — Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул.

— Это из Чапека? — спросил я, послушно усаживаясь.

— Нет, это из Гашека. Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?

— Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу...

— Более того. Литературу я очень люблю. Хорошую литературу.

— А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину?

— Помилуйте, Феликс Александрович! Мне это как-то даже и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало бы называть макулатурой.

— Вот-вот! — подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии. — «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»

Он закрыл журнал, заложивши его, однако, пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него, и поражался сходству с портретом в коричневом тонике, и поражался, что за три месяца никто из наших пустобрехов не узнал его, и сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на Банной.

— Феликс Александрович, — сказал он наконец. — Я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь за кого...

— Позвольте, позвольте! — вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня. — Ведь не станете же вы отрицать...

— Именно стану! — произнес он, наклоняясь ко мне. — Меня действительно зовут Михаил Афанасьевич, и говорят, что я действительно похож, но посудите сами: как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы ОН ни утверждал обратное.

Я чувствовал, что пот заливает мне лицо. Я торопливо вытащил платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело, видимо, давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя как во сне.

— Однако давайте наконец приступим к вашему делу, — продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой. — Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени.

Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза.

— Догадавшись, вы оказались перед вопросом: стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу Синюю Папку.

Я снова кивнул.

— Давайте теперь попробуем разобраться, чего же вы, Феликс Александрович, боитесь и на что надеетесь. Вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкой цифрой, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением и исключительно чтобы отделаться... а то и ради денег. А надеетесь вы, Феликс Александрович, что случится чудо, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом, словно и впрямь вы заявляете миру некий Новый Апокалипсис, который сам собой прорвется к читателю сквозь все и всяческие препоны... Однако же вы прекрасно знаете, Феликс Александрович, что чудеса в нашем мире случаются только поганые, так что надеяться вам, в сущности, не на что. Что же до ваших опасений, то не сами ли вы сознательно обрекли свою папку на погребение в недрах письменного своего стола — изначально обрекли, Феликс Александрович, похоронили, еще не родив окончательно? Вы следите за ходом моих рассуждений?

Я кивнул.

— Вы понимаете, что я только облек в словесную форму ваши собственные мысли?

Я снова кивнул и сказал сильным голосом, мимолетно поразившим меня самого:

— Вы упустили еще третью возможность...

— Нет, Феликс Александрович! Не упустил! О вашей детской угрозе огнем я догадываюсь. Так вот, чтобы наказать вас за нее, я расскажу вам сейчас о четвертой возможности, такой стыдной и недостойной, что вы даже не осмеливаетесь пустить ее в свое сознание, ужас перед нею сидит у вас где-то там, на задворках, ужас сморщенный, голенький, вонючий... Рассказать?

Предчувствие этого сидящего на задворках сморщенного ужаса резануло меня, как сердечный спазм, и я даже задохнулся, но я уверен был, что ничего он не может сказать такого, о чем я сам уже не передумал, чем не перемучился тридцать три раза. Я стиснул зубы и процедил сквозь платок, прижатый ко рту:

— Любопытно было бы узнать...

И он рассказал.

Честью своей клянусь, жизнью дочери моей Катьки, жизнью внуков: не знал я заранее и представить себе не мог, что он мне расскажет обо мне самом. И это было особенно

унизительно и срамно, потому что четвертая моя возможность была такой очевидной, такой пошлой, такой лежащей на поверхности... любой нормальный человек назвал бы ее первой... для Ойла Союзного она вообще единственная, и других он не ведаёт... Только такие, как я, занесшиеся без всякой видимой причины, надутые спесью до того, что уже и надутости этой не ощущают, неведь что вообразившие о себе, о писанине своей и о мире, который собою осчастливливают, только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают...

Ну как, в самом деле, я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа «Товарищи офицеры», как я мог представить себе, что проклятая машина на Банной может выбросить на свои экраны не семизначное признание моих, Сорокина, заслуг перед мировой культурой и не гордую одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое лоно содержимое Синеи Папки, а может выбросить машина на свои экраны крепенькие и кругленькие 90 тыс., означающие, что Синюю Папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план и выскочила она из печатных машин, чтобы осесть на полках районных библиотек рядом с прочей макулатурой, не оставив по себе ни следов, ни памяти, похороненная не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уцененного картона.

— ...Простите меня, — закончил он с сочувствием в голосе. — Но я не мог оставить в стороне эту возможность, даже если бы не хотел слегка наказать вас.

Я молча кивнул. В который раз. Воистину: демон неба сломал мне рога гордыни.

— Что же касается вашей угрозы сжечь Синюю Папку и забыть о ней, — продолжал Михаил Афанасьевич, — то я, признаться, назвал ее, угрозу, детской лишь в некоторой запальчивости. На самом деле угроза эта кажется мне серьезной, и весьма серьезной. Но, Феликс Александрович! Вся многотысячелетняя история литературы не знает случая, когда автор сжег бы своими руками свое ЛЮБИМОЕ детище. Да, жгли. Но жгли лишь то, что вызывало отвращение, и раздражение, и стыд у них самих... А ведь вы, Феликс Александрович, свою Синюю Папку любите, вы живете в ней, вы живете для нее... Ну как вы позволите себе сжечь такое только потому, что не знаете его будущего?

Он был прав, конечно. Все это была кислая болтовня —

насчет сжигания, забвения... Да и как бы я ее стал жечь — при паровом-то отоплении. Я нервно хихикнул: может быть, потому и печатается у нас столько барахла, что исчезли по городам печки?

Михаил Афанасьевич тоже засмеялся, но тут же стал серьезным.

— Поймите меня правильно, Феликс Александрович, — сказал он. — Вот вы пришли ко мне за советом и за сочувствием. Ко мне, к единственному, как вам кажется, человеку, который может дать вам совет и выразить искреннее сочувствие. И того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть, ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой только лишь потного и нездорово покрасневшего человека с вялым ртом и с коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы.

Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня интересует, — это ваша Синяя Папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете, какой ценой — я не литературовед и не биограф ваш, это, право же, мне не интересно. Разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но есть исключения: не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света.

И наступила тишина. Словно бы я оглох. И в этой глухой тишине беззвучно вошла библиотечарша в сопровождении двух каких-то старух, и они, беззвучно переговариваясь, подошли к шкафу, беззвучно раскрыли его и принялись беззвучно выкладывать на стол и листать какие-то пропыленные подшивки. И вот что странно: они словно бы не видели нас, ни разу не взглянули в нашу сторону, словно бы нас здесь не было. И в этой тишине вдруг зазвучал глуховатый приятный голос Михаила Афанасьевича. Он не говорил и не рассказывал, а именно читал вслух из невидимой книги.

Город смотрел на них пустыми окнами — покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, словно он много лет гнил на дне моря, и вот наконец его выгнали на поверхность, на пошмище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать. Таяли и испарялись крыши, жечь и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. Мягко подламываясь, иставали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало...

Михаил Афанасьевич замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Но я уже понял, откуда он это читал и почему это кажется мне таким знакомым. Это был еще не самый конец, не последние строчки, но теперь я видел эту последнюю картинку, и я уже знал свою последнюю строчку, после которой не будет больше ничего, кроме слова «конец» и, может быть, даты.

Весь ресторан Клуба видел, как известный писатель военно-патриотической темы Феликс Сорокин, рослый, несколько грузный, сереброголовый красавец с пышными черными усами, блестя лауреатским значком на лацкане пиджака, свободно пройдя меж столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту Мише, произнес отчетливо:

— Мяса! Любого! Но только не псины. Хватит с меня псины, Миша!

Половина зала пропустила эти странные слова мимо ушей, другая половина сочла их за неудачную шутку, а Аполлон Аполлонович, покачав черепашьей головкой, пробормотал: «Странно... Когда это он успел?..»

А Феликс Сорокин и не думал шутить. И надраться он отнюдь не успел, это ему еще предстояло. Просто он был возмутительно, непристойно и неумело счастлив сейчас, и сам толком не знал, почему, собственно.

10. Банев. Exodus

Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему повесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с

подарком господина Президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он — хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится — восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречает женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки: заезженные довоенные пластинки, денатурат домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, мигом разгоняет разных штатских, неустанно подкладываяющих Норе вареную морковку, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной стороны, она явно не прочь, но, с другой стороны, она дает ему понять, что связываться с нею опасно. Однако разгоряченный денатуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к Норе. Послевоенная столица ночью: редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, в совершенно уже темном переулке кого-то грабят. Нора живет в старинном трехэтажном доме, лестница загажена, на одной двери надпись мелом: «Здесь живет немецкая овчарка». В длинном коридоре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затхлые личности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь, обитую чудом сохранившейся блестящей кожей. В прихожей она делает еще одно предупреждение, но Б., полагая, что речь идет всего лишь о какой-нибудь уголовщине, отвечает только, что хаживал на танки в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная, огромный диван. Нора смотрит на поручика с каким-то сожалением, уходит ненадолго и возвращается с початой бутылкой коньяка, одетая в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретиться вновь. В конце коридора его уже ждут — два затхлых человека из тени. Неприятно усмехаясь, они загораживают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает неожидан-

но легкую победу. Сбитые с ног, затхлые люди, плача и хихикая, разъяряют поручику Б. его положение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора не просто соблазнительная женщина. Нора — королева столичных клопов. Вам теперь конец, господин офицер, встретимся в «Атакане», мы все там встречаемся, каждую ночь. Идите домой, а когда вам станет невтерпёж, приходите, у нас открыто до утра...

На западной окраине столицы, в доходном доме рядом с химическим заводом, живет многосемейный титулярный советник Б. Нарочито подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма, от ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во все инстанции, разгромные фельетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако завод стоит, как бастион. На набережной перед заводом замертво падают отравленные постовые; дохнут домашние животные, покидают квартиры и уходят бродяжничать целые семьи; в газетах появляется некролог на преждевременную кончину директора завода. У титулярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись в подвал за дровами, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопrotивления миномет и огромные запасы мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак и открывает слуховое окно. Завод лежит перед ним как на ладони: в резком свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. Я тебя убью, шепчет титулярный советник и открывает огонь. В этот день он не идет на службу, на следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабевает, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: я убью тебя. Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончились — осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в окно. Обширный двор завода усеян во-

ронками, зияют выбитые стекла, на боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор перерыт сложной системой траншей, по траншеям короткими перебежками двигаются рабочие, быстрее прежнего бегают вагонетки, водители автокаров защищены железными листами, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене заводоуправления открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна»...

Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок, заправленный в машинку. Там было всего полторы строчки: «Выйдя из редакции, журналист Б. хотел было взять такси, но передумал и спустился в подземку». Виктор совершенно точно знал, что случилось затем с журналистом Б., но писать он больше не мог. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурочек в мокрую ночь и позвонил портю. Отозвался незнакомый голос. Виктор осведомился, какой сегодня день недели. Незнакомый голос, помедлив, сообщил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Виктор поморгал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. Хватит. Двое суток подряд не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у притолоки и шевелит черными усиками... Хватит. Журналист Б. подождет на платформе, пока подойдет поезд с надписью «посадки нет». Ничего ему не сделается. А мы пока закусим, мы это заслужили, ей-богу... Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и горько сетовал на себя за то, что вылил вчера полбутылки бренди в раковину во избежание соблазна, и радовался, что цикл «За кулисами большого города» все-таки начат, и начат неплохо, прекрасно начат, вполне удовлетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. Странно все-таки, подумал он, почему эти рассказы пошли именно сейчас? Почему не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я должен был бы писать о ханурике, вообразившем себя суперменом, вот о чем. Я ведь и начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. И именно поэ-

тому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать роман о юных годах господина Президента, а получается про необитаемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение... Ну, здесь, положим, связь на поверхности. Э, да чего там, всегда она есть. Надо только покопаться, а кому охота копаться, если хочется выпить после двухдневного воздержания. Спустишь-ка я сейчас вниз, у портье всегда найдется выпить. Дожую вот сейчас и спущусь...

Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном сквозь плеск дождя донесся звук, как будто ударили молотком по доске. Стреляют, с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он напряженно прислушивался.

...Ну хорошо, а что автор хотел сказать этими своими сочинениями? Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные времена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные женщины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость столицы, которая под водительством его высокопревосходительства... Не выйдет, господин Банев! Не позволим! Весь мир знает, что по прямому указанию господина Президента на владельцев химических предприятий, загрязняющих воздух, только в столице наложен штраф в размере... Что благодаря личной и неусыпной заботе господина Президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают в загородные лагеря... что согласно табели о рангах чины ниже надворных советников не имеют права собирать подписи под петициями...

Тут свет погас. «Эге!» — сказал Виктор, лампа загорелась снова, но вполнакала. «Эт-то еще что?» — произнес Виктор, однако светлее не сделалось. Виктор подождал немного, затем позвонил портье. Никто не отозвался. Можно позвонить на электростанцию, но для этого надо найти телефонную книгу, а где ее искать, и все равно пора ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери руками. Потом в дверь начали толкаться. «Кто там?» — спросил Виктор, ему не ответили, слышно было только, как толкаются и сопят. Виктору стало жутко. Озаренные красноватым светом стены казались чужими и непривычными, в углах сгустилось слишком много тени, а за дверью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное. Чем бы его? — подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сильным шепотом: «Банев, эй, Банев, ты здесь?!» Отпустив вполголоса «идио-

та», Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер ввалился Р. Квадрига. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, глаза бегали.

— Слава богу, хоть ты на месте, — сразу же заговорил он. — А то я совсем со страху спятил... Слушай, Банев, надо удирать... Пойдем, а? Пойдем отсюда, Банев... — Он схватил Виктора за рубашку и потянул в коридор. — Пойдем, невозможно больше...

— Обалдел, — сказал Виктор, вырываясь. — Иди спать, рамолик. Три часа.

Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с изумлением обнаружил, что доктор гонорис кауза совершенно трезв, от него даже не пахло.

— Нельзя спать, — сказал Квадрига. — Из этого проклятого дома надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем... И вообще из города надо удирать. У меня на вилле машина. Пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти.

— Погоди, не хватайся, — сказал Виктор. — Успокойся сначала.

Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам пошел в ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за ним.

— Мы здесь с тобой одни, никого не осталось, — сказал он. — Голема нет, швейцара нет, управляющего нет...

Виктор открутил кран. В трубах заворчало, вылилось несколько капель.

— Тебе что, — сказал Квадрига, — воды надо? Пойдем, у меня есть целая бутылка. Только быстро. И вместе.

Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание прекратилось.

— В чем дело? — спросил Виктор, холодея. — Война?

Квадрига махнул рукой.

— Да какая война... Удирать надо, пока не поздно, а он — война...

— Почему — удирать?

— По дороге, — сказал Квадрига, идиотски хихикнув.

Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз, к портю. Квадрига семенил следом.

— Слушай, — бормотал он. — Давай через черный ход... Только бы выйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена... Я как чувствовал, ей-богу... Водочки выпьем и поедем, а то здесь водки не осталось...

В коридоре тускло, как красные карлики, светились пла-

фоны, на лестнице света не было вообще, в вестибюле — тоже, только над конторкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не портье.

— Пойдем, пойдем, — сказал шепотом Квадрига и потянул Виктора к выходу. — Туда не надо, там нехорошо...

Виктор высвободился и подошел к конторке.

— Что у вас тут за безобразие... — начал он и замолчал.

За конторкой сидел Зурзмансор. На месте портье сидел Зурзмансор и быстро писал в толстой тетради.

— Банев, — сказал он, не поднимая головы. — Вот и все, Банев. Прощайте. И не забывайте наш разговор.

— А я не собираюсь уезжать, — возразил Виктор. Голос у него сорвался. — Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это ваша работа?

Зурзмансор поднял желтое лицо.

— Нет, — сказал он. — Мы больше не работаем. Прощайте, Банев. — Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам. — Такова жизнь, — сказал Зурзмансор. — Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, наверное, это уже поняли. Или скоро поймете. Вас это касается больше, чем нас. Прощайте.

Он кивнул и снова принялся писать.

— Пойдем! — прошипел над ухом Квадрига.

— Ничего не понимаю, — громко, на весь вестибюль произнес Виктор. — Что здесь происходит?

Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний, и нечего Зурзмансору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать, я вам не Квадрига... Но Зурзмансор не услышал или не захотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился.

В зале тускло светились торшеры, тускло светились люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи.

Потом перед Виктором появился Голем, напряженный, озабоченный, совсем старый.

— Почему вы еще здесь? — спросил он вполголоса. — Уходите, здесь нельзя.

— Что значит — нельзя? — спросил Виктор, снова раздражаясь. — Я хочу выпить.

— Тише, — сказал Голем. — Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам. Куда вы сейчас?

— К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер.

— Здесь нет спиртного, — сказал Голем.

Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестя ряды бутылок. Голем оглянулся.

— Нет, — сказал он. — Увы.

— Я хочу выпить! — повторил Виктор упрямым голосом.

Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрецы смотрели на него. Читавшие опустили книги, окончившие повернули черепа, и только спавшие продолжали спать. Десятки блестящих глаз, словно бы повисших в красноватом сумраке, смотрели на него.

— Не ходите в номер, — сказал Голем. — Уходите из гостиницы. К Лоле... Или к доктору на виллу... Только чтобы я знал, где вы находитесь. Я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не ерпеньтесь, делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвердила...

— А где Диана?

Голем опять оглянулся и посмотрел на часы.

— В четыре часа... или в пять... она будет на автостанции у Солнечных ворот.

— А где она сейчас?

— Сейчас она занята.

— Так, — сказал Виктор и тоже посмотрел на часы. — В четыре или в пять у Солнечных ворот. — Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так, в фокусе внимания этого тихого сборища.

— Может быть, в шесть, — сказал Голем.

— У Солнечных ворот... — повторил Виктор. — Это там, где вилла нашего доктора.

— Вот-вот, — сказал Голем. — Отправляйтесь на виллу и там ждите.

— По-моему, вы просто хотите меня выпроводить, — сказал Виктор.

— Да, — сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился

Виктору в лицо. — Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убраться?

— Мне хочется спать, — небрежно сказал Виктор. — Я две ночи не спал. — Он взял Голема за пуговицу и вывел его в вестибюль. — Ладно, я уйду, — сказал он. — Но что это за пандемия? У вас здесь съезд?

— Да, — сказал Голем.

— Или вы подняли восстание?

— Да, — сказал Голем.

— А может быть — война началась?

— Да, — сказал Голем. — Да, да, да. Убирайтесь отсюда.

— Ладно, — сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остановился. — А Диана? — спросил он.

— Ей ничто не грозит, — сказал Голем. — И мне тоже. Никому из нас ничто не грозит. Во всяком случае, до шести. Может быть, до семи.

— Вы мне отвечаете за Диану, — сказал Виктор тихо.

Голем вынул носовой платок и вытер шею.

— Я отвечаю за все, — сказал он.

— Да? Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану.

— Вы мне надоели, — сказал Голем. — Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане абсолютно ничего не грозит. И уходите. Мне надо работать.

Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадью.

— Банев, — позвал Р. Квадрига из какого-то темного угла. — Куда ты? Пойдем!

— Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах! — сердито отозвался Виктор не оборачиваясь. Выперли, думал он. Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли. И может быть, из города... А дальше что? У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадрига неотступно путался под ногами.

— Так и пойдешь в халате? — спросил Виктор.

— Он теплый, — сказал Квадрига. — А дома еще один есть.

— Болван, иди оденься.

— Не пойду, — твердо сказал Квадрига.

— Пойдем вместе, — предложил Виктор.

— Нет. И вместе не надо. Да ты не бойся, я так... Я привык...

Квадрига был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгивал, заглядывал в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадриги.

Доктор гонорис кауза, нагнув голову, стремительно протасил его через коридор, по служебной лестнице, мимо темной холодной кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь в крошечную темноту и выскочил следом.

— Слава богу, выбрались! — сказал он. — Бежим!

Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было так, что идти приходилось почти на ощупь, держась за стены. Разве только общее направление можно было угадать по уличным фонарям, горевшим вполнакала, да кое-где просачивался сквозь щели в занавесках красноватый свет. Дождь лупил без передышки, но улицы не были совершенно безлюдны. Где-то переговаривались вполголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проехали тяжелые грузовики, какая-то телега прогремела железными ободьями по асфальту. «Все бегут, — бормотал Квадрига. — Все удирают. Одни мы тащимся...» Виктор молчал. Под ногами хлопало, туфли промокли, по лицу ползла тепловатая вода. Квадрига цеплялся, как клещ, все это было глупо, бездарно, тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло. Квадрига оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город: «Банев! Где ты?» Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, и придушенный голос осведомился: «Ну, что слышно?» — «Темно, так и не так...» — ответил Виктор. «Точно! — с энтузиазмом подхватил голос. — И воды нет... Хорошо, мы корыто успели набрать». — «А что будет?» — спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес: «Эвакуацию объявят, не иначе... Эх, жизнь!» И окошко захлопнулось.

Потащились дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел там этот шабаш... Налетели впотьмах на грузовик, ощупью обогнули его и налетели на человека с каким-то грузом. Квадрига опять заорал. «В чем дело?» — свирепо спросил Виктор.

«Дерется, — обиженно сообщил Квадрига. — Прямо по печени. Ящиком». На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках. Квадригу занесло в раскрытый зеркальный шкаф, потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски, грубый голос с южным выговором объявил: «Военный патруль. Предъявите документы». У Квадриги документов, естественно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком... Грубый голос презрительно сказал: «Шпаки. Пропустить». Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно металась золоторубашечники, сверкая медью своих пожарных шлемов, раздавались зычные неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще некоторое время озаряли дорогу, затем снова стало темно.

Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор совершенно отупел и больше не ругался, пелена покорной апатии обволокла мозг, надо было идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за ворот разбухшего халата, нельзя было только останавливаться и ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспоминалось ему, что-то давно бывшее, позорное, горькое, неправдоподобное, только тогда было зарево и людская каша на улицах, и вдали грохотало и бухало, позади был ужас, а вокруг были опустевшие дома с окнами, заклеенными крест-накрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги, а на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился, а мы, ободранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры, засвистели, заржали, заулюлюкали, а кто-то запустил в труп полковника обломком своей сабли...

— А ну стой! — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то очень знакомым. Виктор машинально поднял руки.

— Как вы смеете! — взвизгнул Р. Квадрига у него за спиной.

— А ну тихо, — сказал голос.

— Караул! — заорал Квадрига.

— Тише, дурак, — сказал ему Виктор. — Сдаюсь, сдаюсь, — сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали.

— Стрелять буду! — испуганно предупредил голос.

— Не надо, — сказал Виктор. — Мы же сдаемся. — В горле у него пересохло.

— А ну раздевайся! — скомандовал голос.

— То есть как?

— Ботинки снимай, плащ снимай, штаны...

— Зачем?

— Быстро, быстро! — прошипел голос.

Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба натужно кричали, выворачивая друг у друга оружие. «Банев! Где ты?» — в отчаянии вопил Квадрига. На ощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он еще рыпался, но Виктор был гораздо сильнее.

— Все, — сказал Виктор сквозь зубы. — Все... Не дергайся, а то по морде получишь.

— А вы пустите! — прошипел солдат, слабо сопротивляясь.

— Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой?

Солдат только пыхтел. «Виктор! — вопил Квадрига уже где-то вдалеке. — А-а-а!» Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под каской и умчалась.

— Э, а ведь я тебя знаю, — сказал Виктор. — Ты что же это людей грабишь? Отдай автомат.

Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня.

— Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор. — Дезертируешь?

Солдат сопел. Симпатичный такой солдатик, веснушчатый.

— Ну, чего молчишь?

Солдатик заплакал — тоненько, с подвыванием.

— Все равно мне теперь... — забормотал он. — Все равно расстрел. С поста я ушел. Убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь деваться... Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь я какой-нибудь, не выдавайте, а?

Он хлопал и сморкался, и в темноте, вероятно, утирал

сопли рукавом шинели — жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все.

— Ладно, — сказал Виктор. — Пойдешь с нами. Не выйдем. Одежда найдется. Пошли, только не отставай.

Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипывая.

По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шею висел автомат, за левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую — тихо завывающий Квадрига. Бред какой-то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопляку пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко и автомат, возможно, еще пригодится... Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может понадобиться в грядущих боях...

— Перестаньте ныть, вы оба, — сказал Виктор. — Патрули сбегутся.

Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрезжили тусклые огни автостанции, Квадрига потянул Виктора вправо, радостно бормоча: «Пришли, слава тебе, господи...»

Ключ от калитки Квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь, перелезли через ограду; чертыхаясь, путались некоторое время в мокрой сирени; чуть не упали в фонтан; добрались, наконец, до подъезда, вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока Квадрига бегал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом вернулся Квадрига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались.

В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякощено. Книжки валялись вперемешку с пыльным тряпьем и свернутыми холстами. Под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики из-под красок, телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, только что не было навалено в углах, а может быть, и было навалено — в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно.

Квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом ссыпал все на пол.

Затем он вытер стол мокрым халатом, сбегал куда-то, принес три хрустальных бокала антикварной красоты и две квадратные бутылки. Подсигивая от нетерпения, он выгасил пробки и наполнил бокалы.

— Будем здоровы... — неразборчиво пробормотал он, схватил свой бокал и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслаждения.

Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него, разминая волглую сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неопишное изумление пополам с обидой.

— И здесь тоже... — проговорил он с отвращением.

— Что такое? — спросил Виктор.

— Вода, — робко подал голос солдатик. — Как есть вода. Холодная.

Виктор отхлебнул из своего бокала. Да, это была вода, чистая, холодная, возможно, даже дистиллированная.

— Ты чем нас поишь, Квадрига? — спросил он.

Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток. Лицо его исказилось. Он сплюнул и сказал: «Боже мой!», пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки: ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала: вода. Запахло обыкновенной чертовщиной, сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел головой в воротник огромного Квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые, он не отрываясь смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло:

— Ну, чего уставился?

— А вы чего? — шепотом спросил солдатик.

— Я-то ничего, а ты вот что тарацишься?

— Так, а чего вы... Страшно как-то... Не надо так...

Спокойствие, сказал себе Виктор. Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают, краеугольный камень. Трезвенники, мать их...

— Струсил? — сказал он солдатiku. — Зас...ц ты.

— Так страшно! — сказал солдатик, оживившись. — Вам-то что, а я там натерпелся... Стоишь на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху и дальше... Капрал у нас один даже запачкался... Капитан все говорил: привыкнете, мол, служба, мол, присяга, мол... Ни фига невозможно

привыкнуть. Давеча вон один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, и смотрит... а глаза-то ведь не человечесьи, красные, светятся, и серой от него ну прямо так и несет... — Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился.

Из недр виллы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках.

— Одна вода, — сказал он. — Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже заправленная, сядем и — эх! А?

— Не паникуй, — сказал Виктор. — Удрать всегда успеет... А впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй. И парнишку прихватишь.

— Нет, — сказал Квадрига. — Без тебя я не поеду.

— А тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать, — приказал Виктор. — Хлеб у тебя в камень еще не превратился?

Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консервами, и неплохими консервами. Они ели, а солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня, про летающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Крупмана, парнишечку девятнадцати лет, который со страху учинил самострел... и еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным скушали... А нынче заступил я на пост, в восемь часов вечера, дождь кромешный с градом, над зоной — неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, и какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит — не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышли столбы и — в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота, и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я и на караул взять не успел, вижу только, что господин капитан — на заднем сиденье, без фуражки, без плаща — лупит шофера в шею и орет: «Давай, сукин сын! — орет. — Давай!» Оторвалось у меня что-то внутри, и словно мне кто-то сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через овраги, чуть в болоте не завяз, накидку где-то оставил, новую, вчера выдали, но к городу вышел, а в городе — патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз от них еле ушел, добрался досюда вот, до автостанции, смотрю — народ бежит, гражданских так пускают, а нашего брата — шиш, пропуск требуют. Ну, я и решился.

Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый Квадрига снова принялся твердить, что надо удирать — и немедленно. «Вот же человек, — твердил он, тыча вилкой в сторону заснувшего воина. — Понимает же человек... А ты — дубина, Банев, непроницаемая дубина. Как ты не чувствуешь, я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит... Ты поверь мне... я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь, я ведь давно вам говорю: нельзя здесь оставаться... Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая... Ты пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в сороковом... Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был...» Виктор велел ему спать или убираться к черту. Квадрига надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в мохеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, крихтел, бормотал апокалипсические предупреждения, потом затих. Было четыре часа.

В 4.10 свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, всхрапывал намаевшийся доктор гонорис кауза. Где-то — наверное, на автостанции — взрели двигатели, неразборчиво кричали голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мокрецы рассорились-таки с генералом Пфердом, выперли его из лепрозория, перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной полиции, да что там — против современной армии. Идиоты. Разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети... Детей же загубят, сволочи! А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх вы, а еще суперы. Тоже мне — умные, талантливые... та же дрянь, что и мы. Еще один новый порядок, а чем порядок новее, тем хуже — это уж известно. Ирма... Диана... Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Телефон молчал. Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться, или того хуже — выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на что... стрелять друг в друга, грызть друг друга.

Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже

так думал. Приучены-с. Сызмальства приучены-с. Либо ура-ура, либо пошли вы все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное социальное явление ни встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить. Либо верой, либо неверием. И если уж верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы — и на ложные, и на истинные. Перри Мэйсон говаривал: улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То же и с политикой. Жулье интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию. Потому что не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев, никогда в жизни ничего, кроме политического жулья, не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен, думать по-настоящему не обучен и потому, естественно, ни в какой иной терминологии, кроме как в жульнической, интерпретировать не способен. Новый мир, старый мир... и сразу же ассоциации: нойе орднунг, альте орднунг... Ну ладно, но ведь простак Банев существует не первый день, кое-что повидал, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть ведь Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту Павору, или этому сопливному деревенскому недорослю, или трезвому Квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мокрецы выступили против Пферда? Прекрасно! Гнать его в шею. Давно пора... И детей они не дадут в обиду, не похоже это на них... и не рвут они на себе жилеток, не зывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов... То, что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку — правильно. Бол-Кунац, молодец... И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобой, но не для тебя. Ишь, как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего! Как запросился назад, к миногам, к водке... Вспоминать противно, а ведь так и должно было быть. Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, невежество, фашизм. А что я без всего этого? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... Новый мир —

строгий, справедливый, умный, стерильно-чистый — я ему не нужен, я в нем — нуль. Я был ему нужен, когда я боролся за него... а раз я ему не нужен, то и он мне не нужен, но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь?.. Эх, добрые старые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация, везде акселерация... Но нельзя же бороться против, не борясь за! Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достается тому самому суку, на котором ты сидишь...

...Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно повторяла: не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко, мало ли что будет лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут, неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как глупо, как бессмысленно... Это же Ирма, подумал Виктор. «Ирма!» — крикнул он и проснулся.

Храпел Квадрига. Дождь за окном прекратился, и стало как будто светлее. Виктор поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом, надо было встать и закрыть окно, но он утрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой напоззали на глаза. Не то во сне, не то наяву где-то рядом проходили машины, одна за другой проходили машины, тащились по грязной разбитой дороге машины, через бесконечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами, мимо раздавленной пушки с задраным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникала под брезент, под шинель, и страшно хотелось спать, но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана, а калитка заперта, в окнах темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, а он выскочил из окна и изо всех сил погнался за машиной и кричал так, что лопались жилы, но тут как раз рядом шли танки, грохотали и гремели, он не слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют, и он останется один, и тут возник свирепый пронзительный визг бомбы, прямо в темя, прямо в мозг... Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла.

Визжал Р. Квадрига. Он раскорячился перед раскрытым окном, глядел в небо и визжал, как баба, было светло, но это не был дневной свет: на захламленном полу лежали ров-

ные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное, Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна.

Квадрига уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал злость. Да что это им здесь — цирк, что ли? За кого они меня принимают?.. Квадрига все скрипел.

— Перестань! — рявкнул Виктор с ненавистью. — Квадратов не видел? Живописец дерьмовый! Холуй!

Он схватил Квадригу за мохеровое одеяло и потрянул изо всех сил. Квадрига повалился на пол и замер.

— Хорошо, — сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым голосом. — С меня хватит.

Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенек, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку, почти утонувшую в лунном блеске. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами — черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что солдатика в холле нет — то ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер со страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставив эту несчастную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. Ну и фокусники. Не-ет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи... А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. А подумавши — и неглупо вовсе. Ведь ясно же — ожидается великий драп, это же в воздухе висит, а когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие.

Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный, бесконечно длинный лимузин Квадриги (личный подарок господина Президента за бескорыстную службу преданной кистью), не разбирая дороги, устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернул и скрылся из виду.

— Удрал-таки, скотина, — пробормотал Виктор не без зависти. Он слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накинул плащ и окликнул солдата. Солдатик не отозвался. Виктор заглянул под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор закурил и вышел во двор. В кустах сирени рядом с выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень удобную, а главное — с хорошим видом на шоссе, уселся, положив ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было пусто, но потом прошла машина, другая, третья, и он понял, что драп начался.

Город прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпала магистратура и полиция, драпала промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов — рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и, когда схлынул гной, потекла кровь: собственно народ — на битком набитых грузовиках, в перекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, толкая ручные тележки, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставляя позади свои дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно прополз вездеход с офицерами, бронетранспортер, проехали два грузовика с солдатами и наши лучшие в мире походные кухни, а последним двигался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад.

Светало, побледнела луна, страшный квадрат расплылся, тучи таяли, наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись грязные тряпки, чей-то раздавленный чемодан — хороший чемодан, по всему видно, начальство обронило, колесо от телеги, а немного поодаль, на обочине — сама телега со старым продраным диваном и фикусом. На середине шоссе, прямо напротив ворот — одинокая галоша. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы, поднималось солнце,

которого Виктор не видел уже полмесяца, а город — несколько лет. Но теперь на него здесь некому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора, и из-за поворота вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были «Братья по разуму» — они проплыли мимо, одинаково повернув к нему равнодушные бессмысленные лица. Вот и все, подумал Виктор. Выпить бы. Где же Диана? Он медленно пошел обратно в город.

Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то выглядывало в промежутки, то брызгало теплым светом сквозь ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно тихо, и Виктор обратил внимание на странные, едва слышные звуки, доносившиеся словно бы из-под земли — слабое какое-то потрескивание, шорохи, шелест. Но потом он привык и забыл о них. Удивительное чувство покоя и безопасности охватило его. Он шел как пьяный и почти все время смотрел в небо. На проспекте Президента возле него остановился джип.

— Садитесь, — сказал Голем.

Голем был серый от усталости и какой-то придавленный, а рядом с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая красивая из всех усталых женщин.

— Солнце, — сказал Виктор, улыбаясь ей. — Поглядите, какое солнце.

— Он не поедет, — сказала Диана. — Я вас предупредила, Голем.

— Почему не поеду? — удивился Виктор. — Поеду. Только зачем торопиться?

Он не удержался и снова посмотрел на небо. Потом посмотрел назад, на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащились беженцы, громыхала отступающая армия, драпало начальство, там были пробки, там висела ругань, орались бессмысленные команды и угрозы, а с севера на город надвигались победители, и здесь была пустая полоска покоя и безопасности, несколько километров пустоты, и в пустоте машина и три человека.

— Голем, это идет новый мир?

— Да, — сказал Голем. Он вглядывался в Виктора из-под опухших век.

— А где же ваши мокрецы? Идут пешком?

— Мокрецов нет, — сказал Голем.

— Как так — нет? — спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась.

— Мокрецов нет, — повторил Голем. Голос у него был сдавленный, и Виктору вдруг почудилось, что он вот-вот заплачет. — Можете считать, что их не было. И не будет.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Пойдемте прогуляемся.

— Вы поедете или нет? — вяло спросил Голем.

— Я бы поехал, — сказал Виктор улыбаясь, — но мне надо зайти в гостиницу, забрать рукописи... и вообще посмотреть... Вы знаете, Голем, мне здесь нравится.

— Я тоже остаюсь, — сказала вдруг Диана и вылезла из машины. — Что мне там делать?

— А что вам здесь делать? — спросил Голем.

— Не знаю, — сказала Диана. — У меня же теперь никого нет, кроме этого человека.

— Ну хорошо, — сказал Голем. — Он не понимает. Но вы же понимаете...

— Но должен же он посмотреть, — возразила Диана. — Не может же он уехать, не посмотрев...

— Вот именно, — подхватил Виктор. — На кой черт я нужен, если я не посмотрю? Это же моя специальность — смотреть.

— Слушайте, дети, — сказал Голем. — Вы соображаете, на что идете? Виктор, вам же говорили: оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от вас была польза. На своей!

— Я всю жизнь на своей стороне, — сказал Виктор.

— Здесь это будет невозможно.

— Посмотрим, — сказал Виктор.

— Господи, — сказал Голем, — как будто мне не хочется остаться! Но нужно же немножко думать головой! Нужно же разбираться, черт побери, что хочется и что должно... — Он словно убеждал самого себя. — Эх вы... Ну и оставайтесь. Желаю вам приятно провести время. — Он включил скорость. — Где тетрадь, Диана?.. А, вот она. Так я беру ее себе. Вам она не понадобится.

— Да, — сказала Диана. — Он так и хотел.

— Голем, — сказал Виктор. — А вы-то почему бежите? Вы же хотели этот мир.

— Я не бегу, — строго сказал Голем. — Я еду. Оттуда, где я больше не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте.

И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли

вверх по проспекту господина Президента в пустой город, навстречу наступающим победителям. Они не разговаривали, они полной грудью вдыхали непривычно чистый свежий воздух, жмурились на солнце и ничего не боялись. Город смотрел на них пустыми окнами, он был удивителен, этот город, — покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, и вот наконец его вытащили на поверхность на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать.

Таяли и испарялись крыши, жечь и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расползались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии. Мягко подламываясь, ставили уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Вдали башня ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой неба. Некоторое время в небе, отдельно от всего, висели старинные башенные часы, потом исчезли и они...

Пропали мои рукописи, весело подумал Виктор. Вокруг уже не было города — торчал кое-где чахлый кустарник, и остались большие деревья и пятна зеленой травы, только вдалеке за туманом еще угадывались какие-то здания, остатки зданий, призраки зданий, а недалеко от бывшей мостовой, на каменном крыльечке, которое никуда не вело, сидел Тэдди, вытянув больную ногу и положив рядом с собой костыли.

— Привет, Тэдди, — сказал Виктор. — Остался?

— Ага, — сказал Тэдди.

— Что так?

— Да ну их, — сказал Тэдди. — Набились как сельди в бочку, некуда ногу вытянуть, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, сервант? А она меня кроет. Плюнул я на них и остался.

— Пойдешь с нами?

— Да нет, идите, — сказал Тэдди. — Я уж посижу. Ходок я теперь никудышный, а мое меня не минует...

Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на землю ненужный плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от облегчения. Диана поцеловала его и сказала: «Хорошо!» Он не возражал. Они шли и шли

под синим небом, под горячим солнцем, по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе — она стала огромным серым кубом из грубого шершавого бетона, и Виктор подумал, что это памятник, а может быть — пограничный знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за глыбы бетона беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щитком Легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все еще бесшумно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез, и только тогда налетел адский свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу, но навстречу уже шел Бол-Кунац, с выгоревшими усиками на загорелом лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрослая, босая, в простом легком платье, с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь, и сказала: «Кх-х!»

Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он не предполагал даже, что такая Диана возможна — Диана Счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но вот что — не забыть бы мне вернуться.

1982 г.

Отягощенные злом,
или Сорок лет спустя

роман

Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства. Также не знают и пользы своей.

Трифиллий, раскольник

Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо; имя рабу было Малх.

Евангелие от Иоанна

Необходимые пояснения

Две рукописи лежали передо мной, когда я принял окончательное решение писать эту книгу.

Решение мое само по себе никаких объяснений не требует. Сейчас, когда имя Георгия Анатольевича Носова всплыло из небытия, и даже не всплыло, а словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье едва ли не первым в списке носителей идей нашего века; когда вокруг этого имени пошли навораживать небылицы люди, никогда не говорившие с Учителем и даже никогда не видевшие его; когда некоторые из его учеников принялись суетливо и небескорыстно сооружать некий новейший миф, вместо того чтобы просто рассказать то, что было на самом деле, — сейчас полезность и своевременность моего решения представляются очевидными.

Иное дело — рукописи, составляющие книгу. Они, на мой взгляд, без всякого сомнения, требуют определенных пояснений.

Происхождение первой рукописи вполне банально. Это мои заметки, черновики, наброски, кое-какие цитаты, записки, главным образом дневникового характера, для отчет-экзамена по теме «Учитель двадцать первого века». В связи с событиями того страшного лета отчет-экзамен мой так никогда и не был написан и сдан. Конечно, можно только поражаться самонадеянности того восторженного юнца, зеленого выпускника Ташлинского лицея, вообразившего себе, будто он способен вычлениить и сформулировать основные принципы работы своего учителя, состыковать их с существующей теорией воспитания и создать таким образом совершенный портрет идеального педагога. Помнится, Георгий Анатольевич отнесся к моему замыслу с определенной долей скептицизма, однако отговаривать меня не стал и,

более того, разрешил мне сопровождать его во всех его деловых хождениях — в том числе и за кулисы тогдашней ташлинской жизни.

И самонадеянный юнец ходил за своим учителем, иногда в компании с другими лицеистами (которых учитель отбирал по каким-то одному ему понятным соображениям), иногда же сопровождал учителя один. Он внимательно слушал, запоминал, записывал, делал для себя какие-то выводы, которых я теперь, к сожалению, уже не помню, пламенел какими-то чувствами, которые теперь тоже основательно подзабылись, а вечерами, вернувшись в лицей, с упорством и трудолюбием Нестора заносил на бумагу все, что наиболее поразило его и показалось наиболее важным для будущей работы.

Я основательно отредактировал эти записи. Кое-что мне пришлось расшифровать и переписать заново. Многое там было застенографировано, зашифровано кодом, который я теперь конечно же забыл. Некоторые места вообще оказалось невозможно прочесть. Разумеется, я полностью опустил целые страницы, носящие дневниково-интимный характер, страницы, касающиеся других людей и не касающиеся Георгия Анатольевича.

Теперь, когда я закончил книгу и не намерен более изменять в ней хоть слово, мне бывает грустно при мысли, что я, несомненно, засушил и обескровил забавного, трогательного, иногда жалкого юнца, явственно выглядывавшего ранее из-за строчек со своими мучительными возрастными проблемами, со своим гонором, удивительно сочетавшимся у него с робостью, со своими фантазмагорическими планами, великой жертвенностью и простодушным эгоизмом. В процессе работы я все это элиминировал беспощадно, ибо считал — и считал совершенно справедливо, — что незачем мне выпячивать себя в трагедии моего учителя. Все-таки книга эта прежде всего о нем, и только потом уже — обо мне.

Это о первой рукописи.

Происхождение второй рукописи загадочно — столь же загадочно, как и ее содержание. Георгий Анатольевич вручил мне ее вскоре после того, как определилась тема моего отчет-экзамена. Он сказал, что эта рукопись может оказаться полезной для моей работы, во всяком случае, она способна вывести меня из плоскости обыденных размышлений. Этих слов его я тогда не понял, не понимаю я их и сейчас. Видимо, не так-то просто вывести меня из плоскости обыденных размышлений.

Помнится, Георгий Анатольевич рассказал мне, что рукопись эта была несколько лет назад обнаружена при сносе старого здания гостиницы-общежития Степной обсерватории, старейшего научного учреждения нашего региона. Рукопись содержалась в старинной картонной папке для бумаг, завернутой в старинный же полиэтиленовый мешок, схваченный наперекрест двумя тонкими черными резинками. Ни имени автора, ни названия на папке не значилось, были только две большие буквы синими чернилами: О и З.

Первое время я думал, что это цифры ноль и три, и только много лет спустя сообразил сопоставить эти буквы с эпиграфом на внутренней стороне клапана папки: «...у гностиков ДЕМИУРГ — творческое начало, производящее материю, отягощенную злом». И тогда показалось мне, что «ОЗ» — это, скорее всего, аббревиатура: Отягощение Злом, или Отягощенные Злом, — так свою рукопись назвал неведомый автор. (С тем же успехом, впрочем, можно допустить и то, что «ОЗ» — не буквы, а все-таки цифры. Тогда рукопись называется «ноль-три», а это телефон «Скорой помощи» — и странное название вдруг обретает особый и даже зловещий смысл.)

Формально автором следует считать Сергея Корнеевича Манохина, от имени которого и ведется повествование. С. К. Манохин — личность вполне историческая, астроном, доктор физматнаук, он действительно в конце прошлого века был сотрудником Степной обсерватории, причем довольно долгое время. Более того, понятие «звездных кладбищ», упоминаемое в рукописи, было на самом деле введено им. Он предсказал это редкое и своеобразное явление природы, и, насколько я понял, еще при его жизни оно было обнаружено в наблюдениях. Больше никаких заметных следов в науке он не оставил, во всяком случае, никаких данных подобного рода найти не удалось. И уж совсем никаких данных не удалось мне обнаружить о том, что С. К. Манохин когда-либо баловался художественной литературой. Так что вопрос об авторстве «Отягощения злом» и сейчас остается для меня открытым.

Читатель должен иметь в виду, что в рукописи «ОЗ» элементы гротесковой фантастики затейливо переплетены с совершенно реальными людьми и обстоятельствами. Ни у кого не вызовет сомнения, скажем, что Демиург — фигура совершенно фантастическая (наподобие булгаковского Воланда), но при этом упоминаемый в рукописи Карл Гаврилович Росляков действительно был директором Степной обсерватории, самым первым и самым знаменитым. Что же

касается удивительной фигуры Агасфера Лукича, то этого человека я просто видел собственными глазами, причем при обстоятельствах трагических и незабываемых.

Проще всего было бы предположить, что автором рукописи «ОЗ» является сам Георгий Анатольевич. Однако принять это предположение не позволяет мне целый ряд обстоятельств.

Бумага, папка, технология машинописи, орфографические особенности текста — все это совершенно однозначно заставляет датировать рукопись восьмидесятыми годами прошлого века. В крайнем случае — девяностыми годами. То есть получается, что Георгию Анатольевичу, если бы это сочинение писал он, было тогда меньше лет, нежели мне, когда я его читал. Дьявольски маловероятно.

Далее, такая мистификация противоречила бы всему, что я знаю о Георгии Анатольевиче, — никак не укладывается она ни в его характер, ни в его отношение к своим ученикам.

Наконец, само содержание рукописи, выбранный автором герой. Зачем Георгию Анатольевичу понадобилось бы делать своим лирическим героем астронома? Георгий Анатольевич никогда не интересовался естественными науками. Разумеется, он был в курсе новейших представлений физики и той же астрономии, но не более чем просто культурный, образованный человек. И уж совсем непонятно, зачем ему, при его деликатности, было брать героем астронома, реально существовавшего, да еще работавшего здесь же, в двух шагах от Ташлинска.

Нет, гипотеза эта при всем ее кажущемся правдоподобии не может быть принята за окончательную. А ведь я еще ничего не сказал (и говорить сейчас не намерен) о тех элементах сочинения, которые не объясняются вообще никакими рациональными гипотезами.

Боюсь, все дело в том, что я так и не сумел понять, какую же связь Георгий Анатольевич усматривал между моим отчет-экзаменом и рукописью «ОЗ», на какие именно мысли должна была вывести меня эта рукопись. Вполне допускаю, что, если бы мне удалось нащупать эту связь, если бы удалось мне выйти из плоскости неких представлений, я бы понял больше и в самой рукописи, и в загадке ее происхождения.

Может быть, кто-нибудь из читателей окажется удачливее и, прямо скажем, сообразительнее автора этой книги. Я же в заключение замечу только, что рукопись «ОЗ» поме-

щена мною в книге без каких-либо исправлений и пропусков. Я позволил себе только разбить ее на части в примерном соответствии с тем, как сам читал ее в то страшное лето (урывками, по ночам).

Игорь В. МЫТАРИН

Дневник. 10 июля (ночь на 11-е)

Только что вернулся из патруля. Левое ухо распухло как оладья. А было так.

Мы уже попрощались. Иван с Сережкой пошли своей дорогой, а я — своей. И тут у ворот в Парк космонавтов я вижу, как трое «дикобразов» прижали своими мотоциклами двух парнишек, явных флюверов, к запертым воротам и, очевидно, намереваются учинить над ними какое-то хулиганское действие. Я по всем правилам науки издал воинственный клич матмеха и выступил на защиту Флоры, как будто она уже занесена в Красную книгу. Я и глазом моргнуть не успел, как «дикобразы» накидали мне по ушам. Говоря серьезно, все могло бы кончиться вовсе не забавно, если бы не подоспели Ванька с Серегой, услышавшие беспорядок за два квартала. «Дикобразы» моментально оседлали свою технику и были таковы. Но что характерно! Флюверы, за которых я пролил свою благородную кровь, оказались таковы в тот же миг, когда «дикобразы» обратили свое внимание от них на меня. Дерьмо.

А во время патрулирования мы говорили главным образом о «неедяках». Не помню, кто начал этот разговор и почему. Я рассказал ребятам, откуда появилось это слово — они представления об этом не имели.

(Позднее примечание. Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель середины прошлого века Илья Варшавский. У него «неедяки» — всем довольные жители иной планеты, прогресс коей начался только после того, как пришельцы-земляне напустили на них блох.)

Ваня Дроздов относится к нашим «неедякам» чрезвычайно просто. Для него они делятся на два типа. Первый — люмпены, бродяги, тунеядцы вонючие, хламидомонады, Флора сорная, бесполезная. Второй — философы неумытые, доморощенные, блудословы, диогены бочкотарные, неумехи безрукие, безмозглые и бездарные. Один тип другого стоит, и хорошо было бы первых пропереть с глаз долой

куда-нибудь на болота (пусть там хоть медицинских пиявок кормят, что ли), а вторым дать в руки лопаты, чтобы рыли судоходные каналы от нашей Ташлицы до Арала. Иван, будучи мастером-брынзолем, чрезвычайно суров к людям, не имеющим профессии и не желающим ее иметь.

Впрочем, бескомпромиссное отношение его к «неедакам» носит характер скорее теоретический. У Сережки невеста из семьи «неедаков», и Иван на весь город объявляет с упреком: «Танькин папан? Что ты мне про него болбочешь? Он же человек! А я про нищедухов тебе!» Тогда я рассказываю ему про дядю моего Мишеля. И снова: «Слушай, это же совсем другой обрат! Разве я тебе о таких толкую? У него же талант!»

Смех смехом, а в результате всего этого трепана у меня сформулировалась довольно любопытная классификация нынешних «неедак».

Класс А. «Элита». Доморощенные философы, неудавшиеся художники, графоманы всех мастей, непризнанные изобретатели и так далее. Инвалиды творческого труда. Упорство, чтобы творить, есть. Таланта, чтобы творить, нет, и на этом они сломались. Между прочим, Мишкин дядя тоже, конечно, элита, но совсем в ином роде. Г. А. называет таких людей резонаторами и утверждает, что они — большая редкость. Некий странный взбрык развития цивилизации. Действительно, поскольку цивилизация порождает такое явление, как поэзия, должны, видимо, возникать индивидуумы, приспособленные ТОЛЬКО к тому, чтобы потреблять эту поэзию. Они не способны производить ни материальные, ни духовные блага, они способны только потреблять духовное и резонировать. И вот это их резонирование оказывается чрезвычайно важным для творца, важнейшим элементом обратной связи для того, кто порождает духовное. (Странно, что дегустаторы чая, вина, кофе, сыра — уважаемые профессионалы, а дегустатор, скажем, живописи — не критик, не искусствовед, не болтун по поводу, а именно природный, интуитивный дегустатор — считается у нас тунеядцем. Впрочем, ничего странного здесь нет.)

Класс Б. Назовем их «воспитатели». Всю свою жизнь и все свое время они посвящают воспитанию своих детей и совершенствованию своей семьи вообще. Они почти не участвуют в процессе общественного производства, они замкнуты на свою ячейку, они отдельны. Это раздражает. В том числе и меня. Однако я понимаю осторожность Г. А., когда он отказывается дать однозначную оценку этому явлению.

Рискованный эксперимент, говорит он. Если бы это зависело только от меня, я бы, наверное, не разрешил его, говорит он. Очевидно, что получиться может все что угодно. Пока известны дети «неедяк-воспитателей», и вполне удачные, и не совсем чтобы очень.

Класс В. «Отшельники». Желаящие слиться с природой. Руссо, Тора, все такое. «Жизнь в лесу». В этих людях нет ничего нового, они всегда были, просто сейчас их стало особенно много. Наверное, потому, что туристическое оборудование сделалось дешево и общедоступно, в особенности списанное военно-походное снаряжение. Да и консервы для домашних животных распространились и стоят гроши.

И наконец, класс Г. Г оно и есть Г. (Зачеркнуто.) Люмпены. Флора. Полное отсутствие видимых талантов, полное равнодушие ко всему. Лень. Безволие. Максимум социальной энтропии. Дно.

Не знаю, куда отнести «дикобразов» с их мотоциклами и садизмом, а также «птеродактилей» с ихними дельтапланами и садизмом же. Какая-то разновидность технизированной Флоры. Полуедайки, полууголовники.

Получившаяся классификация, я надеюсь, содержательна. Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный фловвер, который от лени готов ходить под себя, — что общего между ними? Отвечаю: чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех «неедяк» настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей. Чеканная формулировка. Надо будет рассказать Г. А.

Кстати, нынче утром Г. А. вручил мне довольно солидную, музейного вида папку и сказал, что рекомендует ее мне как некую литературу к моему отчет-экзамену. Сто двадцать четыре нумерованных страницы. На обложке цифры: ноль-три. А может быть, буквы — О и З. Судя по всему, чей-то дневник. Какого-нибудь древлянина. Читать нет ни малейшего желания, но, вручая, Г. А. был настолько многозначителен и настойчив, что читать придется. Буду читать каждый вечер перед сном. Страниц по десять.

Ну какое отношение к моему отчет-экзамену могут иметь такие строки: «Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой...»?

Ухо болит. Возьми велосипедную цепь. Туго обмотай

изолентой в десять — пятнадцать слоев. Образовавшийся предмет хватай за любой конец, а другим бей. По уху.

«We must find a way... to make indifferent and lazy young people sincerely eager and curious — even with chemical stimulants if there is no better way»*

По сути, это вопль отчаяния. Но как тут не завопить? Ведь, по сути, мы обязаны чуть ли не любой ценой создать человека с заданными свойствами. У Шкловского почти об этом сказано: «...если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришлось бы в голову выписывать дедушку из Африки».

Рукопись «ОЗ» (1—3)

1. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странноват он был и, возможно, даже уникален вычурной своей и неудобоописуемой архитектурой. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на два квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего, фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы, прямоугольные тоннели висели над высоченными арками — и для каких же, интересно, целей разрезали фасад узкие, до пятого этажа ниши? Неужто для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? И зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты?

Леса давно были уже разобраны и увезены, и стекла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызвали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, — но все пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собою сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые, частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями, и битые кирпичи, и трес-

* «Мы обязаны изыскать способ... превращать безразличных и ленивых молодых людей в искренне заинтересованных и любознательных — даже с помощью химических стимуляторов, если не найдется лучшего способа» (англ).

нувшие шлакблоки со ржавой арматурой, и завитые неведомой силою в спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батареей парового отопления, и какие-то расплющенные ведра, а между одиннадцатым и двенадцатым подъездом пребывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей.

Дом был сдан под ключ, но жильцов в доме не было и в помине. Пусто было на лестничных пролетах, пусто, темно и тихо, и пахло краской и нежильем, и мертво стыли коробки лифтов, поднятые к самой крыше. Все двери всех подъездов казались плотно и надежно запертыми, да так оно, наверное, и было на самом деле, однако в дом войти было можно. В него входили. И наверное, выходили тоже. Во всяком случае, на каменных ступеньках тринадцатого подъезда, ведущего в южную торцовую башню, обнаруживались грязные следы. На длинной крашеной ручке парадной двери криминалист без труда обнаружил бы отпечатки пальцев. Пыль на цементном полу вестибюля кое-где свернулась во множественные шарики, как будто некто, войдя с улицы, энергично отряхнул здесь свою промокшую под дождем шляпу.

И кто-то забыл, или бросил за ненадобностью, или потерял в панике ветхий полураскрытый чемоданчик на лестничной площадке четвертого этажа, и высовывалось из чемоданчика вафельное полотенце сомнительной свежести. А на площадке восьмого этажа, в углу, у двери в квартиру номер пятьсот шестнадцать, отсвечивали тускло две стреляные гильзы — то ли опять же потерянные здесь кем-то, а скорее всего, лежащие там, куда выбросило их отсечкой-отражателем. При этом дверь квартиры пятьсот шестнадцать, как и всех почти квартир этого дома, была плотно заперта и не открывалась с тех пор, как покинул эти места бригадир бригады отделочников. Или, скажем, бригадир бригады сантехников.

Открыта же была в этом доме одна-единственная квартира — почему-то без номера, а если считать по логике расположения, то квартира номер пятьсот двадцать семь — трехкомнатная, по замыслу, квартира на двенадцатом, последнем этаже южной торцовой башни.

В одной из комнат этой квартиры окно выходило на проспект Труда. Сама комната была оклеена дешевенькими, без претензий, обоями, торчали из середины потолка скрученные электропровода, паркетный пол, хотя и довольно гладкий, все-таки нуждался в циклевке, а в дальнем от окна углу

стоял забытый строителями деревянный топчан, густо заляпанный известкой и масляной краской.

В этой комнате разговаривали. Двое.

Один стоял у окна и смотрел вниз, на грязевые пространства под серым морозящим небом. Он был огромного роста, и была на нем черная хламида, совершенно скрывававшая его телосложение. Нижний край ее свободно располагался на полу, а в плечах она круто задиралась вверх и в стороны наподобие кавказской бурки, но так энергично и круто, с таким сумрачным вызовом, что уже не о бурке думалось, — не бывает на свете таких бурок! — а о мощных крыльях, скрытых под черной материей. Впрочем, никаких крыльев, конечно, там у него не могло быть, да, наверное, и не было, — просто такая одежда необычайного и непривычного фасона. И не была эта одежда более странна и непривычна, чем сам ее материал с чудящимися на нем муаровыми тенями: ни единой складки не угадывалось на поразительной хламиде, ни единой морщины, так что казалось временами, будто и не одежда это никакая, а мрачное место в пространстве, где ничего нет, даже света.

А на голове стоявшего у окна был несомненно парик, белый, может быть, даже пудренный, с короткой, едва до плеч косицей, туго заплетенной черным шнурком.

— Какая тоска! — произнес он словно бы сквозь стиснутые зубы. — Смотришь — и кажется, что все здесь переменялось, а ведь на самом деле — все осталось, как и прежде...

Его собеседник отозвался не сразу. Видимо совсем не боясь испачкаться, он сидел на топчане, скрестив короткие, не достающие до пола ножки, и быстро проглядывал пухлый растрепанный блокнот, то и дело подхватывая и водворяя на место выпадающие странички. Маленький, толстенький, грязноватый человек неопределенного возраста, в сереньком обтерханном костюмчике: брюки дудочками, спустившиеся носки, тоже серые, и серые же от долгого употребления штиблеты, никогда не знавшие ни щетки, ни гуталина, ни суконки. И серенький скрученный галстук с узлом, как говорят англичане, под правым ухом.

Человечку этому было, наверное, жарко, пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота, влажные белесые волосенки прилипли к черепу, сквозь них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человек снял, и они неопрятной, насквозь мокрой кучей валялись в уголке вместе с разбухшим обшарпанным портфелем вре-

мен первого нэпа. Совершенно обыкновенный человек, не чета тому, что черной глыбой возвышался перед окном.

— Зато как ВЫ изменились, Гончар! — откликнулся он наконец. — Положительно, вас невозможно узнать! Да вас и не узнает никто...

Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка. Кольхнулись крылья черной хламиды.

— Я говорю не об этом, — сказал он. — Вы не понимаете.

Серый человечек словно бы не слышал его. Он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот: то один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюриком, и даже дымок как будто взвивался! — а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы.

— Вы и не можете понять, — продолжал тот, что стоял у окна. — Все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось... Я же смотрю свежим глазом. И я вижу: какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как будто это тайна какая-то за семнадцатью замками!..

— За семью печатями, — поправил серый человечек рассеянно.

— Да. Конечно. За семью печатями... Вот, полюбуйте на них: прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные... Да они же пьяны!

— О да, здесь это бывает, — произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна, в гладкое черное пространство под косицей. — Последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест, обещаю вам. Не капризничайте. Раньше вы не капризничали!

Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром.

Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, — словно шрамами по сторонам узкого, как шрам, безгубого рта, искривленного то ли застарелым парезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством

по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лица — зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яри-медянке, о неопрятных окислах на старой, давно не чищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи.

Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда, при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением — яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая полуобморочная тишина.

— Это не каприз, — произнес тот, что стоял у окна. — Я и раньше ненавидел пьяных — всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли... Может быть, мне с этого и надо было все тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени!.. А теперь, я вижу, уже поздно... Вы заметили: вчерашний клиент явился навеселе! Ко мне! Сюда!

— Да им же страшно! — сказал серенький человек с укоризной. — Попытайтесь же понять их, Ткач, они боятся вас!.. Даже я иногда боюсь вас...

— Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом... Все это я уже от вас слышал: человек разумный — это не всегда разумный человек... хомо сапиенс — это возможность думать, но не всегда способность думать... и так далее. Я не занимаюсь самоутешением и вам не советую... Вот что: пусть у меня будет здесь помощник. Мне нужен помощник. Молодой, образованный, хорошо воспитанный человек. Мне нужен человек, который может встретить клиента, помочь ему одеть пальто...

— Надеть, — произнес серенький человек очень тихо, но стоявший у окна услышал его.

— Что?

— Надо говорить «надеть пальто».

— А я как сказал?

— Вы сказали «одеть».

— А надо?

— А надо — «надеть».

— Не ощущаю разницы, — высокомерно сказал тот, что стоял у окна.

— И тем не менее она существует.

— Хорошо. Тем более. Я же говорю: мне нужен образованный человек, в совершенстве знающий местный диалект.

— Нынешние молодые люди, Кузнец, плохо знают свой язык.

— И тем не менее мне нужен именно молодой человек. Мне будет неудобно командовать стариком, а я намерен именно командовать.

— Здесь никто ничего не делает даром, — намекнул серый человечек с цинической усмешкой. — Ни старики, ни молодые. Ни воспитанные, ни хамы. Ни образованные, ни игнорабусы... Разве что какой-нибудь восторженный пьяница, да и тот будет все время в ожидании, что ему вот-вот поднесут. Из уважения.

— Ну что ж. Никто не заставит его работать даром... Как вы болтливы, однако. Есть у вас кто-нибудь на примете?

— Вам повезло, Хнум. Есть у меня на примете подходящая особь. Сорок лет, кандидат физико-математических наук, воспитан в такой мере, что даже умеет пользоваться ножом и вилкой, почти не пьет. А что же касается жизненного существа его, воображаемого отдельно от тела...

— Увольте! Увольте меня от ваших гешефтов! Скажите лучше, что он просит. Цена!

— Я в этом плохо разбираюсь, Ильмаринен. Гарантирую, впрочем, что просьба его вас позабавит. Другое дело — сумеете ли вы ее выполнить!

— Даже так?

— Именно так.

— И вы полагаете, что это лежит за пределами моих возможностей?

— А вы по-прежнему полагаете, будто можете все на свете?

Черно-красное яблоко глянуло на серенького поверх левого крыла, и человечек вновь отпрянул и потупился.

— Укороти свой поганый язык, раб!

Наступила звенящая тишина, и только через несколько долгих секунд неукротенный серенький человек пробормотал:

— Ну зачем же так высокопарно, мой Птах? Зовите меня просто: Агасфер Лукич.

— Что еще за вздор, — с отвращением произнес стоявший у окна. — При чем здесь Агасфер?..

2. Действительно, при чем здесь Агасфер? Я специально смотрел: того звали Эспера-Диос (что означает «надейся на бога») и еще его звали Ботадеус (что означает «ударивший бога»). Это был какой-то древний склочный еврей, прославившийся в веках тем, что не позволил несчастному Иисусу из Назарета присесть и отдохнуть у своего порога — у Агасферова порога, я имею в виду. За это бог, весьма щепетильный в вопросах этики, проклял его проклятием бессмертия, причем в сочетании с проклятием безостановочного бродяжничества: «Встань и иди!»

Так вот начнем с того, что Агасфер Лукич никакой не еврей и даже не похож. Внешне он больше всего напоминает артиста Леонова (Евгения) в роли закоренелого холостяка, полностью лишённого женского ухода и пригляда, — в жизни не видел я таких засаленных пиджаков и таких заношенных сорочек. Далее, Агасфер Лукич, конечно, дьявольски непоседлив и подвижен (на то он и страховой агент, волка ноги кормят), однако спит он, как все нормальные люди (плюс еще часок после обеда), и никакие мистические голоса не командуют ему, едва он заведет глаза: «Встань и иди!»

Я познакомился с ним в конце лета, когда, вернувшись с того злосчастного симпозиума в Ленинграде, обнаружил, что в номер ко мне подселили за время моего отсутствия некоего деятеля, совершенно постороннего и к обсерватории отношения не имеющего. Негодование мое, наложившееся на все те неприятности, которые я услышал в Ленинграде, выбило меня из обычной колеи до такой степени, что я унизился до скандала. Я накричал на дежурную, ни в чем, разумеется, не повинную. Я сцепился по телефону с Суслопариным, обвинил его в коррупции и швырнул на полуслове трубку. Я бы и Карла моего Гаврилыча не пощадил, конечно, — уж я бы объяснил ему, что быть директором обсерватории означает в первую очередь обеспечивать комфортные условия жизни для наблюдателей, — да, по счастью, оказался он в то время в Москве, в Академии наук. Я со стыдом вспоминаю сейчас тогдашнее свое поведение. Но уж очень это достало меня тогда: вхожу в номер — в свой, законный, раз и навсегда за мною закрепленный, — и вижу на столе своем чьи-то безобразного вида носки, небрежно брошенные поверх моей рукописи...

Впрочем, как это часто случается в жизни, все оказалось вовсе не так уж страшно и беспросветно.

Агасфер Лукич проявил себя как человек чрезвычайно

легкий и приятный в общении. Он был абсолютно безобиден, он ни на что не претендовал и со всем был согласен. Он тут же постирал свои носки. Он тут же угостил меня красной икрой из баночки. Он знал невероятное количество безукоризненно свежих и притом смешных анекдотов. Его истории из жизни никогда не оказывались скучными. И он умудрялся совсем не занимать места. Он был — и в то же время как будто и отсутствовал, он появлялся в поле моего внимания только тогда, когда я был не прочь его заметить. Он был на подхвате, так бы я выразился. Он всегда был на подхвате.

Но при всем при том было в нем кое-что, мягко выражаясь, загадочное. Он-то сам очень стремился не оставлять по себе впечатления загадочного, и, как правило, это ему превосходно удавалось: комический серенький человечек, отменно обходительный и совершенно безобидный. Но нет-нет, а мелькало вдруг в нем или рядом с ним что-то неуловимо странное, настораживающее что-то, загадочное и даже, черт побери, пугающее. Например, эта поразительная его записная книжка... или манера класть на ночь свое искусственное ухо в какой-то алхимический сосуд... или другая манера — бормотать что-то неразборчивое в отключенный телефон... но это ладно, это потом. И я уже не говорю про портфель его!

Первое, что удивляло, это — за какие такие невероятные заслуги ничтожного страхового агента подседают ко мне, к без пяти минут доктору, к человеку, прославившему эту обсерваторию... Да разве в науке здесь дело — что нашему Суслопарину до науки? Ко мне, к личному другу директора, подседают серенького страхагента! Милостивые государи мои! Наш заместитель по общим вопросам товарищ Суслопарин К. И. никогда и ничего не делает зря и ничего и никому не делает даром. Видимо, какую-то огромную, мало кому известную пользу можно, оказывается, извлечь из системы государственного страхования, и мы с вами, простые смертные, чего-то здесь недопонимаем, и недополучаем мы чего-то весьма значительного, опрометчиво проходя мимо заглядывающего нам в глаза скромного человека, жаждущего всучить нам договор из трех рублей в год... Загадка эта была сформулирована мною в первый же день знакомства с Агасфером Лукичом, но при прочих моих заботах и неприятностях того времени оставила меня в общем и целом равнодушным. Какое в конце концов мне дело до хитрых махинаций товарища Суслопарина?

Удивляло, конечно, почему он Агасфер. Хотелось все время спросить: при чем тут Агасфер? Что это за Лука такой нашелся, что назвал родного сына Агасфером? (Или, может, не родного все-таки? Тогда не так жалко, но все равно непонятно...) Да ведь не станешь же спрашивать малознамого человека, откуда у него такое имя, а на облический вопрос о родителях Агасфер Лукич ответил мне: «О, мои родители — они были так давно...» — и тут же перевел разговор на другую тему.

Удивляла популярность Агасфера Лукича в Ташлинске. Когда я уезжал в Ленинград, никто здесь о нем и слыхом не слыхивал, а теперь, спустя всего две недели, не было, казалось, ни одного человека ни в обсерватории, ни даже в городе, чтобы в Агасфере Лукиче не был заинтересован. Даже совсем незнакомые мне люди останавливали меня на улице (в магазине, на терренкуре, на автобусной остановке), чтобы справиться, как идут дела у Агасфера Лукича, и передать ему самые благие пожелания. Хуже того: после вороватых озираний по сторонам сообщалось что-нибудь вроде того, что договор-де можно бы и подписать, но только сумму страховки неплохо бы было удвоить. И странное дело! Когда я об этом Агасферу Лукичу сообщал, он всегда мгновенно понимал, о ком именно идет речь, словно заранее ждал эти приветы и эти предложения, и тут же из недр затерханного пиджачка появлялась знаменитая его записная книжка, и вываливающиеся страницы принимались порхать в его пальцах с такой скоростью, что казалось, будто они вот-вот загорятся от трения о воздух. И загорались ведь, я видел это собственными глазами и не раз: загорались, горели и не сгорали...

Воистину, Агасфер Лукич, говорил я ему с опаской, воистину, страховое дело в наши дни требует от своих адептов способностей вполне необычайных. На что он обычно отвечал мне со странным своим смешком: «А как же, батенька. Конкуренция! Нынешний страховой агент — это, знаете ли, человек высоко и широко образованный, это, батенька, дипломированный инженер или кандидат наук! Изошренность потребна, батенька, одной науки мало, надобно еще и искусство, а иначе того и гляди перехватят клиента, чихнуть со вкусом не успеешь!»

Наукой здесь не пахло. Пахло мистикой. Преисподней здесь пахло, государи мои! Эта мысль приходила на ум всякому, кто хоть раз видел в действии портфель Агасфера Лукича. Портфель этот был таков, что с первого взгляда не

производил какого-нибудь особенного впечатления: очень большой, очень старый портфель, битком набитый папками и какими-то бланками. Обычно он мирно стоял где-нибудь под рукой своего владельца и вел себя вполне добропорядочно — но только до тех пор, пока Агасферу Лукичу не подступала надобность что-нибудь в него поместить. То есть когда Агасфер Лукич что-нибудь из этого портфеля доставал, портфель реагировал на это, как любой другой битком набитый портфель: он сыто изрыгал из недр своих лишние папки, рассыпал какие-то конверты, исписанные листы бумаги, какие-то диаграммы и графики, подсовывал в шарящую руку ненужное и прятал искомое. Однако же когда портфель открывали, чтобы втиснуть в него что-нибудь еще (будь то деловая бумага или целлофановый пакет с завтраком), вот тут можно было ожидать чего угодно: фонтанчика ледяной воды, клубов вонючего дыма, языка пламени какого-нибудь и даже небольшой молнии с громом. По моим наблюдениям, Агасфер Лукич и сам несколько остерегался своего портфеля в такие минуты.

Это о портфеле.

А теперь о телефоне. Агасферу Лукичу звонили довольно часто, и тогда он брал трубку, выслушивал и отвечал что-нибудь краткое, например, «Согласен» или, наоборот, «Не пойдет», а иногда даже просто «Угу» и сразу клал трубку, а если ловил при этом мой взгляд, то немедленно прижимал к груди короткопалую грязноватую лапку и безмолвно приносил извинения.

По своему же почину он прибегал к телефону редко, и выглядели такие его акции дешевым аттракциончиком. Извинительно улыбаясь, он выдергивал телефонную вилку из розетки, уносил освободившийся аппарат в свой угол и там, снявши трубку и отгораживаясь от меня плечом, принимался дудеть в нее что-то малоразборчивое, так что я схватывал только отдельные слова, иностранные какие-то слова, а может, и не просто слова, а имена собственные, очень меня в те времена интриговавшие. Откровенно говоря, все это было не столько даже странно, сколько смешно. Меня раздражало, я хохотал, несмотря на владевшее мною тогда дурное настроение. Я полагал, что он меня таким образом развлекает, этот серенький потешный клоун, но однажды я случайно проснулся в необычную для меня рань и стал свидетелем того, как он разыгрывает эту свою телефонную пантомиму, полагая меня спящим. И оказалось тогда, что ни-

чего смешного во всем этом нет. Страшно это было, до обморока страшно, а вовсе не смешно...

Я сижу сейчас на заляпанном известкой топчане в пустой комнате, оклеенной дешевенькими обоями, совершенно один, жду и трусливо поглядываю на дверь в Кабинет, и дверь эта, как всегда, распахнута настежь, а за нею, как всегда, космический мрак, и, как всегда, неохотно разгораются там и сразу же гаснут белесые огни.

Я пишу все это, потому что не знаю иного способа передать свое знание еще хоть кому-нибудь, пишу плохо, «темно и вяло», пишу сумбурно, ибо многое спуталось в моей бедной памяти, пораженной увиденным. Я раздавлен, унижен, растерян и потерян.

У нас есть чувство глубокого удовлетворения, есть чувство законного негодования, а вот с чувством собственного достоинства у нас давно уже напряженка. Поэтому, когда наш немудрящий опыт и наша многоопытная мудрость, столь же глубокая, как глубокая тарелка для супа, сталкиваются даже не с жутковатым Агасфером Лукичом или с его вполне жутким партнером (хозяином? творцом?), а просто хотя бы и с отпетым хамом или образцово-показательным подлецом — мы, как правило, теряемся. Нам бы опереться тут на чувство собственного достоинства, раз уж недостает мудрости или хотя бы жизненного опыта, но собственного достоинства у нас нет, и мы становимся циничными, небрежными и грубо-ироничными. Так что пусть никого не удивляет тот ернический тон, в котором пишу я обо всех этих моих обстоятельствах. Ничего забавного и занимательного в них нет. На самом деле мне страшно. И всегда было страшно. Я уж не помню, с какого момента. По-моему, с самого начала...

3. Приемная наша более всего напоминает мебельный склад. Югославский гарнитур «Архитектор» из тридцати семи предметов чудом втиснут на площадь в 18,58 квадратного метра. Здесь есть два трельяжа, чудовищная, невообразимая, необозримая кровать, на которой лежат двенадцать полумягких стульев, а могло бы валяться двенадцать десантников со своими девками. Имеют место и какие-то застекленные шкафы неизвестного назначения, и микроскопическая книжная стенка, уставленная муляжами книг, выполненными весьма реалистично. (Помнится, увидевши впервые золотыми буквами на корешках Р. Киплинг, Петроний Арбитр, Эдгар Раис Берроуз, я среагировал мгновенно и не-

произвольно: «Все! Это я сопру, и будь что будет!» И каково же было разочарование мое, когда, выдернув вожделенный томик, обнаружил я в руках своих пустую картонную обложку, и вынырнувший у меня из-под локтя Агасфер Лукич произнес сочувственно: «Декорация, Сережа. Всего лишь декорация». Впрочем, со временем обнаружилось у нас в квартире и настоящие книги, множество книг. Однако все это были словари да энциклопедии, только словари, справочники, руководства и энциклопедии: «Словарь атеиста», «Техническая энциклопедия», «Медицинский справочник для фельдшеров», «Краткий словарь по эстетике», «Мифологический словарь», «Дипломатический церемониал и протокол», «Справочник по экспертизе филателистических материалов», «Словарь ветров»... Видимо, подразумевалось, что я должен стать эрудитом. И я попытался им стать. Без особого, впрочем, успеха.)

Есть в Приемной два кресла лоснящейся коричневой кожи, одно — для посетителей, а другое — непонятно для кого, ибо из самой середины его сиденья совершенно открыто и нагло торчит длинный стальной шип сантиметров двадцати, да такой острый, что озноб пробирает по коже за того беднягу, которому предназначено устроиться на нем.

Кроме этого шипа есть в Приемной и другие предметы, не входящие в югославский гарнитур. Очень большие и разношенные полосатые тапочки выглядывают из-под кровати. В самом дальнем углу, куда я так до сих пор и не сумел добраться, торчком стоят толстые рулоны — то ли географических карт, то ли линолеума, то ли ковров, а быть может, и просто бумаги. Рядом с рулонами, загораживая половину окна, висит картина на античный сюжет: Сусанна и сладострастные старцы. Старцы там как старцы, и Сусанна в общем-то как Сусанна, но почему-то с большим penisом, изображенным во всех анатомических подробностях. Рядом с этими подробностями морщинистые физиономии и масляные глазки старцев и даже их рдеющие плечи приобретают совершенно особенное, не поддающееся описанию выражение.

И великое множество телевизоров. Число их и модели все время кем-то меняются, но никогда их не бывает меньше четырех. Включать и выключать их я не умею, они включаются и выключаются сами собой. И сами собой они наводятся на резкость, и сами собой устанавливают контрастность, и сами выбирают себе программу, и, надо сказать,

странноватые, как правило, оказываются у них программы. Помню, однажды вдруг пошла передача из прозекторской. Точнее, художественный фильм из жизни патологоанатомов. Изумительное изображение, пиршество красок, показалось — даже запахами потянуло. Клиента, застигнутого этой передачей, мне пришлось спешно выволакивать в санузел, и все-таки он заблевал мне часть Приемной и весь коридор. (Помнится, он был начфином Н-ского стройбата и пришел выпрашивать для нашего советского рубля статуса свободно конвертируемой валюты.) Или, помнится, однажды «Джей-ви-си» битых полтора часа передавал в черно-белом варианте практические уроки — как восстанавливать и затачивать иголки для примуса. Это надо же, оказывается, и такие иголки еще существуют.

Телефоны. Их всегда три. Один стоит на моем столике — роскошный, с кнопочным управлением, с запоминающим устройством на двести пятьдесят шесть номеров, с маленьким встроенным экраном и с дисководом для гибких дисков. Он не работает. Второй телефон присобачен к филенке двери позади моего рабочего места. Это обыкновенный таксофон, можно бросить монетку и позвонить родным и близким, у кого они есть. Можно не звонить. Иногда он раздражается отвратительными квакающими звуками. Я снимаю трубку, и Демиург говорит мне что-нибудь, не предназначенное для ушей клиента. Как правило, это распоряжение из ресторанно-отельного репертуара. «Такому-то на обед полпорции солянки, да погорячее». Или: «Постельное белье в номерах опять сырое. Проследите». Или даже: «Сергей Корнеевич, не в службу, а в дружбу. Башка трещит, сил нет. У вас там, кажется, был пенталгин...» Тогда я извиняюсь перед клиентом и бегу отрабатывать свой хлеб. Смысла или хотя бы простой логики во всем этом я уже давно не ищу... Что же касается третьего телефона, то это золотой предмет в стиле ретро, в сумраке он светится, и толку от него никакого, потому что стоит он на шкафу, перед которым расположено трюмо, перед которым, в свою очередь, стоят друг на друге две полированные тумбочки для постельного белья. Иногда этот золоченый мегатерий звонит. Звон у него нежный, мелодичный, он радует слух. Так что толку от него все же больше, чем от Сусанны.

Каждое утро я ползаю, карабкаюсь, протискиваюсь среди всего этого добра с пылесосом. Пылесос у нас замечательный. Собранную пыль он прессует в брикеты. Брикеты я сдаю под расписку Агасферу Лукичу, он составляет акт

о списании и бросает эти брикеты в свой портфель. Расписку и акт я обязан вручать лично Демиургу. Совершенно не могу понять, откуда в Приемной набирается столько пыли. Ей-богу, каждые сутки граммов на двести брикетов...

Особенная пылица собирается почему-то в платяном шкафу. Есть в Приемной такой, вполне доступный, и в нем полно одежды. На все возрасты и на все вкусы. Там можно найти мужской костюм-тройку, совершенно новый, ни разу не надеванный. А рядом будет висеть мятый плащ-болонья с рукавом, испачканным уличной засохшей грязью, и в кармане плаща найдется смятая коробка «Примы» с единственной, да и то лопнувшей сигаретой. В шкафу можно обнаружить и школьную форменную курточку с заштопанными локтями, и великолепное мохнатое пальто с плеча какого-то современного барина, и полный кожаный женский костюм с отпечатками решетчатой садовой скамейки на задку и на спине, и целый кочан разноцветных мужских сорочек, нацепленных на одну распялку... А внизу, в слое старой и новой разрозненной обуви, я нашел вчера табель ученика пятого «А» класса 328-й школы Манохина Сергея с оценками за первую четверть 1958 года с двойкой по истории и с двумя тройками — по рисованию и по физкультуре...

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он...

Дневник. 12 июля

...Это примерно в пятнадцати километрах от города.

На десятом километре северо-восточного шоссе надо свернуть налево на грунтовую дорогу. Дорога петляет между холмами и все время идет почти параллельно Ташлице, которая протекает здесь между высокими обрывистыми берегами белой и красной глины. Холмы округлые, выгоревшие, покрыты короткой жесткой колючей травкой. Пыль за машиной поднимается до самого неба. Километра через два после поворота слева от дороги открывается вид на древний скотомогильник. Огромная страшная гора лошадиных, бараньих, коровьих черепов, хребтов, лопаток, ребер, кости эти белые, как пыль, глазницы черные. Впечатляет. Г. А. говорит, что этому скотомогильнику лет сто, а может быть, и двести.

От скотомогильника по спидометру ровно три километра — и попадаешь в райский уголок. Это распадок между холмами, большие деревья, тень, прохлада, мягкая зеленая трава, кое-где выше пояса. Ташлица делает здесь излучину и разливается, образуя заводь. Гладкая черная вода, листья кувшинок, заросли камыша, синие стрекозы. Парадиз. Потерянный и возвращенный рай.

Впрочем, вид стойбища Флоры основательно портит это впечатление. Похоже, они раздобыли где-то оболочку старого аэростата и набросили ее на верхушки молодых деревьев и высокого кустарника, так что получилось нечто вроде огромного неряшливого шатра неопределенного грязного цвета с потеками. Видимо, под этим шатром они всей толпой спасаются от дождей. Трава вокруг вытоптана и стала желтая. Неопишное количество мятых бумажек, оберток, рваных полиэтиленовых пакетов, окурков и пустых консервных банок и бутылок. Запахи. Мухи. Множество черных выгорелых пятен — кострища. Тошнит на это глядеть, честное слово.

Между кустами натянуты веревки. На веревках сушится тряпье: майки, юбки, пятнистые комбинезоны, подозрительные какие-то подштанники... На других веревках вялится рыба. Оказывается, в Ташлице довольно много рыбы, кто бы мог подумать! Несколько костров дымится, булькают закопченные котелки над огнем. Сорок тысяч лет до новой эры. А в отдалении, сцепившись рогами, теснится целое стадо мотоциклов.

Фловеры нашим прибытием заинтересовались, но пассивно. Кто сидел — остался сидеть, кто лежал — остался лежать, а прямостоящих или прямоходящих я не заметил там ни одного. Множество лиц повернулось в нашу сторону, множество рук поднялось, но не для приветствия, а чтобы прикрыть глаза от низкого солнца. Судя по движениям губ, последовал множественный обмен неслышными репликами. И только.

Павианий вольер, вот на что это было похоже больше всего. Было их там сотни две особей. Г. А. рассказывал, что они собираются сюда каждое лето со всего Союза, живут недели по две и перебредают в другие регионы, а на их место прибредают новые. Однако процентов десять составляют наши, местные, ташлинские. Главным образом школьники. Я искал знакомые лица, но не обнаружил ни одного.

Г. А. достал из багажника кошелку и направился наискосок через стойбище к самому населенному костру, распо-

ложенному в десятке метров от берега. Вокруг костра этого сидело человек пятнадцать, и, когда мы приблизились, народ раздвинулся и освободил нам место, всем троим. Г. А., усевшись, пробормотал: «Принимайте в компанию» — и принялся извлекать из кошелки продукты. Он неторопливо вынимал пакет за пакетом — крупу, консервные банки, леденцы, макароны, твердую колбасу — и, не глядя, передавал девице, сидевшей справа от него. Она брала, говорила: «Спасибо...» — и передавала дальше по кругу. Фловеры оживились, зашевелились. Огромный парень, сплошь заросший (от макушки до пупка) черным курчавым волосом, в десантном комбинезоне, спущенном до пояса, принявши очередной пакет, надорвал его, заглянул внутрь и высыпал содержимое — мелкую вермишель — в кипящий котелок. Фловеры шевелились, усаживались поудобнее, я ловил на себе одобрительные взгляды. Вокруг произносились слова, которые я большей частью не понимал. Это был какой-то совершенно незнакомый жаргон, ужасная смесь исковерканных русских, английских, немецких, японских слов, произносимых со странной интонацией, напомнившей мне китайскую речь, — какое-то слабое взвизгивание в конце каждой фразы. Я несколько раз повторил про себя: «Каждый человек — человек, пока он поступками своими не доказал обратного» — и посмотрел на Микаэля. У Микаэля моего был такой вид, будто его вот-вот вытошнит — прямо на спину Г. А. Я понял, почему Г. А. взял с собой именно его. Он брезглив, наш Майкл, а ведь он не имеет права быть брезгливым. Любовь и брезгливость несовместны.

Г. А. посоветовал покрошить в котелок колбасы. Наголо стриженная девица (с грязноватым лицом и гигантским боа из кувшинок на голых плечах) послушно принялась крошить колбасу. Г. А. не посоветовал сыпать в котелок консервированные креветки, и банка креветок была отставлена. Поварская ложка была уже в руке у Г. А., он ворочал ею в котелке, зачерпывал, пробовал, подувши через губу, и все смотрели теперь на него и ждали его решений. Он сказал: «Соль» — и за солью сейчас же побежали. Он сказал: «Перец» — но перца во Флоре не оказалось.

Я честно наблюдал их, стараясь сформулировать для себя: что они такое? (Я не чувствовал себя учителем, я чувствовал себя этнографом, в крайнем случае — врачом.) Парни были как парни, девчонки как девчонки. Да, некоторые из них были неумыты. Некоторые были грязны до неприятности. Но

таких было немного. А в большинстве своем я видел молодые славные лица — никакой патологии, никаких чирьев, трахом и прочей парши, о которых столько толкуют флороненавистники, — и конечно же все они разные, как и должно быть. И все-таки что-то общее есть у них. То ли в выражении лиц (очень бедная мимика, если приглядеться), то ли в выражении всего тела, если можно так говорить. Расслабленность движений почти нарочитая. Никто не положит предмет на землю — обязательно уронит, вяло разжавши пальцы. И не на то место, с которого взял, а на то место, которое поближе, словно сил уже не осталось протянуть руку...

И еще — непредсказуемость поступков. Я не взялся бы предсказывать их поступки, даже простейшие. Вот сидел-сидел, перекосившись набок, пришла пора хлебать из котелка, а он вдруг встал и лениво удалился — на другой конец стойбища — и там сел у другого костра. А на его место явился новый — длинный и тощий, как шест, в десантном комбинезоне, на широком ремне — фляга, на ногах — эти их знаменитые «корневища», огромные пуховые лапти, выкрашенные в зеленое. Пришел, уселся, отцепил флягу, полил свои корневища водицей и объявил, ни к кому не обращаясь: «Здесь врастаю». И стал, прищурясь, смотреть на Г. А.

Было ему лет двадцать пять, был он гладко выбрит и подстрижен вполне обыкновенно, в расстегнутом вороте комбинезона висела на безволосой груди какая-то эмблемка на цепочке. Живые ореховые глаза, большой рот уголками вверх и отличные белые зубы. Сразу было видно — это ихний предводитель. Нуси. И ни в одном ухе не было у него этих чертовых музыкальных заглушек, функов, из-за которых они выглядят такими сонными и как бы не от мира сего. Этот был вполне от мира сего, невзирая на свой комбинезон, корневища и прочие выгребеньки. И он явно знал Г. А. (Есть у меня подозрение, что и Г. А. его знает. Где-то они уже встречались и не слишком любят друг друга. Однако это все чистая интуиция. Мойша считает, что я все это выдумал.)

Тут почти голая девица, сидевшая слева от меня, тоненько рыгнула, отдулась, облизала ложку и произнесла с удовлетворением:

— Побег дасьта.

(Мишель объяснил мне потом, что это значит. Это — по русско-японски — «дать побег». В прежние времена она сказала бы «словила кайф», а теперь вот — «дала побег». Флора!)

Наевшись, они завозились, устраиваясь на переваривание. Кто-то закурил. Кто-то принялся шумно жевать бекетель, пуская оранжевые слюни. Кто-то захрустел леденцами. Начался зеленый шум. Конечно, я не понимал и половины того, что говорилось, но, по-моему, там и понимать особенно было нечего. Один вдруг заявляет: «Щекотно. Червяки по корням ползают». Другой тут же откликается: «Личинки совсем заели. Дятлов на них нет. И ведь не почешешься». Третий вступает: «Влаги мало. Сухо мне, кусты. Влаги бы мне побольше». И так далее без конца. И видно, что им это очень нравится. Всем без исключения. На лицах блаженные улыбки, и даже глаза блестят.

Потом вдруг поднялся один парень в пестрых плавках и в полосатой распашоночке, отошел на несколько шагов в сторону, выбрал площадку поровнее и принялся выламываться в медленном, почти ритуальном танце. Надо понимать, он плясал под свой функен, так что музыку слышал он один, а мы видели только ритм этой музыки. И нам это нравилось, и, пока он танцевал, зеленый шум притих, все смотрели на танцора, а когда он устал, остановился, сел и лег, все как бы перевели дух, и моя соседка слева снова произнесла: «Побеги дасьта».

Тем временем начало смеркаться, и луна объявилась над деревьями. Ожилились комары. Над заводью возник туман и стал распространяться на прибрежные кусты. Вдруг взрели двигатели, вспыхнули фары, грянула в полную мощь огромная музыка, и дюжина всадников на мотоциклах умчалась прочь — перевалила через вершину ближнего холма, и снова стало тихо.

Какой-то парнишка по ту сторону костра (видимо, новичок, почти не знающий жаргона) принялся рассказывать про суд, который прошел вчера в городе. Трое гомозяг из спецтеха, которые целый год спокойно курочили автомашины и приторговывали запчастями, получили по году принудработ — поскольку руки у них золотые и все сверху донизу характеризуют их положительно. А фловера — Костик из Хабаровска, рыженький такой, без переднего зуба — засадили на месяц клозеты мыть задаром на Тридцатке, на мясокомбинате, — за то, что два батона стяжал в булочной, когда фургон разгружал.

Флора помолчала, усваивая информацию. Кто-то пробормотал: «Круто здесь у них». Пошли вопросы. Как фамилия судьи, сколько заседателей? Почему не шесть? Как

зовут? Кто возбудил дело? Парнишка почти ничего не знал. Он не знал даже, что в суде бывает адвокат. «Тихий ты, куст», — упрекнули его и оставили в покое.

Кто-то стал рассказывать про суд в Челябинске, но это уже был сплошной жаргон, я не понял даже, хороший там в Челябинске был суд или плохой. За что и кого судили, я тоже не понял. «Не суди — не судим будешь», — почти пропел в сумраке женский голос. Слова эти прозвучали пронзительной, отчетливой, высшей правдой после шумовой неубедительности жаргона.

И тут заговорил нуси.

Это была проповедь. На прекрасном литературном языке. Если он и переходил на жаргон, то лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, растолковать самым непонятливым какую-нибудь важную для него формулировку.

Он говорил о Флоре. Он говорил об особенном мире, где никто никому не мешает, где мир, в смысле Вселенная, сливается с миром в смысле покоя и дружбы. Где нет принуждения, и никто ничем никому не обязан. Где никто никогда ни в чем не обвиняет. И поэтому счастлив — счастлив счастьем покоя.

Ты приходишь в этот мир, и мир обнимает тебя. Он обнимает тебя и принимает тебя таким, какой ты есть. Если у тебя болит, Флора отберет у тебя эту боль. Если ты счастлив, Флора с благодарностью примет от тебя твое счастье. Что бы ни случилось с тобой, что бы ты ни натворил, Флора верит и знает, что ты прав. Флора никому не навязывает свое мнение, а ты свободен высказаться о чем угодно и когда угодно, и Флора выслушает тебя со вниманием. За пределами Флоры ты — дичь среди охотников, здесь же ты ветвь дерева, лист куста, лепесток цветка, часть целого.

Он говорил о законах Флоры. Флора знает только один закон: не мешай. Однако, если ты хочешь быть счастливым по-настоящему, тебе надлежит следовать некоторым советам, добрым и мудрым. Никогда не желай многого. Все, что тебе на самом деле надо, подарит тебе Флора, остальное — лишнее. Чем большего ты хочешь, тем больше ты мешаешь другим, а значит — Флоре, а значит — себе. Говори только то, что думаешь. Делай только то, что хочешь делать. Единственное ограничение: не мешай. Если тебе не хочется говорить, молчи. Если не хочется делать, не делай ничего.

Пила сильнее, но прав всегда ствол.

Ты нашел бумажник? Берегись! Ты в большой опасности. Хотеть можно только то, что тебе хотят дать.

Ты можешь взять. Но только то, что не нужно другим.

Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен. Только не надо мешать ему.

(Г. А. сказал потом по этому поводу: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Ча не поймает тебя» — и спросил: «Откуда?»)

В самый разгар проповеди странные звуки привлекли мое внимание. Я взгляделся сквозь дым и обмер. Тот самый бородатый-волосатый (обволощенный) принялся овладевать своей бритой соседкой.

Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было сознавать, что все это видят и Мишка, и Г. А. За флюверов мне тоже было стыдно, но их-то как раз все это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением.

«Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых О-О-О; первый звук О был подчеркнутый, с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, и через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой».

Вопрос: откуда? Ответ: Д. Б. Шаллер. «Год под знаком гориллы».

Рукопись «ОЗ» (4)

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он с небрежностью, показавшейся мне несколько нарочитой, спросил:

— Как там у вас сейчас насчет субстанции?

— Где это — у нас? — осведомился я, пребывая в настроении злобно-ироническом.

— Ну, в Ленинграде, в Москве...

— Да как везде, — сказал я, продолжая оставаться в том же настроении. — Семнадцать тридцать пять. А повезет — так десять с маленьким.

— Ну да, ну да... — промямлил Гриня неопределенно. — Ну, а если, скажем, она особая?

— «Особая»?.. Да ее, по-моему, давно уже не выпускают.

— Да нет, я не про эту «Особую» тебя... — сказал Гриня

нетерпеливо. — Я тебя спрашиваю: особая субстанция — как? Нематериальная, независимая от моего тела!

Я пригляделся к нему, но ничего такого не заметил. Вообще-то Гриня, по моим наблюдениям, был человек непьющий и вполне положительный. Хозяин. Лучший садовый участок при обсерватории. С домиком. Все своими руками. Старый «Москвич» собрал себе своими руками... Он правильно оценил мой взгляд и несколько смутился.

— Да нет, это я так... — проговорил он уклончиво и вдруг принялся рассказывать, как заезжие гастролеры в прошлом году обманули мать его, старуху, выклянчивши у нее за пятерку дедовскую икону, коей цены нет и за которую любой музей отдал бы не глядя два столыника, самое малое.

Я слушал его с недоумением, а он вдруг, оборвав свой рассказ, предложил мне зайти к нему в «домишко» через два часа, чтобы «посвидетельствовать». Он, оказывается, хочет некую сделку совершить, и нужно ему, чтобы при том присутствовал надежный человек.

Не могу сказать, чтобы предложение это пришлось мне по вкусу, однако и отказаться я тоже не мог. Нас с Гриней связывают давние приятельские отношения, еще с начала шестидесятых, когда я был начальником, а он шофером экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки Большого Телескопа. Гриня мне многим был обязан, да и я ему кое-чем обязан был, ибо оба мы были грешны в молодости. Гриня — побольше, я — поменьше, но оба.

И вот спустя два часа, то есть поздним уже вечером, оказался я в Гринином «домишке», что прятался в зарослях каких-то экзотических кустов на его садовом участке. Снаружи стояла глубокая южная тьма, кричали цикады, пахло пряностями и цветами, а внутри под лампой с розовым абажуром за столом, покрытым старенькой, но чисто выстиранной скатертью, некогда роскошной, сидели мы втроем: Гриня (Григорий Григорьевич Быкин, водитель первого класса), я (Сергей Корнеевич Манохин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник) и Агасфер Лукич (Агасфер Лукич Прудков, агент Госстраха).

ГРИНЯ: осведомился у Агасфера Лукича, не возражает ли тот против присутствия здесь вот этого вот свидетеля.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: не только не возражает, но всячески приветствует, ибо знает, ценит и полностью доверяет.

ГРИНЯ: предлагает прямо приступить к делу, потому что мало ли что.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: суетливо и хлопотливо извлекает из переполненного портфеля своего розовые бланки страховых свидетельств и принимается за работу.

ГРИНЯ (с некоторой тревогой): А это на кой хрен понадобилось?

АГАСФЕР ЛУКИЧ (не переставая бегать пером): А как же иначе, батенька? Без этого никак нельзя. Это, можно сказать, всему голова.

ГРИНЯ: с хмурым недоумением смотрит на Агасфера Лукича, затем лицо его вдруг проясняется, словно он что-то понял.

Я: не понимаю ничего, начинаю раздражаться, но пока молчу.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: профессионально сияя, вручает Грине «Страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев».

ГРИНЯ (просматривает свидетельство и ухмыляется): Как раз трешник. Вот потом и вычтешь...

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Само собой, само собой. Тут у меня все учтено. (Достает из портфеля и кладет перед Гринею большой лист плотной белой бумаги, исписанной от руки чрезвычайно красивым, каллиграфически красивым почерком с наклоном влево.)

ГРИНЯ: изнуряюще долго читает текст, шевеля губами, зверски наморщив при этом лоб.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: приятно улыбается.

Я: не знаю, что и думать, испытываю самые неприятные, но решительно неясные подозрения.

ГРИНЯ: дочитав документ по второму разу, с большим сомнением мотает щеками.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Замечания? Дополнения?

ГРИНЯ: Не пойдет так. Не нравится. Тут у вас, например, сказано прямо... (читает вслух): «Передаю мою особую нематериальную субстанцию, независимую от моего тела...» Не пойдет. Насчет субстанции я справки навел, много неясного... Тем более — «особая».

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Понял вас. Разумно.

ГРИНЯ: Во-вторых. Не передаю, а, скажем, отдаю в аренду...

АГАСФЕР ЛУКИЧ: На девяносто девять лет.

ГРИНЯ: Н-н-н... Ладно. Это еще туда-сюда... Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти... Ну ладно. И главное! (Строго стучит ногтем по бумаге.) Прямо здесь должно быть сказано: трешками! Других не приму!

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Момент! (Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладет перед Гриней новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.)

ГРИНЯ: подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.

Я: только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради трех рублей; я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются.

ГРИНЯ (прочитав, передает лист мне): «Ознакомься, Корнеич», — говорит он озабоченно.

Я: ознакомиливаюсь, и волосы мои встают дыбом.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Я, нижеподписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 (девяносто девять) лет, считая с сего 1 августа 19... года, свое религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма, в обмен на 2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять) казначейских билетов трехрублевого достоинства образца 1961 года. Каковая сумма должна оказаться в моем распоряжении в течение двадцати четырех часов с момента подписания мною данного акта:

Дата. Подпись.

Я: в полном обалдении принимаюсь читать все сначала.

ГРИНЯ (скворчит у меня над ухом): Религиозное... это... как его там.... религиозное — это одно, не жалко... А субстанция — совсем другое дело, как ты считаешь, Корнеич?

АГАСФЕР ЛУКИЧ (ласково вещает где-то на краю моего сознания): Очень разумно, очень здраво поступаете, Григорий Григорьевич.

Я (как всегда, слетевши с рельс повседневности, оказавшись в положении идиотском и абсолютно фальшивом, перескакиваю в истинно-мужскую грубоватую иронию и произношу первую же пришедшую на ум пошлость): С тебя полбанки, Гриня, в честь такого дела!

Даже то ничтожное мозговое усилие, которое потребовалось мне, чтобы изрыгнуть вышеприведенную пошлость, оказалось, видимо, в тогдашнем моем состоянии чрезмерным. То ли обморок, то ли прострация овладела мною.

Дальнейшее вспоминается мне урывками. И как бы сквозь некую вуаль. Отчетливо помню, однако, как Агасфер Лукич, опасливо отклоняясь, раскрыл портфель, и оттуда, словно из печки с раскаленными углями, шарахнуло живым жаром, даже угарцем потянуло, а Агасфер Лукич, схвативши (видимо, уже подписанный Гриней) акт передачи, сунул его в самый жар, в багрово тлеющее, раскаленное и торопливо захлопнул крышку, лязгнув железными замками.

— А не сторгит оно там к ядрене-жене? — опасливо спросил Гриня, следивший за всей этой процедурой с понятной настороженностью.

— Не должно, — озабоченно отвечал Агасфер Лукич и наклонил к портфелю живое ухо, как бы прислушиваясь к тому, что происходит там внутри.

Помню также, что Гриня принялся немедленно и без всякого стеснения нас выпроваживать.

— Давайте, давайте, мужики, — приговаривал он, слегка подталкивая меня в поясницу. — Так ты обещаешь, что под орехом? — спрашивал он Агасфера Лукича. — Или под платаном все ж таки? Осторожно, ступеньки у меня тут крутые...

Агасфер же Лукич отвечал ему:

— Именно под орехом, Григорий Григорьевич. Или уж в самом крайнем случае — под платаном...

Затем, помнится, шли мы с Агасфером Лукичом по терренкуру, в кромешной тьме, разнообразной разве что огоньками светлячков, Агасфер Лукич явственно сопел у меня под ухом, цепляясь за локоть мой, и, помнится, спросил я его тогда, не хочет ли он дать мне какие-нибудь объяснения по поводу происшедшего. Решительно не сохранилось в моей памяти, ответил ли он что-либо, а если и ответил, то что именно.

Сейчас-то я понимаю, что ни в каких ответах и ни в каких таких особенных объяснениях я в ту ночь уже не нуждался. Конечно, многие детали и нюансы были тогда мне непонятны, так ведь они остаются непонятны мне и сейчас. В них ли дело?

Надо сказать, Агасфер Лукич никогда и не делал особенной тайны из своих транзакций. Попытки легализовать свою сомнительную деятельность сопутствующими страховыми операциями не могут, разумеется, рассматриваться как серьезные. Они производят впечатление скорее комическое. В главном же Агасфер Лукич всегда был вполне откровенен и даже, я бы сказал, прямолинеен — просто ему

не нравилось почему-то называть некоторые вещи своими именами. Отсюда это почти трогательное пристрастие к неуклюжим эвфемизмам и даже не к эвфемизмам, собственно, а к суконным формулировкам, извлеченным из каких-то сомнительных учебных пособий и походно-полевых справочников по научному атеизму. Впрочем, и контрагенты его, насколько мне известно, как правило, предпочитали эвфемизмы. Забавно, не правда ли?

Не знаю, существует ли в системе Госстраха понятие «служебная тайна», «тайна вклада» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных — имен своих клиентов Агасфер Лукич старательно бежал. Иногда я догадывался, о ком идет речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить. Но не могу не восхититься деловой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Сулопарина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова.

Сулопарин был единственным человеком (насколько мне известно), который без стеснения называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений — ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую: гладкий, без ухабов и рытвин путь от нынешнего своего поста через место директора номерного сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому. Не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал. А именно всех своих непосредственных подчиненных с чадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича. Говоря конкретно, предлагались к употреблению: помощник товарища Сулопарина по снабжению И. А. Бубуля; комендант гостиницы-общежития Костоплюев А. А. с женой и свояченицей; племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Аттедов, коему все равно в ближайшее время грозил срок; и еще одиннадцать персон по списку.

Самого себя товарищ Сулопарин включать в список не спешил. Он полагал это несвоевременным, он выражал опасение, что это было бы неверно понято. Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам,

это было невиданно, неслыханно и беспрецедентно. С этим он не встречался даже в Уганде, где поселен был он в отдельный дворец для иностранцев. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось еще и тем обстоятельством, что сделка такого рода никакими нравственными правилами не запрещалась, но влекла за собой массу чисто технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились.

Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гавриловичем, директором обсерватории. Я хорошо знал его, мы учились на одном факультете, он был старше меня на три курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт! Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок! От рождения у него была сухая левая рука и врожденный вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная, всезапоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я еще в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать ученый в сорок пять лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей Степной обсерватории было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт.

Однако руку ему это не вылечило, и хромать он не перестал. Еще какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье, и, когда Агасфер Лукич сделал ему свое обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жесткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой.

Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчета — и проиграл.

Мне еще повезло увидеть его в конце того лета, крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого и точного в движениях — совершенно преобразенного, но уже не веселого. Он только что вернулся из Ялты, где и состоялось с ним это волшебное преобразование, где он впервые вкусил от радостей абсолютного здоровья. И где он впервые почувствовал неладное, когда, наскучив гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами, присел как-то вечерком у себя в номере расчитать простенькую модель... Строго говоря, я ведь не знаю

толком, что с ним произошло. Агасфер Лукич клялся мне, что зловещий портфель здесь совершенно ни при чем, что это просто лопнули от перенапряжения некие таинственные жилы, сплетавшие воедино телесное и интеллектуальное в организме моего бедного Карла... Может быть, может быть. Может быть, и вправду сумма физического и интеллектуального в человеке есть величина постоянная, и ежели где чего прибавится, то тут же соответственно другого и убавится. Вполне возможно. И все-таки мне иногда кажется, что лукавит Агасфер Лукич, что не обошлось здесь без его портфеля и в раскаленной топке исчезла не только «особая нематериальная сущность» Карла моего Гаврилыча (как названо это в «Словаре атеиста»), но и его «активное движущее начало» (как это названо там же). В конце памятного августа Карл был просто машиной для подписывания бумаг. Я думаю, сейчас он уже спился.

Должен признаться, однако, что в те поры мне было не до него. Собственные проблемы одолевали и угнетали меня, как мучительная хроническая болезнь. Я все придумывал, как бы мне избежать этого, самого стыдного пункта моего повествования, но вижу теперь, что совсем избежать его мне не удастся. Постараюсь, по крайней мере, быть кратким.

В конце концов, если подумать, мне нечего стыдиться. Как бы там ни было, а честь открытия Юго-Западного Шлейфа принадлежит все-таки мне, и одиннадцать шаровых скоплений, которые я обнаружил в Шлейфе, были предсказаны мною заранее — я предсказал, что их должно быть десять — пятнадцать. Этого у меня никто не отнимет, да и не собирается отнимать. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из нее главу относительно «звездных кладбищ», все равно останется работой неординарной и вполне достойной соответствующей ученой степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее!

Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать этой статьи в «Астрономический журнал» и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в «Астрономикл леттерз». Гордость фраера сгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным ученым. Ладно, господь с ним...

Когда Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, пошли публиковать — кто в «Астрофизикл джорнел», кто в «Ройял обсерватори бюлетенз», — что эффект «звездных

кладбищ» обнаружить им, видите ли, не удалось, это было еще полбеды. Все наблюдения шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе еще ничего не значил. Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как «эффект кладбищ» должен выглядеть на миллиметровых волнах, сам наблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме — вот тут я почувствовал себя как на сковородке.

Я заново проверил все свои расчеты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось одно место... этакий логический скачок... К черту, к черту, не хочу сейчас об этом писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться... Не просчитался, нет, пока еще никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что стальная цепь логики моей содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком. (Стыдно признаться, а ведь я за это звено так до сих пор и не решился потянуть как следует. Не могу заставить себя. Трусоват.)

Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось как страусу зажмурить глаза, сунуть голову под подушку, и будь что будет. Разоблачайте. Драконьте. Топчите. Жалейте.

Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое принял за сущее. Это все дело житейское, без этого науки не бывает. Другое срамно — что занесся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с окружающими разговаривать, принялся вещать. Публично же сожалел (в нетрезвом виде, правда), что по статусу не полагается Нобелевской премии за астрономические открытия! Аспирантика этого несчастного задробил... как бишь его... вот уж и фамилии не помню... а ведь вполне может быть, что он в своей работенке — детской работенке, зеленой, — вполне справедливо меня поддел. Это тогда сгоряча я, кроме глупости да неумелости, ничего в его статейке не углядел, а он как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать...

Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано, не мог я уже выйти перед всеми и сказать: «Пардон. Обосрался». И оставалось мне только одно: ждать и надеяться, что

обойдется, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы «Эол», и в рентгене все получится по-моему...

Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново: да — да, нет — нет! Куда там! Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову. И ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на «Луче» или американцы запустят «Эол».

Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, бредовые, фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоти, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич.

Агасфера Лукича я определил бы как человека широко, но мелко образованного. Обо всем он знает понемногу, но самое замечательное в нем — его понятливость. Понятлив и догадлив, вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление — он не знал, не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он тут же, ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звездных колобков, а если искали, то что именно и нашли ли. Со «звездными кладбищами» оказалось посложнее, все-таки это вещь сугубо специальная, тут он так и остался в некотором недоумении, однако тут же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей. Причем, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств — он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но нимало их не тревожащего.

С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности (особенно в свете происходящего), но и менять ее вот так, за здорово живешь при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос (всю жизнь!) такое количество ни в чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей.

Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выдал мне третий путь.

Едва он заговорил, я даже вздрогнул — мне показалось,

что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, — нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать сравнительно небольшие изменения в распределении материи в нашей Галактике, с тем чтобы в обозримом будущем (10^{12} — 10^{13} секунд) мою гипотезу нельзя было бы ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем Юго-Западном Шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических временных и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял — зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что, на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать. Я просто предложил Агасферу Лукичу свой.

Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идет зеленоватый дым — зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепнулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением.

Действительно, ведь моя гипотеза «звездных кладбищ» не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы «звездные кладбища» существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, буде есть на то желание и соответствующие возможности. Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов, возьмите фуоры. Во всей Галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особое сочетание физических условий. Вот и с моими «кладбищами» пусть будет так же. Только пусть они будут (если их нет). А все свои расчеты я готов предоставить по первому требованию.

Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться? А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался.

Признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки.

Вот так, на трагикомическом уровне, определилась нынешняя судьба моя. И теперь сижу я на шершавом испачканном топчане, за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи еще не продуты, — пишу эти записки, не адресуя их никому; трепетно жду, когда ударят в космическом мраке Кабинета шаги моей сегодняшней судьбы.

Вот сейчас вспомнилось ни с того ни с сего. Гриня по-вадился каждый день разменивать в столовой новехонькую трешку и, как стало широко известно, записался в местное на семерку «Жигули»... Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере, поведении и образе жизни гражданина Быкина Г. Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, «ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Прудкова А. Л., выдававшего себя за сотрудника системы Государственного страхования». Так что я ничем не мог помочь товарищу следователю, я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы еще встретимся.

Но мы, конечно, никогда больше не встретимся.

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном...

Дневник. 14 июля

Вчера ничего не записывал, потому что весь день работал в 4-й детской. По-прежнему самое мучительное и невыносимое для меня — ассистировать при операциях. Поэтому вызвался на все шесть и четыре благополучно проассистировал, а перед пятой Борисыч прогнал меня в палаты носить горшки и приходиться в себя.

В лицей вернулся в начале десятого без задних ног и сразу завалился. Думал, просплю до утра. Фигушки. В два часа ночи приперся Михей, распираемый впечатлениями. Он, оказывается, ходил с Пашкой и Иришкой слушать этого пресловутого Вегу Джихангира. Они от него в рептильном

восторге. Набрался полный стадион народу. Джихангир ревет. Синтезаторы ревут. Народ ревет. Проектора. Синхролайтинги. Петарды рвутся. И так четыре часа подряд. Потом взвалили себе на плечи своего Джихангира и понесли в гостиницу через весь город.

Ни одной Джихангировой песни Мишель, конечно, не запомнил, но зато на обратном пути университетские студюсы обучили его своему боевому маршу, который начинается так:

Рехо, рехо, рехо-хо-хо-хо-хо!
Ага-него, ням-ням-ням-ням-ням,
Первички на-а-ам!
А ну-ка демо! А шервервумба!
А шервервумба, вумба-нумба,
цум-бай-квеле,
тольминдаде,
Цум-бай-квеле, цум-бай-ква...

И так далее. О, эти ташлинские титаны духа! Мишель никак не мог остановиться, я не выдержал и все-таки заснул. В результате утром проспал.

До обеда прилежно писал отчет-экзамен.

Доброта и милосердие. Разумеется, понятия эти пересекаются, это ясно. Но есть какое-то различие. Может быть, в отношении к понятию «активность»? Доброта больше милосердия, но милосердие глубже. И милосердие, в отличие от доброты, всегда активно. Литература по этой теме огромна и бесполезна. Если выпарить это море слов, останется чайная ложка соли. Воробьиная погадка. Надо бы спросить Г. А.: почему наиболее интуитивно ясные понятия более всех прочих оболтаны за истекшие двадцать веков? (ПРИПИСКА 16 июля. Г. А. сказал: потому что интуиция — в подкорке, а понятие — в коре. Непонятно. Надлежит обдумать.)

После обеда Г. А. послал меня в библиотеку читать последний выпуск «Логики...». В чем дело? Оказывается, он доволен, как идут у меня по логике Санька-Ежик и Сева Кривцов. Здрасьте вам! А я-то был уверен всегда, что они у меня идут на десять баллов. Я — человек скромный и себя хвалить не терплю, но если у меня что хорошо, то хорошо. Оказывается, нет. Нехорошо у меня. Мы с ним поспорили. Я слово, он два. Ладно. Пошел в библиотеку, поднял «Логик...» за последний год. Все-таки Г. А. — бог. Сам он всегда убеждает нас, что главное — не знать, а понимать. Но

ведь он-то вдобавок и ЗНАЕТ! Все знает! И бес, посрамлен бе, плакаси горько.

В «Молодежных новостях» сообщение про вчерашний концерт Джихангира: «Встреча с новой песней». С подъемом описывается радость, испытанная городскими любителями синхрозонга от встречи с популярнейшим и любимейшим Марко да-Вегой. Новый текст... новая манера... совершенно новое сопровождение... «К сожалению, конец этой волнующей встречи был омрачен хулиганскими выходками наиболее незрелой части слушателей. Кто бы ни был инициатором этих выходок — заезжие «дикобразы», местные фловеры или просто загулявшие студенты, — прощения и оправдания им быть не может. Мы уверены, что милиция с помощью общественности в ближайшее же время установит и строго накажет распоясавшихся хулиганов».

В «Городских известиях» колонка под названием: «Ночной пандемониум». Никакого праздника синхрозонга на стадионе не было. Был омерзительный шабаш. Четырехтысячная толпа, состоящая главным образом из так называемых фловеров, устроила отвратительное побоище, сопровождавшееся актами вандализма. Стадиону нанесен значительный ущерб. Изуродовано несколько автомашин. В окрестных постройках не осталось ни одного целого стекла. Несколько десятков искалеченных хулиганов доставлены в больницы. Несколько десятков задержано. Органы милиции ведут расследование. Газета не раз выступала против приглашений в наш город этих так называемых «властителей дум». Нынешний ночной пандемониум — лишнее, хотя и печальное, доказательство ее правоты.

Иришка с Мигелем утверждают, что ничего подобного не было. Все было очень громко, но вполне мирно.

Кому верить?

На сон грядущий пошли поболтать с Г. А. Серафима Петровна подала пирог-плетенку с абрикосовым вареньем. Сначала болтали о том о сем, а потом вдруг выяснилось, что разговор идет о преступности. (Ни минуты не сомневаюсь, что на эту тему повернул нас Г. А. Но в какой момент? Каким образом? И почему я опять этот поворот прозевал?)

Я считаю, что в наше время существуют три главных фактора, которые — в сочетании — делают человека преступником. Во-первых, система воспитания не сумела выявить у него направляющего таланта. Человек оставлен ва-

риться в собственном соку. Во-вторых, он должен быть генетически предрасположен к авантюре: риск порождает в нем положительные эмоции. В-третьих, духовная нищета, духовные запросы подавлены материальными претензиями. Вокруг полно прекрасных вещей: автомобили, птеры, роскошные девочки, жратва, наркотики, в конце концов. Зарабатывать все это невыносимо скучно и тяжело, потому что любимой работы у него нет. Но очень хочется. И он начинает брать то, что по существующему праву ему не принадлежит, — рискуя свободой, жизнью, человеческими условиями существования, — причем делает это не без удовольствия, а может быть, и с наслаждением, потому что риск у него — в генах.

Конечно, это самая грубая схема, не учитывающая никаких нюансов, да и великого множества разнообразных социальных и личных обстоятельств. Однако основную массу насильственных преступлений такая схема, по-моему, объясняет.

Аскольд: существует ли талант к преступлению? В конце концов, разработка и исполнение преступного замысла — это, в самом широком смысле слова, игра, требующая незаурядных творческих способностей, своеобразных эстетических данных и психологической проницательности.

Возможно. Не спорю. Наше дело — устроить так, чтобы ему было интереснее играть в любую другую игру, но не в эту. А если общество не в состоянии предложить ему ничего, кроме как есть хлеб свой в поте кислой физиономии своей, то немудрено, что он предпочитает играть в казаки-разбойники и норовит ходить по краю. Вот если бы мы умели с младых ногтей привить ему человечность и милосердие, это было бы самой надежной прививкой и против бездуховности, и против тяги к преступному риску. Да что толку говорить об этом, если мы все равно этого не умеем делать сейчас — так же, как тысячу лет назад.

«Пересадить свою доброту в душу ребенка — это операция столь же редкая, как сто лет назад пересадка сердца».

Г. А. сказал как бы между прочим: закон никогда не наказывает ПРЕСТУПНИКА. Наказанию подвергается всего лишь тварь дрожащая — жалкая, перепуганная, раскаивающаяся, несколько не похожая на того наглого, жестокого, безжалостного мерзавца, который творил насилие много дней назад (и готов будет творить насилие впоследствии, если ему придется уйти от возмездия). Что же получается?

Преступник как бы ненаказуем. Он либо уже не тот, либо еще не тот, кого следует судить и наказывать... Слава богу, что хоть смертная казнь у нас отменена!

Рукопись «ОЗ» (5—9)

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном пальто. Войдя, он снял огромную меховую шапку и, пригладив прическу ладонью, проговорил негромко:

— Колпаков. Мне назначено на семнадцать.

Он отряхнул шапку от мокрого снега, положил ее на столик под зеркалом, снял пальто («Благодарю вас, я сам...») и аккуратно, любовно повесил его на распялку.

Мы прошли в Приемную. Он шагал широко, бесшумно, на каждом шаге слегка подаваясь по-куриному туловищем вперед, и непрерывно мыл ладони воздухом. В Приемной он бегло, но цепко огляделся, как бы прицениваясь к обстановке, а когда я предложил ему кресло, он сел с видом человека, готового долго и терпеливо ждать. Если он и волновался, то волнение свое умело скрывал. Он даже ладони перестал умывать.

Я сел на свое место и сказал:

— Можете говорить.

Он снова огляделся, теперь уже с некоторым недоумением, но быстро сориентировался (он, видимо, вообще умел быстро ориентироваться) и заговорил. Я смотрел, как он говорит, и мне почему-то вспомнилось, что Юрий Павлович Герман называл таких людей «красивый, но вялый». Такой рослый, такой благообразный, такой русый, и широкие плечи, и кровь с молоком, глаза вполне стальные, а в то же время — какая-то бледная немочь во всем: движения плавно-замедленные, голос тихий, интонации умеренные. Умеренность — его лозунг. Умеренность и аккуратность.

Говорил он в пространство перед собой. (Как, откуда узнал он, что не я его собеседник, а ведь кроме меня в Приемной никого не было!..) Говорил, словно на докладе у начальства, — на память, не сбиваясь, но и не увлекаясь чрезмерно, только время от времени, в особенности когда шли цифры, поглядывал в шпаргалочку, оказавшуюся незаметно у него в ладони.

И хотя не предпослал он своему докладу никакого названия, после первых же двух-трех периодов стало ясно, что речь идет о «Необходимых организационных и кадровых ме-

роприятий для подготовки и проведения кампании по Страшному Суду».

Говорил он по моему секундомеру почти десять минут — восемнадцати секунд не хватило для ровного счета. Закончив, осторожно положил свою шпаргалочку на полированную поверхность трюмо рядом с пепельницей и смиренно свел пальцы больших белых рук у себя на коленях.

Демиург молчал целую минуту, прежде чем задал первый свой вопрос.

— Надо понимать, зверь из моря — это лично вы? — спросил он.

Колпаков заметно вздрогнул, но отозвался тотчас же, без малейшего промедления:

— Возражений не имею.

Демиург вдруг очень красиво процитировал — нарочито бархатным, раскатистым голосом профессионального актера старой школы:

— «Зверь... был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть...» Дракон, надо понимать, — это я?

Колпаков позволил себе бледно усмехнуться.

— Не могу согласиться, извините. В данном штатном расписании это уже скорее товарищ Прудков. Агасфер Лукич.

Полная тишина была ему ответом, и усмешка пропала с бледного лица, и оно стало еще бледнее. Потом Демиург заговорил снова:

— «...и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». У вас губа не дура, Колпаков.

— В некоторых переводах стоит «сорок два года», — чуть повысив голос, возразил Колпаков.

— И вы, разумеется, предпочитаете именно эти переводы. Да, губа у вас не дура. И как же вы намерены развязать Третью и последнюю? Конкретно!

— Мне кажется, один случайный запуск... одно случайное неудачное попадание... Мне кажется, этого уже достаточно было бы...

— Во-первых, недостаточно! — загремел Демиург. — Во-вторых, если вы даже сумеете организовать бойню, понимаете ли вы, чем она кончится? Послушайте, вас вооб-

ще-то учили, что через шесть месяцев погибнет от девяноста пяти до девяноста восьми процентов всего населения? Вы перед кем, собственно, намерены «гордо и богохульно» говорить на протяжении сорока двух месяцев... я уж не скажу — лет?

На физиономии Колпакова не осталось ни кровинки, однако он и не думал сдаваться.

— Прошу прощения, — произнес он с напором, — но ведь у меня и намерения такого не было — конкретизировать начало хаоса. Мне казалось всегда, что это как раз — на ваше усмотрение! И железная саранча Аваддона... и конные ангелы-умертвители... и звезда полын... Вообще весь комплекс дестабилизирующих мероприятий... Я как раз не беру на себя ответственность за оптимальный выбор...

— Он не берет на себя ответственность, — грянул Демиург. — Да ведь это же главное, неужели не ясно — оптимальный выбор! Максимум выживания козлиц при минимуме агнцев!

— Позвольте же заметить! — не сдавался Колпаков. — Был бы хаос, а все остальное я беру на себя, у меня агнцев вообще не останется, ни одного! Что же касается организации хаоса... Согласитесь, это совсем вне моей компетенции!

— Так уж и вне... — произнес Демиург саркастически. — Вон чего вокруг насочиняли... Кстати, а что такое в вашем понимании агнцы?

И опять не дрогнул Колпаков. И опять он ответил как по писаному:

— Насколько мне доступно понимание высших целей, это сеятели. Сейте разумное, доброе, вечное. Это про них сказано, как я понимаю.

— Ясно, — произнес Демиург. — Можете идти. Сергей Корнеевич, проводите.

Я встал. Колпаков все еще сидел. Красные пятна разгорались у него на щеках. Он разлепил было губы, но Демиург сейчас же сказал, повысив голос:

— Проводить! Пальто не подавать!

И поднялся бедный Колпаков, и пошел, понурившись, в прихожую, и снял с распялки роскошный свой черный кожан, и принялся слепо проталкивать руки в рукава, и мужественная челюсть его тряслась, а вокруг реял невесть откуда взявшийся Агасфер Лукич с портфелем наизготовку и говорил как заведенный — ворковал, курлыкал, болботал:

— Не огорчайтесь, батенька, ничего страшного, не вы

первый, не вы последний, откуда нам с вами знать, может, оно и к лучшему... Сорок два года все-таки — такой труд, такая работа, напряжение адское, ни минуты отдыха, никакой расслабленности... Да господь с ними, с этими глобальными мероприятиями!.. Стоит ли? Не лучше ли подумать прежде всего о себе, что вам лично нужно? Так сказать, персонально... в рамках существующей действительности... не затрагивая никаких основ... Скажем, заведующий отделом, а? Для начала, а?

Они вывалились из квартиры, Агасфер Лукич вел Колпакова, обнимая его ниже талии, и, заглядывая ему в лицо снизу вверх, все ворковал, все болботал, все курлыкал. Я слышал, как они медленно спускаются по лестнице, Колпаков, видимо опомнясь, принялся что-то отвечать высоким обиженным голосом, но слов уже было разобрать невозможно из-за лестничной реверберации.

Я запер дверь, вернулся в Приемную, поправил сдвинутое кресло, взял с трюмо забытую шпаргалку и попытался было ее прочесть, но ничего там не разобрал, кроме каких-то бессмысленных «убл», «опр», «11 сзд».

Я прошел в Комнату и уселся на топчан в ожидании приказаний. Приказаний не было, не было и обычных ворчливых комментариев. Черная крылатая глыба у окна была нема и неподвижна, как монумент Отвращению. Потом вернулся Агасфер Лукич, запыхавшийся от подъема на двенадцатый этаж и очень недовольный. Швырнув портфель в угол, он уселся рядом со мной и сказал:

— Это тот случай, когда я не испытываю никакого удовлетворения. Фактически я его обманул. Не нужны ему те мелочи, дребедень эта, которую я ему всучил... Ему Великое служение нужно! Он создан для служения! Чтобы всех, кто под ним, — в грязь, но и сам уж перед вышестоящим — в пыль... А я ему — дачу в Песках...

Демиург произнес не оборачиваясь:

— Все они хирурги или костоправы. Нет из них ни одного терапевта.

По-моему, это тоже была цитата, но я не сумел вспомнить — откуда и, наверное, поэтому не понял, что он хотел сказать.

6. Разговоры об истории. О новой истории, о новейшей истории и особенно часто — об истории древней. Агасфер Лукич из истории знает все. Есть у него один-два пробела

(например: Центральная Америка, шестой век — «тут я несколько повержен»...), но в остальном он совершенно осведомлен, захватываяще многоглаголен и нарочито парадоксален. «Не так все это было, — любит приговаривать он. — Совсем не так».

Иуда. Да, был среди них такой. Жалкий согляк, мальчишка, дрисливый гусенок. Какое предательство?! Перестаньте повторять сплетни. Он просто делал то, что ему велели, вот и все. Он вообще был слабоумный, если хотите знать...

«Не мир принес я вам, но меч». Не говорилось этого. «Не мир принес я вам, но меч... ту о мире» — это больше похоже на истину, так сказано быть могло. Да, конечно, по-арамейски подобная игра слогов невозможна. Но ведь по-арамейски и сказано было не так. «Не сытое чрево обещаю я вам, но вечный голод духа». Причем так это звучит в записи человека явно интеллигентного. А на самом деле вряд ли Учитель рискнул бы обращаться с такими словами к толпам голодных, рваных и униженных людей. Это было бы просто бестактно...

Конечно же, Он все знал заранее. Не предчувствовал, не ясно видел, а просто знал. Он же сам все это организовал. Вынужден был организовать.

«Осанна». Какая могла быть там «осанна», когда на носу Пасха, и в город понаехало десять тысяч проповедников, и каждый проповедует свое. Чистый Гайд-парк! Никто никого не слушает, шум, карманники, шлюхи, стража сбилась с ног... Какая могла быть там проповедь добра и мира, когда все зубами готовы были рвать оккупантов и если кого и слушали вообще, то разве что антиримских агитаторов. Иначе для чего бы Он, по-вашему, решился на крест? Это же был для Него единственный шанс высказаться так, чтобы Его услышали многие! Станный поступок и страшный поступок, не спорю. Но не оставалось Ему иной трибуны, кроме креста. Хоть из обыкновенного любопытства должны же были они собраться, хотя бы для того, чтобы просто поглазеть, — и Он сказал бы им, как надо жить дальше. Не получилось. Не собралось почти народу, да и потом — невозможно это, оказывается, — проповедовать с креста. Потому что больно. Невыносимо больно. Неопишимо.

7. ...Я был в полном отчаянии. Видимо, начиналась уже истерика. Я собою не владел. Не помню, как я оказался на лестничной площадке. В ушах гудело — то ли бешеная

кровь накручивала спирали в помраченном мозгу моем, то ли перекатывалось в лестничных пролетах эхо от удара двери, которую я изо всех сил за собой захлопнул.

Весь трясясь, но уже в себе, я спустился на этаж ниже и присел на калорифер. Ледяное железо резало зад, но не было сил стоять, и даже не в силах дело — в голову мне не приходило встать на ноги. Я весь сосредоточился на процессе закуривания. Шарил по карманам, ища мундштук. Долго извлекал сигарету из пачки прыгающими пальцами, сломал две, прежде чем вставил в мундштук третью. Потом принялся ломать спички одну за другой, но закурить в конце концов удалось, и, едва успев сделать первую затяжку, я услышал шаги.

Кто-то поднимался по лестнице, да так бодро, с энергичным напористым ширканьем одежды, мощно, по-спортивному дыша и даже напевая что-то вместе с дыханием, что-то классическое — не то «Рассвет над Москвой-рекой», не то «Боже, царя храни». И я подумал злобно: это же надо, какой веселый, энергичный клиент у нас пошел, наверняка с какой-нибудь особенной гадостью, с гадостью экстра-класса, с такой гадостью, чтобы уж всех вокруг затошнило, чтобы женщины плакали, сами стены блевали, и сотня негодяев ревели: «Бей! Бей!»

Он увидел меня и остановился пролетом ниже. Фигура моя здесь, на лестнице, застала его врасплох. Теперь ему надлежало немедленно принять респектабельный и по возможности внушительный вид, дабы сразу было ясно, что перед вами не шантрапа какая-нибудь, не горлопан из молодежного клуба, не полоумный прожектор какой-нибудь, а человек солидный, личность, со значительным прошлым, с весом, со связями, готовый предложить, отдать, пожертвовать идею, которую он глубоко продумал в тиши своего личного кабинета и отшлифовал в диспутах с людьми заслуженными, излюбленными и высокопоставленными.

Белесовато-бесцветная квадратная физиономия его с остатками юношеского румянца на щеках, как бы присыпанных пудрой, наглые васильковые глаза с пушистыми ресницами педераста мимолетно показались мне знакомыми, — где-то я видел этот приторный набор — то ли в рекламном ролике, то ли на плакате... Я не захотел вспоминать. Я слез с калорифера и, зажавши мундштук в углу рта, чувствуя, как немеют у меня от злобы челюсти, пошел спускаться ему навстречу и вдруг поймал себя на том, что на ходу судорожно похлопываю раскрытой ладонью по перилам.

Он быстро сорвал легкомысленно сдвинутую на затылок шляпу, прижал ее к груди и коротко, по-белогвардейски, дернул головой, отчего белобрысые волосы его слегка рассыпались. И уже явственно проступил на его поганой морде приличествующий джентльменский набор: солидность, печать значительного прошлого, ответ глубоко продуманной идеи. И вот тогда я его вспомнил. Это был Марек Парасюхин по прозвищу Сючка, мы вместе кончали десятый класс, а потом он, окончивши все, что полагается, стал литсотрудником тоненького молодежного журнальчика с сомнительной репутацией, расхаживал в черной коже (не подозревая, конечно, по серости, что это форма не только эсэсовских самокатчиков, но и американских «голубеньких»), публиковал статейки, в коих тщился реабилитировать Фаддея Булгарина либо доказывал кровное родство князя Игоря и Одиссея Итакского, а в анкетах в графе «национальность» неизменно писал «великоросс». И известно мне было, что в определенных кругах на него рассчитывают.

— Ты зачем сюда приперся, скотина? — произнес я перехваченным голосом, надвигаясь на него.

Против света не видел он моего лица и узнать меня не мог, и теперь задним числом я понимаю, что до определенного момента он воспринимал все мои слова и действия как своего рода проверку, искус своего рода. Он приятно осклабился и ответил:

— Явился по вызову. Моя фамилия Парасюхин, честь имею.

— Сука ты, дрянь поганая, — произнес я, с наслаждением беря его за манишку.

Улыбка его несколько побледнела, но он продолжал рапортовать:

— Готов к докладу. Имею проект, предварительно одобренный...

— Какой еще проект? — просипел я, наматывая его манишку на кулак. Глаза у меня застлало. Отвратительное чувство априорной безнаказанности владело мною. Ведь вся эта погань испытывает наслаждение, не только издеваясь над теми, кто попал ей в лапы, она же наслаждается и собственным своим унижением в лапах того, кого считает выше себя.

Парасюхин только пискнул:

— Однако же... Позвольте... — И тут же продолжал: — Имею проект полного и окончательного решения национального вопроса в пределах Великой России. Учитывая угрожаю-

шее размножение инородцев... учитывая, что великоросс не составляет уже более абсолютного большинства... На новейшем уровне культуры и технологии... Без лишней жестокости, не характерной для широкой русской души, но и без послаблений, вытекающих из того же замечательного русского свойства... Право же... мне немножко дышать... неудобно... Особое внимание уделяется проблеме еврейского племени. Не повторять ошибок святого Адольфа! Никаких «нютциггер юде»...

Я врезал ему левой между глаз, да так, что сразу отшиб себе все косточки в кулаке. Руку мне пробило болью до самого плеча. Он болезненно охнул и замолчал. Мы раскачивались на площадке, лицо в лицо, тяжело дыша, как борцы на ковре. Я тянул его правой рукой за манишку к себе (совершенно непонятно — зачем, мерзко подумать, что целился я вцепиться зубами ему в нос), левая рука моя висела плетью, она хотела бить, но не могла, а он слабо упирался, из расквашенного носа у него текло, одичавшие глаза разъезжались. Но он нашел в себе силы снова изобразить улыбку и продолжить:

— Полуостров Таймыр переименовать в Новую Галилею... Или Галилею Ледовитую... Район, давно уже требующий решительного освоения... и никому не будут мозолить глаза... Третья мировая уже идет... сионизм против всего мира...

Я швырнул его по лестнице вниз и бросился следом. Я гнал его уцелевшим кулаком и пинками пролет за пролетом, а он все не понимал, все пытался оправдаться, лицо его было разбито в кровь, ни единой пуговицы не осталось на пальто, шляпа пропала. Но каждый раз, оторвавшись от меня на расстояние вытянутой ноги, он хватался за перила, истово выкатывал глаза и визжал свое:

— Язву смешанных браков — каленым железом... Поздно будет... И особенно подчеркиваю, что надвигается время армянского вопроса... пора это уже понять... Армян — в Армению!.. Поздно же будет, россы!..

И вдруг на каком-то этаже он меня узнал. Он завизжал, как женщина, и огромным прыжком оторвался от меня на целый пролет. А у меня уже и сил не было. Я сел на ступеньки и, кажется, заплакал — от боли в руке, от тоски, от безнадежности.

Он стоял на площадке пролетом ниже, расхлюстанный, весь в черных пятнах, судорожно раскорячив руки и оскалив окровавленные зубы, глядел на меня снизу вверх и повторял, не находя слов:

— А ты... А ты... А ты...

И я глядел на него сверху вниз и с отчаянием думал, что вот опять я ничего не могу, даже сейчас, когда всего-то и надо, что раздавить мерзкую поганку, когда, казалось бы, все в моих руках, только от меня и зависит, и никто мне помешать не успеет, не посмеет мне никто помешать, но — не могу. Слаб, заморожен, скован, сам себя повязал по рукам и ногам взаимоисключающими принципами... «Раздави гадину...» — «Не убий...». «Если враг не сдастся...» — «Человек человеку — друг...». «Человек по натуре добр...» — «Дурную траву с поля вон... И ведь подумать только, который месяц уже нахожусь я у источника величайшего могущества, давным-давно смог бы устроить свою судьбу, и не только свою, и не только своих близких — судьбы мира мог бы попытаться устроить! И ведь ничего...

И тут он, Сючка поганая, непотребная, нашел наконец нужные слова и прошипел радостно:

— То-то жена у тебя полупархатая! Прихвостень жидовский...

Я кинулся на него сверху. Убить. Наверное. Я еще успел увидеть вскинутую руку его, и сразу же, одновременно — лиловая вспышка, треск выстрела и страшный удар в голову.

Теперь мне кажется, что я тогда нисколько не удивился. Мне и в голову не приходило, что такая тля, как Парасюхин, может быть вооружена. Но когда он выстрелил, это меня нисколько не удивило.

Очнулся я на своем рабочем месте. Раскрытый бювар. Набор шариковых ручек. Календарь. Шестнадцатое ноября. Толстый красный фломастер и тонкий черный. Все было готово к работе.

Клиент, правда, к работе готов еще не был. Он ворочался в своем кресле, хлюпал носом, болезненно тянул воздух сквозь зубы и промакивал лицо мокрым испачканным платком. Никаких тезисов на столе перед ним не усматривалось — то ли не успел он их еще вынуть, то ли знал свое дело наизусть.

Голова моя, в особенности с правой стороны, разламывалась от боли, и, поднеся осторожную руку к виску, я обнаружил, что обмотан толстым слоем бинта — вокруг всей головы и вокруг шеи.

Голос Демиурга грянул:

— Кстати, откуда у вас пистолет?

Клиент с достоинством продекламировал:

— Всякая истинная идея должна уметь защитить себя. Иначе грош ей цена.

И с шумом потянул в себя кровавые сопли.

Телефон квакнул над моей многострадальной головой. Я снял трубку.

— Я поздравляю вас, Сергей Корнеевич, — сказал Демиург. — Вы получили контузию у меня на службе. Вы должны знать, что это вам зачтется. Однако в дальнейшем я попрошу вас обходиться без рукоприкладства. Я же ведь обхожусь!

— Да, — сказал я.

— А теперь распорядитесь, — сказал Демиург, — чтобы клиент приступал. И чтобы покороче.

Я повесил трубку и сказал клиенту:

— Приступайте, пожалуйста. И постарайтесь быть кратким.

8. Рассказывают, что, когда товарищу Сталину демонстрировали только что отснятый фильм «Незабываемый 1919-й», атмосфера в просмотровом зале с каждой минутой становилась все более напряженной. На экране товарищ Сталин неторопливо переходил из одной исторической ситуации в другую, одаря Революцию единственно верными решениями, и тут же суетился Владимир Ильич, то и дело озабоченно произносящий: «По этому поводу вам надо посоветоваться с товарищем Сталиным», — все было путем, но лицо Вождя, сидевшего, по обыкновению, в заднем ряду с погашенной трубкой, порождало у присутствующих все более тревожные предчувствия. И когда фильм окончился, товарищ Сталин с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, произнес с напором: «Нэ так всо это было. Савсэм нэ так».

Фильм, впрочем, прошел по экранам страны с обычным успехом и получил все полагающиеся премии.

9. Так вот: не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и...

Дневник. 16 июля

Сегодня утром, когда я возвращался из столовой, в большом коридоре на меня с разбегу налетел какой-то юнец, по виду — типичный куст, — весь в зеленом и пятнистом, босой и полна голова репьев. Налетел он на меня с такой силой,

что репы посыпались во все стороны, и стал выпытывать, где ему найти Г. А. Сначала я не хотел его осведомлять, потому что знал, что Г. А. сейчас сидит у себя в кабинете и проверяет наши тест-программы. Но куст шумел, трепыхался, размахивал ветвями и чуть не плакал. Правая щека у него была заметно больше и румянее левой, мне стало его жалко, и я на нем сосредоточился. Ничего не удалось мне разобрать в его потемках, кроме бурлящего там беспокойства, граничащего с отчаянием, и я отвел его к Г. А.

Я уже забыл об этом происшествии, как вдруг Г. А. зашел ко мне и произнес обычное: «Пойдемте со мною, Князь».

Лицо Г. А. ничего не выражало, кроме обычной благожелательности. Пока мы шли по бульвару, он не устал раскланиваться со всеми встречными и поперечными и раз даже остановился поболтать с какой-то раскрашенной старухой лет пятидесяти, но я-то чувствовал (даже не сосредотачиваясь), что он озабочен, причем озабочен сильно, гораздо сильнее обычного. И тогда я вспомнил о том кусте и спросил Г. А., чего ему было надо. Г. А. ответил, что я скоро сам все пойму, и мы вошли в горисполком.

Мы прошли прямо в кабинет к мэру, нас, видимо, ждали, потому что секретарша без лишних слов тут же распахнула перед Г. А. дверь.

Мэр уже шел нам навстречу по ковровой дорожке, разнообразными жестами выражая радушие. (Мне он сказал: «Я тебя помню, ты Вася Козлов». Мы с Г. А. не стали его поправлять.) Мэр тоже был озабочен, и это тоже было видно невооруженным глазом. Они с Г. А. сели лицом друг к другу за стол, а я скромно примостился у стены. Последовавший разговор я конспектировал и привожу его довольно близко к тексту.

Мэр начал было о погоде, но Г. А. его сразу же деликатно прервал — похлопал его ладонью по руке и сказал: «До меня дошли слухи, что готовится некая акция против Флоры. Это правда?»

Мэр сразу же перестал радушно улыбаться, отвел глаза и стал мямлить в том смысле, что да, есть кое-какие соображения по этому поводу. «Я слышал, что вы намерены их прогнать», — сказал Г. А. Мэр промямлил в том смысле, что прогнать не прогнать, а формируется такое мнение, что надо бы их попросить — и из самого города, и из-под города, и вообще. «А если они не согласятся?» — спросил Г. А. «Так в этом-то все и дело!» — сказал мэр с горячностью.

Г. А. спросил, кто это затевает и с чего это вдруг. Мэр сказал, что по поводу этой распроклятой Флоры на него давят со всех сторон уже давно, а теперь, после этого распроклятого концерта на стадионе, все словно взбеленились. Г. А. сказал, что, по его сведениям, ничего особенного на концерте не произошло. Мэр возразил: как-никак четверо покалечены, стеклом побили тысяч на пять, автобус перевернули, две легковушки помяли — в общем и целом тысяч на пятнадцать.

Г. А. А при чем здесь Флора?

Мэр. Там было полно фловеров. Все четверо пострадавших — фловеры.

Г. А. Там же были не только фловеры. Там были студенты, рабочая молодежь, солдаты. Там были «дикобразы».

Мэр. «Дикобразов» след простыл, а фловеры твои — тут как тут. Всем мозолят глаза и всем жить мешают.

Г. А. осведомился, кому персонально мешают жить фловеры. Выяснилось, что главный противник пригородной Флоры — завгороно Ревекка Самойловна Гинсблит. Она и сама рвет и мечет, а вдобавок ее подзуживают и растравливают остервеневшие родители. Флора притягивает ребятшек как магнитом. Бегут из дома, бегут с занятий, бегут из спортлагерей. Жуткие манеры, жуткие моды, жуткие нравы, ничего не читают, даже телевизоры не смотрят. Масса сексуальных проблем, страшные вещи происходят в этой области. И наркотики! Вот что самое страшное!

Далее — милиция. Милиция утверждает, что половина всех хулиганских проступков и три четверти мелких краж в городе, если брать два последних года, — дело рук фловеров. И вообще. Флора ежедневно и ежечасно порождает преступность. Вдобавок на милицию жмут производственники, у которых прогулы и текучесть молодежных кадров, клубники, комсомол, жилконторы, ветераны, дружинники, кооператоры, итэдэшники. Все это сидит у мэра на шее уже больше двух лет, а сейчас все словно с цепи сорвались, и он, мэр, боится, что вот-вот дойдет до насильственных действий, чего он, мэр, не терпит и терпеть не намерен. Он, если хотите знать, и в отставку может подать в такой вот ситуации, благо сессия на носу...

Г. А. Подавать в отставку ни в коем случае нельзя. И руки заламывать тоже нельзя, в тоске и печали. Ты — мэр, ты обязан контролировать ситуацию. Ты — первый человек города, ты — лицо города. Тебя для этого выбирали. Если

ты уступишь этим экстремистам, позор на всю Россию, на весь мир позор.

Мэр. Меня убеждать не надо. Ты их попробуй убеди.

Г. А. Будь покоен. А я хочу быть спокоен, что не подведешь ты.

Мэр. Это для тебя они экстремисты, а для меня — ближайшие помощники, мне с ними работать и работать, я без них как без рук. А страшнее всего, если хочешь знать, — родители! С ними не поговоришь, как с тобой или, скажем, как с Ревеккой. На них логика не действует!

Г. А. Ревекка тоже не сахар. Для нее, между прочим, Флора — это только предлог. Она гораздо дальше метит.

Мэр. Знаю. В тебя она метит.

Г. А. (демонстративно поглядев в мою сторону). Тихо, тихо, Петр! Дэ ван лез анфан!

Мэр снова закатывает речь о том, как ему тяжело. На носу осенняя сессия. Итэдэшники требуют снижения регионального налога. Контракт с грузинами заключили, а проект до сих пор не готов. В ноябре общеевропейская конференция в обсерватории, сам Делонж приедет, а где их селить? Старую гостиницу снесли, а новую и до половины не построили. И так далее. Одним словом — самое время в отставку. Г. А. хлопывает его по руке, смеется, но по-прежнему озабочен. А вот мэру явно полегчало. Видимо, ему просто некому было тут поплакать в жилетку.

Г. А. Значит, я на тебя надеюсь.

Мэр. На мэра надейся, но и сам не плошай.

Оба смеются. И тут в кабинет вваливается какой-то деятель с бюваром. Коломенская верста, по всей голове — белоснежная седина, а лицо молодое, острое и красное, как у индейца. Одет безукоризненно. Разит одеколоном на весь дом. Сначала он мне просто даже понравился, тем более что с ходу подключился к беседе, причем на стороне Г. А.

Г. А. при нем и рта не раскрыл, а он высыпал на мэра все те же безотбойные аргументы: лицо города, срам на всю Европу, нечего потакать крикунам и паникерам. И даже более того — почтительные, но твердые упреки «господину мэру»: нельзя быть нерешительным, колебания — залог поражения, давно пора стукнуть кулаком по столу и показать, кто именно в городе хозяин.

Из контекста его выступления мне стало ясно, что он у нас в городе главный по культуре. Вся наша городская культурная жизнь, как я понял, лежит на его широких плечах и

им одним вдохновляется — конечно, при поддержке «госпо-дина мэра» и вопреки яростному сопротивлению крикунов и паникеров. (Сам себя не похвалишь, то кто же?) Оказывается, и концерт Джихангира на нашем стадионе — это тоже его личная заслуга. Именно он, вопреки крикунам и паникерам, переманил к нам Джихангира из-под самого носа у Оренбурга, и вот теперь вся Европа пишет про нас, а не про них.

Мэру все это нравилось, он бодрел прямо на глазах, и вдруг Г. А. ни с того ни с сего сказал — причем голосом неприятным и даже сварливым: «Петр Викторович, я рассчитывал говорить с вами с глазу на глаз. Если вы заняты, я могу зайти позже». Возникла очень неловкая пауза, у мэра челюсть отвалилась, а наш культуртрегер так просто почернел. Впрочем, он быстро оправился, заулыбался и, извинившись, сказал как ни в чем не бывало, что забежал, собственно, только на минутку — подписать вот эту смету. Мэр, не читая, подмахнул, и культуртрегер, вновь извинившись, удалился. После этого произошел следующий разговор.

Мэр. Ну, брат Георгий Анатольевич, ты меня удивил! Единственный человек в городе тебя поддержал, и ты его — как врага!

Г. А. (тоном нравоучительным до нарочитости). А мне, Петр Викторович, чья попало поддержка не нужна. Я, Петр Викторович, человек разборчивый.

Мэр. А я, значит, неразборчивый. Спасибо тебе. Однако мое мнение: кто за доброе дело, тот и есть мой союзник. Нравится он мне или не нравится, симпатичен мне или антипатичен.

Г. А. За доброе дело не всегда выступают из добрых намерений. Представь себе, например, что наш военторг за товарен десантными комбинезонами бэ-у. Кто главный потребитель этого тряпья? Фловеры. И кто будет тогда главным защитником Флоры? Заведующий военторгом.

Мэр (с огромным подозрением). Ты на что это намекаешь?

Г. А. Я пока ни на что не намекаю. Вокруг доброго дела всегда толкуются разные люди — и добрые, и недобрые, и полные подонки. Флора — это рынок сбыта наркотиков. Удар по Флоре — удар по наркомафии. Помяни мое слово, если завтра в городе начнется дискуссия, завтра же газеты обвинят меня в том, что я — главный мафиози. А ты — мой сподвижник!

Мэр (ошарашенно). Йокалэмэнэ! Об этом я не подумал.

Г. А. Вот и подумай. И будь готов: драка предстоят почище чем на выборах.

Когда мы вышли от мэра, Г. А. спросил, что я думаю по этому поводу. Не очень-то приятно объявлять своему учителю, что ты с ним не согласен, но истина дороже, и я честно ответил: Флора мне активно не нравится, я считаю ее источником всякой скверны, текущей в город, так что выходит, мои симпатии на стороне противников Г. А. Другое дело, что я тоже не хочу и против насильственных действий. Язвы надо лечить, а не вырубать из тела топором. Так что в этом отношении я на стороне Г. А.

Г. А. помолчал, а потом спросил, что я думаю по поводу свободы образа жизни. Я ответил, что эта свобода конечно же должна быть полной, но при условии, что избранный образ жизни никому не мешает. «Так что в этом отношении ты на стороне Флоры?» — сказал Г. А. довольно ядовито. Я растерялся, но не больше, чем на полминуты. Я возразил, что никогда не утверждал, будто Флора во всем не права. У Флоры конечно же есть свои плюсы, иначе она не привлекала бы к себе так много людей.

По-моему, Г. А. понравилось мое рассуждение, но разговор на этом кончился, потому что мы пришли в гороно и оказались перед секретарем заведующей. Секретарша удалась в кабинет Ревекки, и ее довольно долго не было, так что мы стояли без толку и разглядывали прошлогоднюю выставку детского рисунка, развешанную по стенам. Мне понравилась акварелька под названием «Любимый учитель». Был изображен Г. А. — почему-то за обеденным столом. В одной руке у него был огромный кусок торта, в другой — огромный уполовник с вареньем, и еще огромная банка с вареньем стояла на столе перед ним. Видимо, парнишка собрал на картинке все свои предметы любви.

Потом мы предстали.

Ревекка Самойловна поздоровалась с Г. А. и сразу же спросила: а что это за юноша? Г. А. сказал: это мой выпускник, ему было бы полезно послушать, ты не возражаешь? Ревекка явно хотела сначала возразить, но потом почему-то раздумала. Она протянула мне руку, и мы познакомились. Я сел в уголок и стал смотреть и слушать.

Она немолодая, но сногшибательно красивая. У меня из-за этого мысли были вначале несколько набекрень. И мне понадобилось очень основательно осознать, до какой степени она враг Г. А., чтобы я перестал видеть в ней женщину. (Вообще-то, они с Г. А. знакомы с незапамятных времен. Они вместе учились в Ташлинском педтехникуме, а

потом в Оренбургском педвузе. Он на три года ее старше. Кажется, отцы их тоже росли вместе и даже вместе воевали где-то. В Афганистане, наверное. Поразительно красивая женщина. А какова же она была тридцать лет назад?)

Г. А. перешел прямо к делу. Он сказал, что пришел самым покорнейшим образом просить ее смягчить свою позицию по отношению к Флоре. Он называл ее Ривой и смотрел на нее почти умоляюще.

Она холодно возразила в том смысле, что обо всем об этом у них с ним уже сто раз говорено и переговорено и что ждать от нее смягчения позиции просто нелепо. Или Флора, может быть, перестала быть источником нравственной проказы? Или, может быть, Г. А. придумал новые аргументы, способные успокоить обезумевших от беспокойства родителей? Или Г. А. изобрел способ отвлекать неустойчивых школьников от низких соблазнов Флоры? Может быть, лучи изобрел какие-нибудь? Или микстуру? Впрочем, называла она его Жорой и была скорее иронична, чем неприязненна.

Г. А. иронии не принял. «Ты хорошо представила себе, как это будет? — спросил он. — Этих мальчишек и девчонок будут волочить за ноги и за что попало и швырять в грузовики, их будут избивать, они будут в крови. Потом их перешвыряют на платформы, как дрова, и куда-то повезут. Тебе это ничего не напоминает?»

Она несколько побледнела и построжела, но тут же возразила, что Г. А. сгущает краски, все эти ужасы вовсе не обязательны, все будет сделано вполне корректно и в рамках человечности.

Г. А. сказал: «Ты прекрасно понимаешь, что никакой корректности при выполнении подобной акции быть не может. Наши дружинники и наша милиция — это всего-навсего обыкновенные горожане, точно такие же обезумевшие от беспокойства родители, родственники и просто ненавистники Флоры. При малейшем сопротивлении они сорвутся и начнут карать. Потом они опомнятся, им сделается непереносимо стыдно, и, чтобы спасти свою совесть от этого стыда, они дружно примутся оправдывать себя друг перед другом, и в конце концов эту, самую позорную, страницу своей жизни они представят себе как самую героическую и, значит, изувечат свою психику на всю оставшуюся жизнь».

Она нервно закурила, ломая спички, и снова сказала, что Г. А. сгущает краски, что она и сама, разумеется, не видит ничего хорошего в этой акции, но вовсе не намерена рас-

смаatrивать ее как некую преступную трагедию. Главное — все тщательно и четко организовать. Разумеется, всем участникам будет внушено, что они действуют во имя добра и должны действовать только добром...

Г. А. не дал ей договорить. «Держу пари, — сказал он с напором, — что сама ты не осмелишься присутствовать на этой акции. Ты все тщательно и четко организуешь, ты произнесешь нужные речи и дашь самые правильные напутствия. Но сама ты останешься здесь, за этим вот столом, — заткнув уши и закрыв глаза, будешь сидеть и мучительно ждать, пока тебе доложат, что все окончилось более или менее благополучно».

Еле сдерживаясь, она объявила, что не желает больше слушать этого карканья. Она совершенно убеждена, что никаких ужасов не произойдет.

Г. А. сказал печально: «Ты наговариваешь на себя. Я ведь вижу, ни в чем ты не убеждена. Ни в какие магические свойства инструкций и напутствий ты не веришь. Ты же умница, ты же знаешь людей. И конечно, ты своевременно позаботишься о том, чтобы все больницы города были приведены в полную готовность, ты соседние медсанбаты задействуешь, и в тылах твоей армии двинутся на Флору десять, двадцать, тридцать карет «скорой помощи»... Само решение твое организовать эту акцию уже проделало дырку в твоей совести. Сейчас ты эту дырку начала латать и будешь латать ее дальше...»

И тут она сорвалась. «Прекрати демагогию! — почти закричала она. — Перестань выкручивать мне руки! И не воображай, пожалуйста, будто я стану разводить антимионии вокруг моей дырявой совести, когда речь идет о судьбе детей, которых ежедневно отравляет эта зараза...»

Тут вот, совершенно не вовремя, у меня опять схватило живот, да так, что глаза на лоб полезли, и я почти перестал слышать что-либо, просто стало не до чего. (Возрастное это у меня, соматическое или психическое — когда схватывает, разницы никакой. Главное, что не вскочишь же и не побежишь вон, да и не знал я, где у них там заведение.)

Я сидел, обхвативши свой несчастный живот, и молился только об одном, чтобы лицо мое ничего не выражало. Вспоминалось харакири; рак желудка; лисенок, пожирающий внутренности юного спартанца. И сейчас я просто горжусь, что, несмотря на мое несчастье, я все-таки кое-что услышал, запомнил и даже записал. Правда, только то, что говорил Г. А.

От Ревекки остался в памяти один лишь резкий, почти истерический голос, от которого боли мои заметно усиливались, словно попадая в резонанс. А вот Г. А., чем больше она на него кричала, говорил все тише и печальнее.

Человечность едина. Ее нельзя разложить по коробочкам. А человечность, которую вы все исповедуете, состоит из одних принципов, вся расставлена по полочкам, там у вас и человечности-то не осталось — сплошной катехизис. Твой ученик лучше сожжет свои старые ботинки, чем отдаст их босому флюверу. И будет считать себя человечным в самом высоком смысле: «Пойди и заработай», — скажет он.

(Сейчас я вспомнил: на прошлой неделе какой-то скот подкинул Флоре ящик тухлых консервов. Я, пожалуй, берусь логически обосновать позицию, с которой это деяние выглядит высокочеловечным. Тезис первый: человечность должна быть с кулаками... И так далее.)

Человечность выше всех ваших принципов, сказал Г. А. Человечность выше всех и любых принципов. Даже тех принципов, которые порождены самой человечностью.

Потом обнаружилось, что они почему-то говорят уже о лицах. Оказывается, существуют две крайние точки зрения. Одни считают, что лица надобно упразднить, как заведения элитарные и противоречащие демократии, а другие — что сеть лицеев, наоборот, надлежит всемерно расширять и открывать по стране не три лица в год, как сейчас, а тридцать три. Или триста тридцать три. Замечательно, что и в том, и в другом случае самой идее лица как школы, в которой учат будущих учителей, самым благополучным образом наступает окончательный конец.

Не знаю, заметил ли Г. А. мое состояние, или исчерпалась необходимость в дальнейшем продолжении беседы, но он вдруг (мне показалось — ни с того ни с сего) поднялся и произнес:

— Что, Рива, дорогая моя, мерзко тебе чувствовать себя госпожой Макиавелли?

И произнес он это таким странным голосом, что у меня разом прошли все мои боли и я полностью очухался — весь мокрый от пота, но в остальном как огурчик.

Ревекка вдруг покрылась красными пятнами, сделалась совсем старой и некрасивой и объявила с вызовом:

— Понятия не имею, что ты имеешь в виду.

Что было явным враньем. Прекрасно она понимала, что Г. А. имеет в виду. В отличие от меня.

И тогда Г. А. сказал совсем уже тихо:

— Приговор мне и моему делу читаю я на лице твоём.

И мы ушли. Вежливо попрощавшись.

(Мы свернули по коридору направо и очень скоро оказались перед дверью в сортир. Вопрос на засыпку: зашли мы туда потому, что это понадобилось Г. А., или потому, что он таким образом дал мне деликатно возможность воспользоваться? И тогда спрашивается, что правильнее: проявить такую деликатность, но зато заставить потом младшего ломать голову, нет ли в этой деликатности некоего унижающего манипулирования его, младшего, самодостаточностью; или прямо сказать ему: сортир направо, я подожду здесь — что, безусловно, на минутку покажется ему, младшему, неприятно-бестактным, но зато не оставит по себе никаких обременяющих сомнений и рефлексий. Не знаю. Я не знаю даже, важно ли это и стоит ли об этом думать. Сам Г. А. наверняка о таких пустяках не думает и в подобных ситуациях действует совершенно рефлекторно. Но, с другой стороны, тот же Г. А. утверждает, что в отношениях между людьми пустяков не бывает.)

На лестнице Г. А. процитировал: «Шли головотяпы домой и вздыхали. Один же из них, взяв гусли, запел... Откуда?» Вместо ответа я продолжил: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...» Однако обычного удовольствия от обмена такого рода репликами мы не испытали. Во всяком случае, я. А когда мы вышли на улицу, Г. А. вдруг остановился и, посмотрев на меня и сквозь меня, произнес задумчиво: «Когда доброму гражданину цивилизованной страны больше некуда обратиться, он обращается в милицию». И мы направились в милицию. Три автобусных остановки. Довольно жарко. Тени нет.

У входа в «Снегурочку» нас словно поджидал некий очень молодой гражданин, который пристроился к Г. А. и сказал ему негромко, глядя прямо перед собой: «Они уже автобусы готовят». Я узнал его, это был давешний куст, но уже без репьев в голове, умытый и облаченный в цивильное, как все добрые граждане.

Г. А. ничего ему не ответил, только кивнул в знак того, что услышал и принял к сведению. Юнец тут же отстал, а Г. А. почему-то пошел медленнее, без всякой целеустремленности, а как бы фланируя, и даже руки заложил за спину. Так и профланировали мы до самого подъезда милиции. Г. А. молчал, а я — тем более. Перед подъездом он вдруг как-то прочно остановился. «Нет, — сказал он мне, — к

этому разговору я еще не готов. Пойдемте-ка домой, ваша светлость».

Перечитал записи последних дней насквозь. Мне не нравится:

1. Что Г. А. так активно вступился за Флору. Милосердие милосердием, но, по сути дела, речь идет о выборе между благополучием все-таки подонков и социальным здоровьем моего города.

2. Что Г. А. явно останется в одиночестве. Если уж мне не хочется его поддерживать, то что же тогда говорить, например, о Ване Дроздове и о Сережке Сенько?

3. И мне не нравится то, что я сейчас написал. Люди несоизмеримы, как бесконечности. Нельзя утверждать, будто одна бесконечность лучше, а другая хуже. Это азы. Я отдаю предпочтение одним за счет других. Это великий грех. Я опять запутался. Муторно. Поужинаю — и сразу спать.

17 июля. 5 часов утра

События развиваются странно.

Около полуночи Г. А. постучался и безо всяких объяснений велел нам с Мишелем одеваться. (Я проспал три часа, а Михай вообще только глаза завел.) Мы оделись и сели в машину — Г. А. за руль, мы сзади.

Сначала я подумал было, что Г. А. решился наконец запустить нас в ночную смену на скотобойню, но мы поехали совсем в другую сторону, к университету, и остановились в тени новостройки неподалеку от третьего блока общежития для женатиков. Там Г. А. велел Мишелю сесть за руль и ждать, а сам удалился — пересек сквер и нырнул в пятый подъезд.

Как интере-е-есно, фальшивым голосом пропел Мишка и спросил меня, заметил ли я, как странно одет Г. А. Я ответил, что да, заметил, и, в свою очередь, спросил, заметил ли Мигель, что в этом полотняном балахоне Г. А. какой-то непривычно толстый и неповоротливый. Мигель заметил и это. Он приказал мне выйти из машины и принялся проверять стоп-сигналы, указатели поворота и прочее электрооборудование.

Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись появился Г. А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре баскетбольного роста, головы на три длиннее Г. А. Лет ему было порядком за двадцать, на нем был немо-

лодой ворсовый костюмчик — вернее сказать, только штаны были на нем, а курточку он все никак не мог на себя натянуть, видно, сильно нервничал, и она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть.

Увидевши меня, он стал как вкопанный и спросил сигло: «А этого зачем?» Очень я ему незанадобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г. А. буркнул ему что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?» Г. А., не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянул на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г. А. сел рядом с ним, а я вперед — рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли, да стоит ли, но Г. А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: в университет — и мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся.

Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г. А. командовал: направо, налево — а хомбре только один раз подал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич...» Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного.

Г. А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать, а сам вместе с хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо.

Как интере-е-есно, повторил Мишель, но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. (Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс еще какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный, как пятилетний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и осталась валяться на заднем сиденье.)

Ждать пришлось минут десять, не больше. Прямо над ухом с леденящим лязгом грянуло железо, и в двух шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещенной могилы, выдвинулся хомбре, на шею которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г. А. Другая рука Г. А. болталась как неживая, а лицо его было в черной, лаково блестящей крови.

Мы кинулись, и Г. А. прошипел нам навстречу: «Стоп, стоп, не так рьяно, дети мои...» А затем он проскрипел тря-

сущемуся как студень хомбре: «Чтобы через два часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами — чтобы духу вашего не было!..» И снова нам, все так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои. Но мягче, мягче... Ничего, это не перелом, это он просто меня ушиб...»

Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая — кто посмел? И вторая — почему бока у Г. А. твердые, как дерево.

Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать Г. А. в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нем дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что Г. А. облачен в старинный, времен афганской войны бронежилет.

Выяснилось, что у Г. А.: страшный ушиб левого предплечья (ударили либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге) и длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо (по-моему, удар кастетом, но, к счастью, по касательной). Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился — все внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я очень понимаю, почему врачи избегают пользоваться своих родных и близких.

На протяжении всех процедур Г. А., как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, но зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал. Из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. (Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтет, а потом решил: а почему, собственно?)

Дело наше уже подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову: что теперь со врать Серафиме Петровне и вообще всем нашим? Г. А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресек. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо. Тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при каби-

нете. Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г. А., будет как новенький.

А перед тем как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жестко и повелительно:

— Имейте в виду. Сегодня ночью вы постелей своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что поскользнулся на лестнице. И вот что: никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ. И просьба. Не знаю, что для вас обязательней. Особенно это тебя касается, Мигель де Сааведра!

Мы вернулись к себе в два часа ночи. Сейчас пять. Больше двух часов ломали голову: что все это означает? Кто такой этот хомбре? Что Г. А. понадобилось в подвале? Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронезилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что еще там за профессионал объявился? Ничего не понятно. Только раздражение одно.

Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурболки отскакивают.

Нет, не спит Майкл. Повернулся ко мне и произнес мечтательно:

— А ведь он там так и валяется, связанный. И с кляпом. А?

Что я ему мог сказать?

17 июля. Вечер

Около полудня Г. А. взял меня с собой в кормилицию.

Чувствует он себя неплохо. Рука на перевязи почти не болит. А что касается ссадины, то великая это вещь — терамидоновый пластырь. Лицо ничуть не опухло, разве что несколько оттянут внешний уголок правого глаза.

Майор Кроманов принял нас без задержки. Я вижу его не впервые и каждый раз удивляюсь, до чего же человек может быть не похож на начальника кормилиции. Он широкий, рыхлый, вяловатый в движениях и обожает поболтать о том о сем. Битых полчаса они с Г. А. рассказывали друг другу разные случаи о падениях с лестниц. А также — с трапов, с пандусов и прочих наклонных путепроводов. Потом Г. А. перешел к делу.

Какова позиция городской милиции в отношении готовящейся акции против Флоры? Что думает по этому поводу он, Михайло Тарасович, лично? Что правильнее: сделать

милицию непосредственной участницей планируемой акции или уделить ей роль некоего сдерживающего фактора, некоего нейтрального механизма, призванного обеспечить порядок и дисциплину? Вообще, понимает ли Михайло Тарасович всю деликатность своего положения?

Михайло Тарасович деликатность своего положения понимал очень даже хорошо. Флора — это настоящая куча дерьма. Чем меньше ее трогаешь, тем меньше вони. Таково личное мнение Михайлы Тарасовича. Если бы можно было всю эту кучу в одночасье поддеть на лопату и бесшумно перенести в соседнюю, скажем, область, то это было бы самое то. Однако бесшумно такое дело не сделаешь. Вот если бы поступил приказ УВД, тогда никаких проблем бы не было и быть не могло, и уж не очень важно, шумно ты выполняешь этот приказ или бесшумно. Однако приказа такого нет и что-то не предвидится. А имеет место быть общественное движение. Бесспорно, мощное движение, единоедушное, но руководство исполкома не слишком его поощряет, а уж о горкоме и речи пока нет.

Теперь смотрите сюда, дорогуша Георгий мой Анатолевич. Существование Флоры никакими законами не запрещается. Массовая неформальная молодежная организация, никаких преступных целей не преследующая. Статья сорок вторая Общего уложения, пункты А, Б и В. Это с одной стороны. А с другой стороны — массовое общественное движение, которое стремится стереть эту Флору с лица земли, — волеизъявление большинства, причем подавляющего большинства, того самого большинства, которому мы с вами, милый вы мой учитель, обязаны служить. А с третьей стороны — меня здесь посадили, чтобы я охранял общественный порядок. А что такое общественный порядок? Это значит: никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более — носящих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать Флору, всячески способствовать ее уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило, — и все это одновременно.

Г. А. Признает, что да, трудные настали времена для милиции.

М. Т. (мечтательно заведя глаза). «Вот помню, когда я еще был курсантом...» Рассказывает замшелую историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних «дикобразов» с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мо-

топехоты — и никаких разговоров. Буквально тридцать минут понадобилось, вот по этим часам. (Убедительно стучит ногтем по дисплею старинного «Роллекса».)

Г. А. А если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет?

М. Т. Чье указание? Петра Викторовича, что ли?

Г. А. Хотя бы... Или, например, из Оренбурга, по вашей линии.

М. Т. Милый вы мой и дорогой! Ей-богу, все понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам эта Флора? Грязная ведь куча, и больше ничего. Что вы за нее так хлопчете?

Услышав это, Г. А. некоторое время молчал, а потом сказал (дословно):

— Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чем не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо. Несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?

М. Т. (крайне возмущен). То есть как это — несправедливо? Дети наши бегут туда, как в банду! Наркотики. Хулиганство. Промискуитет, простите за выражение. Принципиальное тунеядство! Мало ли что нет против них закона! Значит, отстаем мы от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями... Ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на Флору вашу первым же пошел бы и был бы в своем праве! (Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутряное, у него еще было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной, и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок.)

Г. А. (пытается втолковать). Они не бегут во Флору, они образуют Флору. Вообще они бегут не «куда», а «откуда». От нас они бегут, из нашего мира они бегут в свой мир, который и создают по мере слабых сил своих и способностей. Мир этот не похож на наш и не может быть похож, потому что создается вопреки нашему, наоборот от нашего и в укор нашему. Мы этот их мир ненавидим и во всем виним, а винить-то надо нам самих себя.

Для М. Т. все это как с гуся вода. Он откричался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен. «Это, душа моя, все философия, — говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует!). — Я ведь, собственно, что хотел вам посоветовать? Не связывайтесь вы с Оренбургом. Орен-

бург помалкивает. «Действуй по обстановке» — вот и весь разговор. И очень хорошо я их понимаю. И между прочим, действую. По обстановке. В Новосергиевке давеча полезли было эти неумытки из «пятьсот веселого» Оренбург — Черма, так там железнодорожники совместно с милицией вежливенько посадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту, и поехали они дальше... Оренбург официального слова не сказал, но было дано понять, что так, мол, держать и в дальнейшем. В Оренбурге ведь с вами и разговаривать не станут, Георгий свет Анатольевич! Ну, примут к сведению. Ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы все-таки депутат и заслуженный учитель. Но до дела не дойдет. Уклонятся. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить».

Г. А. некоторое время молчал, баюкая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня. Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г. А. (с признательностью) разрешил и велел мне ждать его в буфете и чтобы взял я ему там бульон с пирожками — пусть остынет.

Все получилось очень мило, и все-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделаться. Не в первый раз. Все понимаю, и напрасно Г. А. потом приносит мне свои извинения. И все равно обидно. Возрастное. Вроде резей в животе.

Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну, хорошо, Михайло Тарасович. Убедить вас мне не удалось. Тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала тысяча рублей».

Г. А. отсутствовал пятнадцать минут. Потом пришел, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка и только затем вдруг спохватился и принес мне свои извинения. Причем, к изумлению моему, счел даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей узкослужебный характер.

Когда мы вернулись домой, в приемной дождался Г. А. какой-то человек. Я пишу сейчас о нем по одной-единственной причине: в жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось.

Они с Г. А. скрылись в кабинете, а я все никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры — приторные до подхалимства. Одно ухо красное, другое желтое. Пиджачная пуговица на сыгом животике висит на

последней нитке. И штиблеты! Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило: человечек этот, весь как есть, вывалился к нам в лицей напрямиком из какой-то древней кинокомедии. Еще черно-белой. Еще немой, с тапером... Весь как есть, даже не переодевшись.

После ужина я спросил Г. А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г. А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» — спросил он. Я сказал, что Чарли Чаплина. «Чарли Чаплина? Вот странная идея», — произнес Г. А., и разговор наш на этом закончился.

В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей.

Рукопись «ОЗ» (10—14)

...Не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и Назаретянин. Собственно, родился он не один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковом Старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Иоханаана. Кстати, Иоханаан (Иоанн, Иоганн, Иван, Ян, Жан) означает «Милость бога» («Яхве милостив»). Надо будет посмотреть, что означает Иаков (Джекоб, Яков, Жак).

Название рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам поселок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыборотговец, и звали его Заведей. В семье Заведей было еще десять дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли.

Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шkodники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес («Сыны громовы») дал им Назаретянин, когда всем троим было уже за тридцать. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища «Боанергес» звучит как нечто грозно-благородное. Для соседей же не Сыны громо-

вы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники. Срань господня.

Время было смутное — время ожидания больших перемен, время великих пророчеств и малых бунтов. Как и вся галилейская молодежь того времени, Боанергес не желали идти по стезе покорности. Они не желали ловить рыбу и доходы свои смиренно отдавать мытарю. Они вообще не хотели работать. С какой стати? Они хотели жить весело, рискованно, отпето — играть ножами, портить девок, плясать с блудницами и распивать спиртные напитки. И в то же самое время хотели они великих подвигов во имя древнего бога и древнего народа, мерещились им голоса могучих пророков и команды блестящих полководцев, грохот рушащихся стен Иерихона и жалкие вопли гибнущих иноверцев. Короче говоря, они являли собою великолепное сырье, из которого опытная рука могла вылепить все что угодно — от фанатичных убийц до фанатичных мучеников.

Однако, когда встал на их пути Иоанн Креститель, дороги братьев Боанергес разошлись. Выслушав первую лекцию знаменитого проповедника, Иаков сплюнул в пыль жвачку, затянул потуже пояс с римским мечом и негромко спросил: «Ну что? Пошли к бабам?» Но Иоанн не пошел к бабам. Он остался. Парадоксальная идея любви к людям и всеобщего братства странным образом захватила его.

«Не будь занудой! — говорили ему. — Брось ты своего старого пердуна, и пойдём выпьем эфесского!» — «Сами вы пердуны, — отвечал он. — В одном пучке моего пердуна в сто раз больше толку, чем во всем вашем болботанье». — «Но ведь это учение совершенно бессмысленно! — втолковывали ему. — Как ты можешь верить в подобную чушь?» — «Потому и верю я, что это бессмысленно», — отвечал он, на много предвидя достославного Квинта Септимия Тертуллиана, епископа Иверийского. «Но ты же должен понимать, что это учение противоречит здравому смыслу!» — внушали ему. «Куштмир ин тухес со своим здравым смыслом, — огрызнулся он, — унд зайт гезунд!» (По-арамейски, разумеется, это звучало иначе, но смысл был тот же: поцелуйте меня в задницу со своим здравым смыслом и будьте здоровы).

А потом появился Назаретянин (тот, которого тогда и потом все называли Назаретянином), и Иоанн отдался ему без остатка. Он стал учеником его, и телохранителем, и снабженцем, когда это требовалось, — иначе говоря, он стал

апостолом его, одним из двенадцати и одним из двух любимых. Вторым любимым был Петр.

В традиции Петр представляет экзотерическую, всенародную сторону христианства — исповедание веры, данное всем и каждому. Иоанн же — эзотерическую сторону, то есть мистический опыт, открытый лишь избранным, немногим. Поэтому церковь всегда стремилась дополнить начало Петра началом Иоанна, и еретики — гностики второго века, катары одиннадцатого — тринадцатого веков — всячески противопоставляли Иоанна Петру. Все это домыслы, и все это совершенно неважно. Главное и единственное зерно истины здесь — противопоставление.

Они на самом деле не любили друг друга. Иоанн не любил Петра потому, что не верил ему (как показали события — справедливо). Петр же попросту ревновал, он никак не мог понять, почему Учитель ставит на одну доску с ним, смиренным, просветленным и безгрешным Петром, этого буйного, злоязычного, не расстающегося с оружием греховодника.

Петр был солиден и степенен. Иоанн был дерзок и резок.

Петр был велеречив и многоглаголен. Иоанн был зубоскал и ругатель.

С Петром Учителю было легко. С Иоанном ему было надежно.

Именно Иоанн возлежал на груди Учителя во время той последней трапезы, и это вовсе не было проявлением сентиментальности — просто помстилось ему вдруг, что вот-вот тоненько взвякнет в кустах за окном тетива и стрела вонзится в сердце любимого человека. И он заслониł собою это сердце и, слушая биение его, вдруг с ужасом ощутил, как страшное знание предстоящей муки переливается в него, Иоанна, страшным мучительным предчувствием, обессиливающим и не оставляющим надежды.

И именно он, Иоанн, единственный из всех, встал с мечом в руке у входа и рубился со стражниками, не отступая ни на шаг, весь окровавленный, с отрубленным ухом, оскальзываясь в крови, хлещущей из него и из поверженных врагов, пока Учитель, сорвав голос, не подбежал к нему сзади и не вырвал у него меч. Тогда он голыми руками проложил себе дорогу к свободе и бежал, не желая видеть, что будет дальше, потому что он уже знал, что будет дальше.

Он должен был умереть этой же ночью, попросту истечь кровью, но добрые люди подобрали его в придорожной ка-

наве, и каким-то чудом он сумел выжить. Слово «чудо» употребляется здесь не как фигура речи, он совершенно уверен, что спасло его именно чудо, мистическое вмешательство — первое мистическое вмешательство в его жизнь. (С именем Иоанна традиция всегда связывала мистические мотивы. Византийские авторы прилагали ему слово «мист», церковно же славянские — «таинник».)

Через два месяца после гибели Назаретянина, когда Иоанн кое-как, на карачках, впервые выполз на солнышко погреться, его нашел Иаков Старший. «Все, — сказал матерый разбойник. — Хватит дурью маяться. Пошли, там у меня повозка». С этого момента и на некоторое время Иоанн перестал быть христианином. Наверное, его следовало бы назвать отступником. На самом деле никакого отступничества в строгом смысле этого слова не было. Просто от горя и отчаяния он потерял какую бы то ни было перспективу и пустился во все тяжкие.

Несколько лет спустя, когда Боанергес, наслаждаясь заслуженным отдыхом, прогуливали в компании шлюх и подельщиков хабар в одном из притонов на окраине Александрии, Иаков вдруг толкнул брата в бок.

— Гляди, кто пожаловал, — сказал он.

Иоанн поглядел и увидел длинного и сухого, как жердь, нищесброда, который, стоя у порога, торопливо и жадно поедал неаппетитную снедь, извлекая ее грязными пальцами из щербатой глиняной миски.

— Да это же тот самый Агасфер! — сказал Иаков. — Ботадеус, «Ударивший бога»!

— Не знаю такого, — отозвался Иоанн, — да и знать не хочу. По-моему, это его бог ударил, а не наоборот.

И тут Иаков с жаром пересказал ему, что произошло в день казни между Учителем и Агасфером на дороге к Голгофе, в то время как раз, когда Иоанн подыхал от потери крови у добрых людей.

Иоанн внимательно выслушал всю историю до конца. Он вдруг испытал огромное облегчение. Оказывается, он ничего не забыл. Оказывается, все эти годы он мучился мыслью, что Иуда сумел уйти от возмездия. Каифа тоже давно откинул копыта. Пилат недосыгаем. И есть еще тысячи. Они не убивали Его. Они всего-навсего оскорбляли Его. Их тысячи, и они безымянны. Но вот наконец появился некто с именем. Длинный, тощий, унылый, пожирающий отбросы. Ударивший бога.

— Этот человек должен быть строго наказан, — сказал Иоанн громко.

Он не знал, что этот человек уже наказан достаточно строго — так строго, как неспособны наказывать смертные. И уж, конечно, ему в голову не могло прийти, что, наказывая этого унылого говноеда, он бесповоротно нарушает волю единственного человека, которого он любил, — из живых и из мертвых.

Никто не обратил внимания на его слова, а он спихнул с колен разомлевшую эллинку, легко поднялся, подошел вплотную к нищebroду и тем самым длинным ножом, которым только что кромсал баранью лопатку, ткнул под шербающую миску — снизу вверх, по самую рукоятку.

Exit Агасфер, он же Эспера-Диос, он же Ботадеус, Ударивший бога.

И дальше понесло братьев Боанергес по пределам Великой империи, и уже полиции двадцати городов и шестнадцати провинций числили их в своих списках «листид энд вонтид», трижды стяжали они и трижды промотали громадные состояния, четырежды принимали участие в мятежах против римских властей, и неисчислимое множество раз совершили они разбойные нападения на купцов, на помещиков, на ростовщиков, на мыггарей, на случайных прохожих, а однажды даже — на базу морских пиратов, — пока не оказались в Риме и не попались на самом что ни на есть пустяковом дельце.

Поскольку дельце было пустяковое (они зарезали подда того горожанина, возвращавшегося из бани, и были взяты ин флагранти), все было закончено в одно заседание. Разумеется, братья назвались чужими именами. Иаков Старший выдал себя за беглого из Пергама, а Иоанн, словно по наитию, назвал себя Агасфером, горшечником из Иерусалима. Господину районному судье, завязтому антисемиту, с утра вдобавок страдающему от алкогольного отравления, все это было совершенно безразлично. «Пергамен! — сказал он с болезненным сарказмом. — Это с такими-то пейсами! А ну скажи: «На горе Арарат растет красный виноград!..» Дело было абсолютно ясное. Двое бродяг из колоний дерзко лишили жизни римского гражданина. Приговорить мерзавцев к смерти через отравление.

В ночь перед казнью Иоанна почему-то совсем замучил дурацкий вопрос: зачем это ему вдруг понадобилось назвать себя именно Агасфером из Иерусалима? Что это было? Приступ бандитского ухарства, лихая предсмертная шутка?

Холодный ли расчет? Назовусь-ка я именем мертвеца, пускай ищут. Или, может быть, подсознательное желание еще раз опозорить позорное имя?

О том, что это было предопределение, Иоанну суждено было догадаться гораздо позднее.

Иаков, проглотив яд, умер довольно быстро, хотя, разумеется, и помучился, — ровно в той мере, в какой это было предусмотрено имперским правосудием. Иоанн — не умирал. Трижды ему, связанному, вливали в рот смертельное пойло, и трижды, судорожно корчась, он извергал все обратно. Случай этот был хотя и редкостный, но далеко не первый, и в соответствии с прецедентом положено было доварить Иоанна в кипящем масле.

Так ему выпала еще одна ночь жизни. Видимо, яд все-таки проник в его организм, потому что до самого утра мучили его образы и одолевали голоса. Это было страдание. Он никак не мог понять, кто разговаривает с ним и что именно говорит. Нет, это не был Назаретянин. Это был кто-то, равный Ему, но не внушающий любви и не дарящий радости. Слова его были невнятны Иоанну. Иоанн понял только, что ему снова выносят приговор и снова его наказывают.

Заколов Агасфера, ты нарушил волю Учителя — вроде бы сказано было ему.

Приняв имя Агасфера, ты сам определил себе наказание — вроде бы сказано было ему.

Отныне и до Страшного Суда ты будешь ходить по миру — сказано было ему.

И будешь ты делать нечто, нечто — сказано было ему.

А вот что такое это «нечто» — Иоанн так и не понял в ту ночь.

Утром его привели к Латинским воротам и при небольшом скоплении народа сунули ногами вниз в огромный чан с кипящим маслом. Это было невыносимо больно, и Иоанн потерял сознание. Но он опять не умер.

Очнувшись, обнаружил он, что лежит на каменном полу в знакомом помещении суда, а над ним в пять глоток бранятся чины римской юридической коллегии. Оказывается, никакого преступника нельзя казнить трижды. Казнить третий раз, оказывается, означает искушать долготерпение богов. Искушать долготерпение не хотелось никому, кроме господина районного судьи, который таким образом оказался в меньшинстве. Однако, с другой стороны, никакого преступника нельзя, ра-

зумеется, оставлять безнаказанным. Поэтому юридическая коллегия приговорила: сослать навечно Агасфера из Иерусалима в одну из самых занюханных колоний Рима, в Азию, а именно — на островок Патмос. Что и было исполнено.

(Справка: Патмос, крошечный остров в Эгейском море в сорока километрах южнее линии, соединяющей острова Икария и Самос. В описываемое время его населяло несколько десятков вполне диких фригийцев, имеющих словарный запас в две дюжины слов и питающихся козьим сыром, вяленой рыбой и водорослями. Кроме фригийцев и коз из крупных млекопитающих обитали там также и ссыльнопоселенцы.)

Иоанн провел на Патмосе сорок лет.

Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что все это время рядом с ним безорлучно находился ученик его и слуга по имени Прохор. В высшей степени замечательная фигура этот Прохор. В утро кипящего масла у Латинских ворот ему было шестнадцать лет. Он был грек по происхождению и тайный христианин по убеждениям. Случайно оказавшись у места казни, он со всевозрастающим восторгом и обожанием наблюдал и слушал, как торчащая из булькающего масла голова с закаченными глазами хрипло провозглашает слова Учения вперемежку со странными откровениями и описаниями чудесных видений. К тому моменту, когда палачи отчаялись выполнить свой долг и потратили все отпущенное им масло, а вокруг котла собралось уже пол-Рима, Прохор понял, что се человек из царства не от мира сего. Судьба его определилась в это утро, и он последовал за Иоанном на Патмос, исполненный предчувствия подвига. При нем был большой запас пергамента и чернил, а также мешок сушеных смокв на первое время. Все это, разумеется, он украл у своего прежнего хозяина, в лавке которого отправлял обязанности ученика писца.

Предыстория Иоанна-Агасфера на этом заканчивается. На острове Патмос начинается его история.

11. В полном молчании мы поднялись на наш двенадцатый этаж и остановились перед дверью без номера. Миша сказал, слегка задыхаясь:

— Ты вот что, Серега. Говорить буду я, а ты помалкивай.

Я ничего ему не ответил, меня бил озноб. Только на лестнице, минутой назад, до меня вдруг дошло, что я втягиваю своего старинного дружка в крайне опасную для него затею. И тот факт, что у него, мол, служба такая и что он сам настоял на

этом визите, меня ничуть не оправдывает. Очень мне хотелось сейчас сказать ему: «Ладно, Мишка, не надо. Ну их всех к черту». Но ведь и так поступить я тоже не мог! Надо же было как-то разрывать проклятый замкнутый круг...

В прихожей я помог Мише снять плащ, повесил его на распялку, а мокрый берет его положил под зеркало. Миша неспешно расчесывал перед зеркалом свои сильно поредевшие русые кудри. По-моему, он был абсолютно спокоен, будто в гости пришел в семейный дом коньячок пить и лимончиком закусывать.

— Куда прикажешь? — спросил он негромко, продул расческу и сунул ее в карман.

— Сейчас, подожди минутку, — сказал я.

Я не желал, чтобы мой Миша вел эту беседу из кресла для паршивых просителей. И вообще, пусть все увидит своими глазами.

— А вообще-то, чего ждать? Пошли, — сказал я и двинулся прямо в Комнату.

— Спокойно, Серега, спокойно, — промурлыкал Миша у меня за спиной. — Все нормально...

Комната была пуста. Я посторонился, пропуская Мишу, чтобы он увидел все: и дурацкий топчан у стены, и две блестящие металлические полосы, протянувшиеся от окна к дверям Кабинета, и дверь в Кабинет, как всегда распахнутую в глухую бездонную тьму, пронизываемую мутными пульсирующими вспышками. Миша все это быстро оглядел, и на лице его появилось незнакомое мне выражение. Он словно бы затосковал слегка, будто предстояло ему теперь же и непременно проглотить стакан касторки.

Демиург грянул:

— Клиента — в Приемную! Что еще за вольности?

Я стиснул зубы и злобно процедил:

— Это не клиент. Я попросил бы вас выйти и поговорить с ним.

— Делайте, что вам сказано!

Миша крепко взял меня за локоть и сказал в сторону Кабинета:

— Меня зовут Михаил Иванович Смирнов. Я — майор государственной безопасности и хотел бы с вами побеседовать.

Демиург, по-видимому, несколько не удивился.

— Побеседовать или допросить? — осведомился он.

— Я здесь неофициально, — ответил Миша. — Просто хочу задать вам несколько вопросов.

— Почему — мне?

— Я хотел бы разобраться, представляет ли ваша деятельность интерес для моей службы. Уточняя: сейчас вы вправе не отвечать на мои вопросы.

— Можете не уточнять. Я всегда в таком праве... Сергей Корнеевич, я все равно не выйду, не надейтесь. Предложите гостью сесть.

— Не беспокойтесь, — сказал Миша. — Я сегодня весь день сидел. А вот повидать вас мне бы, честно говоря, хотелось.

— Еще бы... Ладно, я обдумую эту идею. Посмотрим, как вы будете себя вести. А пока можете задавать ваши вопросы.

У меня икру свело от напряжения. Я кое-как дохромал до топчана, сел и принялся растирать ногу. А эти двое уже разговаривали, да так бойко, словно были знакомы всю жизнь и теперь затеяли игру в «барыня прислала туалет».

— Кто вы такой?

— У меня много имен. Меня зовут Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник, Гефест, Гу, Ильмаринен, Хнум, Вишвакармен, Птах, Яхве, Мулунгу, Моримо, Мукуру... Достаточно, я полагаю?

— Я не спрашиваю ваше имя. Я спрашиваю, кто вы такой.

— Я гончар, кузнец, плотник, ткач... Неужели мало? Я Демиург, наконец.

— Но вы, я полагаю, человек?

— Конечно! В том числе и человек.

— А еще кто?

— Вы что — не знаете, кто такой демиург? Так посмотрите в словаре.

— Хорошо. Посмотрю. И давно вы здесь?

— Больше полугода... Хотя... Это же зависит от того, как считать. Послушайте, а вам не все равно?

— Мне не все равно. Но если вам трудно ответить, оставим пока этот вопрос. Откуда вы прибыли?

— Вот что, майор. Хочу вас предупредить. Если я стану отвечать на ваши вопросы, касающиеся пространства и времени, то уверяю вас: ни удовольствия, ни удовлетворения вы не получите.

— Хорошо, я приму это к сведению, — терпеливо сказал Миша. — Так откуда вы прибыли?

— Да ниоткуда я не прибыл. Я был здесь всегда.

— Вот в этой самой комнатке?

— Это комнатка была здесь не всегда, майор. А я — всегда. В известном смысле. Причем и здесь, и не только здесь.

— Это любопытно. Насколько мне известно, человек такими возможностями не обладает. Прикажете мне сделать вывод, что вы все-таки не человек?

— Человек такой способностью не обладает. Верно. Зато я обладаю способностью быть человеком. И не только человеком.

— Ну что ж, это ваше право. Это никакими законами не возбраняется. А теперь расскажите мне, пожалуйста, если можно, конечно, какова цель вашего пребывания здесь?

— Мне кажется, что вы привыкли иметь дело с иностранцами.

— Почему же это вам кажется?

— Очень правильная речь. Очень свободные манеры. И вы явно привыкли задавать этот вопрос — о целях пребывания.

— Между прочим, я и ответы привык получать на этот вопрос. Итак?

— Я ищу Человека.

— Кого именно?

— Я ищу Человека с большой буквы.

Все время, пока шел этот быстрый обмен вопросами и ответами, Миша не оставался в покое ни на минуту. У меня было даже такое впечатление, словно он не особенно задумывается над своими вопросами и не очень-то вслушивается в ответы. Бесшумно ступая, он обошел комнату, внимательно оглядывая и ощупывая стены, постоял, задрал голову, под свисающим черным шнуром, изучая его прищуренными глазами, потом подошел к окну и заглянул вниз, а потом, присевши на корточки, осмотрел металлические полосы и даже постучал по ним ногтем — по одной и по другой. С отчаянием и бессильным разочарованием наблюдал я, как на его лице все отчетливее проступает сожаление о зря теряемом времени. Я словно читал его мысли: да, порядочной ерундой я тут занимаюсь, позвоню-ка я в раймилицию, пусть участкового пришлют, и все дела...

Услышав про Человека с большой буквы, он легко поднялся с корточек, подмигнул мне и, неслышными шагами направляясь к двери в Кабинет, произнес с комической серьезностью:

— А вы возьмите меня.

И впервые не последовала ответная реплика. Миша

успел сделать еще два осторожных шага, и тут из тьмы на- встречу ему выдвинулся Демиург, остановился на пороге и навел на Мишу бешеные яблоки своих глаз.

Я вскочил. Я испугался чуть не до обморока. А Миша отступил на шаг и сделал странное, незаконченное движение правой рукой — то ли хотел заслониться ею, то ли (несмотря на заверения его) что-то все-таки висело у него под мышкой левой руки. Он побелел, и крупные капли пота разом выступили у него на лбу. И тогда Демиург прогрохотал:

— Я обдумаю ваше предложение.

Сказал и соскользнул обратно во тьму.

12. В прихожей я попытался подать Мише плащ, но он отобрал его от меня со словами: «Давай, давай сюда! Что еще за китайские церемонии!» Пока он застегивался и напяливал перед зеркалом берет, я все ждал, скажет он мне что-нибудь прямо здесь или мы поговорим на лестнице. Но тут рядом обрушилась спускаемая вода, щелкнула задвижка, и из совмещенного санузла вывалился в прихожую Агасфер Лукич. Он хлопотливо, обеими руками застегивал ширинку, ухитряясь при этом тремя пальцами правой руки держать при себе свой любимый портфель.

— Пардон, пардон, пардон! — жизнерадостно воскликнул он, лаская Мишу Смирнова профессиональным взглядом. — Разрешите представиться: Агасфер Лукич Прудков, Госстрах, к вашим услугам. Руки не подаю — в силу последнего местопребывания. Не могу не воспользоваться моментом, однако. Госстрах, уважаемый Михаил Иванович, предлагает к вашим услугам...

И с феноменальной скоростью, нисколько, впрочем, не отражающейся на разборчивости и внятности, Агасфер Лукич рассыпал перед ошеломленным Мишей роскошный бисер всех услуг, которые предоставляет в распоряжение добропорядочного гражданина наша система государственного страхования.

Меня поразило, что Миша, по-видимому, совершенно забыл все, что я рассказывал ему об Агасфере Лукиче. Для него это явно был обыкновенный навязчивый страх агент, от которого совершенно не знаешь, как избавиться без откровенной грубости и хамства. Миша неловко улыбался, делал обеими ладонями отстраняющие жесты, прижимая ладони к груди со словами: «Благодарю вас, я уже...» — в общем вел себя не как Исаев-Штирлиц, а как занюханый

кандидат наук, застигнутый у родимой кассы с зарплатою на руках. И когда мы выкатились наконец на лестничную площадку и я захлопнул за собою дверь, он с комическим облегчением вытер со лба воображаемый пот и сказал:

— Уф-ф... Еле ушел!

Мы начали спускаться по лестнице.

— Ну, как тебе? — нетерпеливо спросил я с тревогой. И тут выяснилось такое, о чем я и сейчас вспоминаю с ознобом между лопатками. Хотя на самом-то деле — ну чего другого мог я ожидать? А было так.

На протяжении первых четырех этажей Михаил говорил неохотно, как бы через силу, говорил не потому, что хотел говорить, а потому, что считал себя обязанным сказать мне хоть что-то. Он мне благодарен. Я молодец. Я правильно сделал, что обратился к нему. Дело вызревает нешуточное. Этим займутся те, кому положено, а мне оставаться здесь совершенно не нужно. Может быть, даже опасно... Что тебя, собственно, здесь держит? Может быть, нужна помощь? Так скажи! Лучше всего, если ты уйдешь прямо сегодня, прямо сейчас... О жилье не думай, это все будет устроено...

На девятом этаже он взял меня под руку и принялся доверительно рассказывать, что аналогичный случай уже был у него — лет пятнадцать назад. Жулики эти мои, надо сказать, ловкие, однако ничего нового под луною, как известно, нет. Стоило ему увидеть эти металлические направляющие, как он сразу все понял. Никакие это не направляющие — это шины. А в кабинете у них — генератор. Правда, кое-что он даже сейчас объяснить не может, да это и не его дело... Это вообще не наше дело. Участковый прохлопал, ясно как день. У него в участке, понимаешь, такая банда аферистов, месяц уже орудуют как минимум, а он ушами хлопает. Я вот чего не могу понять: тебя-то они чем держат? Неужели ты такой легковерный? Мамочка моя, а еще кандидат, без пяти минут доктор... Ты дождешься, что тебя вместе с ними заберут! Статья такая-то, соучастие в жульнических махинациях... Не купили же они тебя, в самом деле. Понимаю, понимаю: обманули. Я и сам спервоначалу черт-те что подумал, а ведь я — стреляный волк... Ничего, не дрейфь, я тебе верю, заступлюсь, пройдешь по делу как свидетель... И возвращайся-ка ты в свою Степную, займись своими любимыми звездами, забудь про все про это, черт тебя сюда принес!..

На третьем этаже он крепко обнял меня за плечи и продолжал совершенно уже дружески-растроганным тоном.

Хотя, с другой стороны, что ты имел в своей Степной? Гостиничный номер? А здесь такая квартирка, ей-богу, завидно. Спальней ты меня просто убил, я даже Варьке рассказывать не буду, она же меня живым съест... И где только люди достают такие гарнитуры! И вообще, где ты книги берешь? Блат у тебя, что ли? Я «Военные мемуары» всю жизнь собираю, но такого набора... Жалко, Соня твоя на работе, сто лет не виделась. Слушай, что за манера — приглашать среди бела дня? Давай встретимся по-человечески, с женами, с ребяташками, моего Саньку с твоей Танькой познакомим... (Тут он заржал.) Как она из туалета-то выскочила... зазелелась будто маков цвет... Красивая девка, между прочим, растет. Да, брат, стареем, матереем, еще пяток лет — и детей женить пора... А коньячок у тебя ничего был, штатный. И все-таки, когда ты ко мне придешь, я тебе поднесу такого, какого ты никогда не пивал и не выпьешь, если я об этом не позабочусь... Ну ладно, спасибо за приглашение, спасибо за угощение, спасибо за привет... Нет-нет, провожать не надо, я знаю — вон там «шестерка» останавливается. Ну, давай!

Он обнял меня мимоходом, похлопал по спине и сбежал по ступенькам. Я остался стоять, придерживаясь рукой за мокрую, ледяную от дождя бетонную стену, и смотрел ему вслед, как он ловко перескакивает с кирпичика на кирпичик, пересекая грязевую полосу, а потом, глянув налево-направо, переходит улицу, направляясь к остановке автобуса.

13. Демиург сказал:

— Есть у вас еще вопросы?

— Нет, — сказал Миша. — Благодарю вас.

Он уже вполне оправился, и румянец вернулся на лицо его, но пот все стекал со лба по щекам на шею, и Миша то и дело вытирал его скомканным платком.

— Тогда я задам вам вопрос, — сказал Демиург. — Всего один. Чего вы хотите?

— Сейчас я хочу только одного, — криво улыбаясь, проговорил Миша. — Чтобы вас не стало. И никогда бы не было. Чтобы я сейчас благополучно проснулся. Проснулся, а вас нет и не было.

— Воистину, странный ответ, — сказал Демиург. — Не ожидал от вас... Впрочем, я вовсе не имел в виду вас персонально.

— Ах, вы имели в виду... Знаете, все, чего мы хотим, изложено в Программе Партии. Прочтите, там все написано.

Демиург грянул:

— Благодарю вас! Вы свободны, майор. Сергей Корнеевич, проводите, пожалуйста, майора. Пальто и шляпу — подать.

...И когда я, как старая кляча, влекомая на живодерню, приволокся на свое место в Приемную, он сказал:

— Впредь попрошу вас не приводить сюда своих друзей без специального предупреждения. У меня здесь не салон, а служебное помещение... Впрочем, в данном конкретном случае я вам, пожалуй, даже благодарен. Ведь ваша эпоха — это эпоха могущественных организаций, а я по старинке все вожусь с отдельными фигурами. Вы навели меня на мысли, благодарю вас.

14. Справка. Я уже много лет не женат, нахожусь в разводе. Мою первую и последнюю жену звали Александра. Миша Смирнов никогда ее не видел. Детей у меня не было и нет. Не было и нет среди моих близких и друзей, а также среди знакомых женщины с именем Соня, Софья или что-нибудь в этом роде.

В дальнейшем я еще дважды звонил Мише Смирнову. Один раз мне сказали, что он в длительной командировке. В другой раз мы с ним несколько минут побеседовали по телефону. Он был приветлив и вполне дружелюбен, однако от встречи уклонился, сославшись на крайнюю занятость. Прощаясь, он с удовольствием вспомнил «славный вечерок», который провел у меня в гостях, и попросил передать привет «Сонечке и Танюшке».

Других знакомых в «могущественных организациях» у меня нет. Прямое, по официальным каналам, обращение не сулит в перспективе ничего, кроме сумасшедшего дома.

Я остался один. Теперь уже совсем один.

15. Был уже поздний вечер. Даже, скорее, ночь. Я лежал...

Дневник. 18 июля (дополнение к 17-му)

Я, точно так же как Михайла Тарасович, никак не могу ясно объяснить себе, почему Г. А. так рьяно болеет за Флору.

«Милость к падшим призывал»?

Не то. Совсем не то. Я совершенно точно знаю, вижу, чувствую, что он не считает их падшими. Это мы все считаем их как бы падшими, не в том, так в другом смысле, а он — нет.

Он вообще не признает это понятие — «падший». Все, что порождено обществом, порождено законами общества, а значит, закономерно, а значит, в строгом смысле не может быть разделено на плохое и хорошее. Все социальные проявления на плохое и хорошее делим МЫ — тоже управляясь при этом какими-то общественными законами. (Именно поэтому то, что хорошо в девятнадцатом веке, достойно всяческого осуждения в двадцать первом. Безоглядное чиновничество, например. Или, скажем, слепое выполнение приказов.)

Понимание и милосердие.

Понимание — это рычаг, орудие, прибор, которым учитель пользуется в своей работе.

Милосердие — это этическая позиция учителя в отношении к объекту его работы, способ восприятия.

Там, где присутствует милосердие, — там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, — где присутствует все что угодно, кроме милосердия, — там дрессировка.

Через милосердие происходит воспитание Человека. В отсутствие милосердия происходит выработка полуфабриката: технарь, работяга, лабух. И разумеется, береты всех мастей. Машины убийства. Профессионалы.

Замечательно, что в изготовлении полуфабрикатов человечество, безусловно, преуспело. Проще это, что ли? Или времени никогда на воспитание Человека не хватало? Или средств?

Да нет, просто нужды, видимо, не было.

А сейчас появилась? «Как посмотришь с холодным вниманием вокруг...» Значит, все-таки появилась! Иначе теория ПВП никогда бы не пробилась через реликтовые джунгли Академии педагогических наук. И не была бы создана система лицеев. И Г. А. был бы сейчас в лучшем случае передовым учителем в заурядной 32-й ташлинской средней школе.

Конечно, бытие определяет сознание. Это — как правило. Однако, к счастью, как исключение, но достаточно часто случается так, что сознание опережает бытие. Иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах.

Проснулся Микаэль. Как всегда с утра, скабрezen.

18 июля (вечер)

Только что вернулись из столовой. Дискутировали. Горло саднит, будто парадом командовал. Настроение мерзопакостное. Говорил — ни к черту плохо. Не умею говорить. Но каков Аскольд!

Не хочу сейчас об этом писать.

Г. А. чувствует себя неважно. Пластырь я ему снял, но рука болит. Мишка озабочен и смотрит виноватым. Делали руке волновой массаж. Серафима Петровна вызывала Михея к себе в кабинет, угощала меренгами и допрашивала с пристрастием.

С одиннадцати до четырнадцати был в больнице. Помогал Борисычу с историями болезни, выносил горшки (на самом высоком профессиональном уровне) и вел лечебную физкультуру по всем палатам третьего этажа.

С пятнадцати до девятнадцати готовился к отчет-экзамену, конспектировал мадам Тепфер. Все-таки до чего трудно! Неужели же придется всерьез браться за эту чертову психогеометрию? Высшая педагогика, будь она неладна! Не верю я в нее... А если у человека нет способностей к абстрактному мышлению? Все-таки мы живем в очень жестоком мире.

События.

С утра по городскому каналу выступил Михайла Тарасович и объявил о больших победах. Наша доблестная милиция обнаружила и разгромила подпольную фабрику наркотиков. Фабрика располагалась в подвале лабораторного корпуса университета. («Эге!» — разом подумали мы с Мишелем и молча посмотрели друг на друга.) Задержано шесть человек: один курьер, трое распространителей и двое боевиков. Арестован главный мафиози нашего города. Каким оказался гражданин Тютюкин, занимавший пост заведующего отделом культуры горисполкома. («Эге!»-сказал я сам себе и, за отсутствием Г. А., переглянулся с Аскольдом.) По подозрению в причастности задержана еще куча лиц, в частности, заведующий складом химикатов, владелец кафе «Снегурочка», один из университетских садовников и прочие добрые граждане. (Ни одного студента. Что характерно.) Следствие продолжается. Есть все основания полагать, что в ближайшее время наш город наконец будет полностью очищен от наркомафии.

Уединившись с Мишкой, мы быстро обсудили, как же все это надобно понимать. Пришли к странному выводу. Получается, что Г. А. уже некоторое время знал и про подпольную фабрику, и про «крестного» из горисполкома, и еще, видимо, многое, но почему-то молчал, а позапрошлой ночью принялся действовать, причем как-то странно. Почти очевидно, что атлетического хомбре и прочих студюзусов вывел из-под удара именно он. Вопрос: зачем? Чем они лучше про-

чей наркомержности? И откуда он мог знать, что Михаила Тарасович начнет свою операцию именно этой ночью?

Во время этого торопливого разговора мне пришла в голову одна довольно странная мысль, которая много объясняет. Майклу я решил ее не сообщать. И воздерживаюсь излагать ее здесь. И так запомню.

Г. А. знает, что делает, — на этом мы с Михой и порешили.

Сегодняшние газеты полны Флорой. Оказывается, позавчера (я пропустил) Ревекка разразилась большой статьей в «Городских известиях», и теперь по всем газетам идут отклики. Триста тридцать три вопля отчаяния, горя, боли, ненависти, мести. Волосы шевелятся. Я представил себе моего Саньку Ежика, как он валяется в остывшей золе у костра, ясные глаза остекленели, рот распушен, и слюни тянутся, а он, ничего не помня, раз за разом режет себя бритвой, а эти полуживотные смотрят на него даже без особого интереса. Я не сдержал себя и выразился. При всех. Вслух. Дело было за обедом. При женщинах. И даже не извинился. Впрочем, никто не обратил внимания, а Борисыч мрачно прорычал: «Давно пора с этой чумой кончать. В гинекологии две девчонки оттуда лежат — одной двенадцать, другой тринадцать. Знаете, как они себя называют? Подлесок!»

Никогда такого не видывал: в городе появились пикеты. Пожилые люди — на вид пенсионеры — стоят по двое, по трое перед дверями дешевых заведений и уговаривают туристов не заходить. Перед «Неедякой» двое седобородых с самодельными плакатами. На одном плакате: «Здесь моего внука приучили к наркотикам». На другом: «Порядочные люди этот вертеп не посещают».

Еще плакаты на оградах, на бульваре перед горсоветом, прямо поперек улицы) — черным по красному: «Твои дети в опасности! Спаси их!», «Бросай работу! Раздави гадину!», «Сделаем наш город чистым от зеленого гноя!»

На улицах полно людей. И милиция. Никогда в жизни не видел столько милиционеров сразу, разве что на стадионе. И какая-то непривычная атмосфера всеобщего подъема, нервического, лихорадочного, нездорового, словно все слегка приняли то ли для смелости, то ли для бодрости, — раздаются приветственные возгласы в повышенном тоне, трещат по спинам увесистые хлопки крепких ладоней, все говорят, перебивая друг друга. Такое впечатление, будто никто сегодня не пошел на работу. Атмосфера не то вокзала, не то банкета. Атмосфера предвкушения.

(Вообще говоря, мне это не нравится. Неприятно даже представить себе хирурга, который жадно потирает ладони, хлопает ассистенток по попкам и возбужденно хихикает, предвкушая процедуру удаления опухоли.)

И конечно же ни одного флове́ра. Что неудивительно. Будь я флове́ром, духа бы моего не было в этой атмосфере. И вообще в радиусе трехсот километров. Может быть, все-таки обойдется без насилия? Не полные же они дураки, должны же они понимать, что надо уносить ноги побыстрее и подальше?

В конце бульвара у меня екнуло сердце: на дереве болтался повешенный. Маскировочный комбинезон, зеленые лапти, все честь по чести. Но конечно, это оказалось всего-навсего чучело. Под чучелом деловито суетилась парочка пацанов лет двенадцати со спичками и зажигалками. Я окоротил их: во-первых, десантные комбинезоны не горят; во-вторых, омерзительно, когда жгут даже чучело человека; в-третьих, они похожи сейчас на куклуксклановцев, поджигающих повешенного негра. Они удалились на третьей скорости, а я пошел своей дорогой, горестно размышляя о том, что атмосфера охоты на чудовищ уже начала порождать чудовищ.

(Впрочем, сейчас мне кажется, что я, как это часто бывает с педагогами, приписываю свой собственный нечистый образ мыслей ребятишкам, которые ни о чем таком и не думали. Действо, которому я придал символический смысл, для них не имело никакого отношения ни к флове́рам, ни к страшным замыслам взрослых вообще. Во вчерашней хронике они видели, как демонстранты сожгли чучело премьер-министра перед парламентом, а сегодня попало им это чучело на бульваре, и захотелось, чтобы трещал огонь, валил дым, чтобы все вокруг забегали в панике, а там, глядишь, и пожарники подвоят... Что-нибудь в этом роде. Так что мой педагогический заряд мощностью в десять килотонн оставил их вполне невредимыми и в недоумении, а брызнули они от меня только потому, что форменная куртка лицеиста пользуется у школьников большим уважением, а может быть, они вообще знают меня лично, может быть, вел я у них в прошлом году какие-нибудь уроки, и перепугались они, что я их тоже узнал. Педагогика. Наука.)

А за ужином дискуссия началась с того, что Иришка с негодованием поведала нам вполне омерзительную историю. Нынче она с утра дежурила в специнтернате «Вишенка», и заявился к ним после обеда инструктор горно товарищ Лю-

тиков Андрей Максимович, созвал весь персонал в преподавательскую и выступил с гениальным предложением: вывести на завтрашнюю демонстрацию к горсовету всю «Вишенку» в полном составе, включая парализованных, слепых и безнадежных. Колонна пойдет под лозунгом: «Мы обвиняем Флору!» Это произведет эффект. Это найдет отклик.

Это произвело эффект. Все в преподавательской обалдело. Это нашло отклик. Андрею Максимовичу, товарищу Лютикову, так врезали по мордасам со всех сторон, что он посинел, как вурдалак, и принялся орать неестественно тонким голосом, что все здесь будут уволены завтра же, что он этот рассадник защитников Флоры растопчет лично, а интернат развеет и расточит. Тогда Сергей Федорович взял трубочку, позвонил Риве и в двух словах объяснил ей, чем тут занимается ее инструктор. Рива велела отключить экран, а трубку передать Лютикову. «И затрясся вурдалак проклятый...»

В преподавательской воцарились три минуты великого молчания. В великом молчании товарищ Лютиков выслушал, что говорилось ему Ривой, в великом молчании осторожно положил трубку, в великом молчании собрал свой портфель и удалился. И был он при этом уже не синий, а серый, что его, впрочем, тоже не украшало.

Все-таки трудно придумать что-либо более отвратное, чем потуги взрослых вмешивать в свои взрослые дела детей. В особенности если это не дела, а делишки, а дети не просто дети, а несчастные от рождения. Нет этому оправдания и быть не может, какие бы красивые слова при этом ни говорили взрослые. Признаюсь, я почувствовал к Роте неизъяснимую симпатию, хотя казалось бы — ну что такое особенно хорошее она сделала? Любой нормальный человек на ее месте должен был поступить так же. Особенно на ЕЕ месте. Тут, видимо, все дело в контрасте. На фоне злобного идиота даже самый обыкновенный человек выглядит ангелом, до умиления симпатичным.

Каким именно образом возникла дискуссия, я сейчас уже и не помню. Ведь вначале, сразу после рассказа Иришки, мы все пребывали в полном согласии. И вдруг — гвалт, размахивание руками, и каждый — ни шагу назад. Главное, в лицее-то нас осталось сейчас всего шесть человек. Страшно вообразить, как бы все это выглядело, если бы орали и размахивали руками все двести.

Картина: в столовой почти все огни погашены, тридцать пустых ненакрытых столов, мы все шестеро на ногах, стулья

опрокинуты, ужин недоеден, а в дверях кухни застыл в изумлении и испуге Иракий Самсонович, белый колпак сдвинут набекрень, в глазах ужас, в руке — невостребованный белый соус к биточкам.

Вот что замечательно: если отвлечься от взрывов эмоций, от взрывов остроумия лицейского, имеющего целью повергнуть противника в прах любой ценой, а также от взрывов взаимных обвинений, вообще не имеющих никакого отношения к спору... так вот, если отвлечься от всего этого, то останется на удивление мало. Так, несколько тезисов.

Нам казалось тогда, что мы спорим по широчайшему кругу вопросов, а на самом деле спорили мы только об одном: прав Г. А. или нет. И как относиться нам к его правоте или неправоте. (Господи! Куда подевались все лекции по риторике и по культуре дискуссий? Иракий Самсонович свидетель: шестеро мартышек, швыряющих друг в друга пометом и банановыми шкурками.)

И что еще замечательно: ведь общего между нами гораздо больше, чем разного. Все мы ученики Г. А., и все мы обучены свято следовать своим убеждениям. Все мы ненавидим Флору и тем самым не являем собою ничего особенного — целиком и полностью держимся мнения подавляющего большинства. Все мы любим Г. А., и все мы не понимаем его нынешней позиции, а потому чувствуем себя виноватыми перед ним и слегка агрессивными по отношению к нему.

Мы с Мишелем размахиваем руками главным образом потому, что нам не нравится оказаться в одной куче с большинством. Мы от этого отгалкиваемся, но никаких серьезных оснований отмежеваться от большинства у нас нет, и это нас ужасно раздражает. И никаких оснований мы не находим, чтобы полностью стать на сторону Г. А., и это нас ужасно беспокоит. Потому что ясно: если кто-то здесь и ошибается, то, уж наверное, не Г. А. То есть это для нас с Мишелем ясно. А совсем неясно нам с Мишелем — как быть дальше. Следовать своим убеждениям — значит остаться в дураках, да еще предать Г. А. вдобавок. А слепо идти за Г. А. означает растоптать свои убеждения, что, как известно, дурно.

Вот у Иришки все просто. Она очень любит Г. А., и она очень жалеет Г. А. Этого для нее вполне достаточно, чтобы целиком быть на стороне Г. А. Это вовсе не означает, что она растаптывает свои убеждения. Просто у нее такие убеж-

дения: ей жалко любимого Г. А. до слез, а на остальное наплевать. Флоры и фауны приходят и уходят, а Г. А. должен пребывать и будет пребывать вовеки. Аминь! А будешь много тьявкать, получишь этой овсянкой по физиономии.

Кириллу хорошо: у него билет домой на завтра, на тринадцать двадцать. Впрочем, он теоретик. «Верую, ибо абсурдно». Человековедение — это не наука, это такая разновидность веры. Здесь ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Человековерие. Ты либо просто веришь, либо просто не веришь. Что тебе ближе. Или теплее... Г. А. бог. Он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Г. А. оказался не прав, я все равно буду верить в Г. А., и смеяться над вашей практикой, и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества, а потом, может быть, позволю вам, отступникам, поплакать у меня на груди, когда в конце концов ваша жалкая практика превратится в пепел под лучами истины.

Зоя кричала и размахивала меньше всех. Простым глазом видно было, что сам разговор о Флоре вызывает у нее тошноту почти физическую. Она со своей душевной чистотой, доходящей уже до фригидности, не переносит Флору органически. (И дело здесь вовсе не в повышенной брезгливости. Во время эпидемии, помню, она работала вместе с нами и лучше многих из нас — с утра до ночи и с ночи до утра гнойные простыни, желто-красные язвы, кровавые испражнения умирающих...) А Флора для нее — за пределом. Ведь это уже не люди. Это даже не животные. Это какие-то мерзкие осклизлые грибы, гнездящиеся на падали. Они вне моей сферы. Они вне наших законов. Они вообще вне... Г. А. — святой, а вы — нет. А я уж совсем нет, до последней степени — нет. И заткнитесь вы, ради бога, хватит об этом, ужин ведь все-таки...

В общем, никто меня особенно не удивил. Аскольд меня удивил. Он всегда был малость супермен, с первого класса, и всегда ему это нравилось. Я-то раньше думал, что это у него поза такая. Имидж. Г. А., помнится, пошутил как-то: с такими манерами, Аскольдик, прямая тебе дорога преподавателем в кадетское училище. Однако сегодня выяснилось, что это не только манеры. Тунеядство должно быть уничтожено. Перед нами выбор: либо мир труда, либо мир разложения. Поэтому у каждого тунеядца не может быть образа жизни, у него может быть только образ неотвратимой гибели, и только в выборе этого образа гибели мы можем позволить себе некоторое ми-

лосердие. И каждый туняец должен это усвоить твердо. А мы с вами должны сделать так, чтобы каждый потенциальный туняец, которому не повезло с генотипом, с семейной средой, со школой и прочим, был с наивозможной убедительностью предупрежден о своей неотвратимой гибели. Не надо: слоней, соплей, метаний и самопожертвования. Надо: железную твердость, беспощадную последовательность, абсолютную непримиримость. Г. А. — гений, это бесспорно. Да с этим никакой дурак и не собирается спорить. Просто надо помнить, что гении тоже ошибаются. Ньютон... Толстой... Эйнштейн... и так далее. Мы должны иметь свою голову на плечах, хоть мы и не гении. Мы должны сохранять хладнокровие мысли и не позволять нашему преклонению и восхищению застилать глаза нашему разуму...

Как всегда, аргументов в нужный момент у меня не нашлось, и все мои аргументы были — яростное швыряние помета и банановых шкурок. А как славно было бы спеть с ним тогда такой, например, дуэт:

Я: Предположим, что ты врач. Новая страшная эпидемия поражает только негодяев. Твои действия?

ОН (пренебрежительно): Было. Сначала венерические болезни, потом СПИД. Старо.

Я: Нет, не старо. Там болезнь поражала всяких людей. Совершенно ни в чем не повинные страдали тоже. А теперь представь, что болезнь поражает только и исключительно подлецов. Ты, разумеется, будешь в этом случае железно твердым, беспощадно последовательным и абсолютно непримиримым?

ОН: Что ты ко мне пристал? Я не врач!

Я: Да, ты не врач. Ты не приносил клятву Гиппократу. Но ты принимал присягу Януша Корчака! Люди вроде тебя всегда норовили делить человечество на агнцев и козлищ. Так вот врач может делить человечество только на больных и здоровых, а больных — только на тяжелых и легких. Никакого другого деления для врача существовать не может. А педагог — это тот же врач. Ты должен лечить от невежества, от дикости чувств, от социального безразличия. Лечить! Всех! А у тебя, я вижу, одно лекарство — гаррота. Воспитанному человеку не нужен ты. Невоспитанный человек не нужен тебе. Чем же ты собираешься заниматься всю свою жизнь? Организацией акций?

ОН (в бессильной ярости принимается швырять в меня пометом и банановой кожурой).

Да, воистину: самые убедительные наши победы мы одерживаем над воображаемым противником.

Сейчас мне пришло в голову, что ведь, пожалуй, и Аскольдовы подопечные Сережка Петух и Ахмет-богатур заметно отличаются и от моих ребяташек, и от всего остального их класса. Холодные драчуны. Кадеты. Маленькие аскольдики. Это уже неконтролируемое размножение! Ей-богу, хватит с нас и одного Аскольда.

Настроение, и без того не радужное, вконец у меня испортилось. Врачу, исцелился сам. Педагоге, воспитай себя, а уже потом суйся воспитывать других. А то ты такого навоспитаешь, что сотня Г. А. их не перевоспитает.

Для поднятия тонуса сходил в комнату моих ребяток. Пусто, и уже припахивает пылью. Но на стенах — милые сердцу картинки. На подоконнике — недостроенная модель Термократора. На столике — развороченный компьютер. На спинке стула — забытая Ежикова майка с надписью: «It's time of total truth»... Я присел перед подоконником, впял Термократору недостающий глаз, и на душе у меня полегчало. Проще надо быть! Проще! Счастье — в простом.

Мне кажется, я понимаю, какую связь подразумевает Г. А. между этой древней рукописью и моей работой, но это слишком долго, а я слишком устал, чтобы сейчас об этом писать.

(Позднее примечание. Совершенно не помню, что я тогда имел в виду. К сожалению.)

Рукопись «ОЗ» (15—18)

15. Был уже поздний вечер. Даже, скорее, ночь. Я лежал под одеялом у себя в каморке и читал на сон грядущий Агасферов «Преканон». Они разговаривали в Комнате. Тоже, видимо, на сон грядущий. Я не прислушивался. Как всегда между собою, они говорили на каком-то сугубо экзотическом языке, которого я никак освоить не могу, — гортанном и избобилующем придыханиями и шипящими. Вдруг голоса их возвысились. Я глазом моргнуть не успел, как они уже орали друг на друга. Встревоженный, я спустил ноги с тахты, и тут Демиург заревел как иерихонская труба, а Агасфер Лукич завизжал невыносимым, скребущим душу визгом: Ничего подобного в жизни своей я не слыхивал. Визг этот был не животный, не механический и не электронный. Он был вообще не от мира сего. Так мог бы визжать Конь

Бледный, бешено топчя сонмы грешников. И сейчас же что-то тяжелое ударило в стену, да так, что все висевшее на ней оружие с лязгом обрушилось.

В одних трусах влетел я в Комнату. В голове моей торчала одна-единственная нелепая мысль: «Весь ведь квартал на ноги поднимут, уроды!»

Уроды же выглядели так.

Агасфер Лукич, весь расхлюстанный, блистая потной плешью и потным брюхом, вывалившимся из-под брючного ремня, насканивал на Демиурга, совершая диковинные взмахи и взбрыки ручками и ножками, — то ли норовил вскарабкаться на него, как на Красноярский столб, то ли стремился причинить ему какое-нибудь физическое увечье приемами борьбы, бывшими в ходу две тысячи лет назад.

Демиург же, отгораживаясь от него крылатым плечом, возился со знаменитым портфелем. Я впервые увидел руки Демиурга, они были черные, с зеленоватым отливом, с неопределимым количеством пальцев. Пальцы эти, длинные и мосластые, сложно и омерзительно шевелились, как шевелятся лапы паука, когда он бинтует муху.

На моих глазах он распахнул портфель (Агасфер Лукич вновь издал апокалиптический визг) и, придерживая его левой рукой, засунул правую в пышущие жаром недра — засунул глубоко, неправдоподобно глубоко, куда-то этажом ниже, как мне показалось. Несколько долгих секунд он шарил там, в жарких пространствах, звучно рыча и беспорядочно вращая налитыми кровью яблоками глаз.

Только на несколько секунд его и хватило — портфель полетел в сторону, а освобожденная рука взметнулась к потолку. Она была невероятной длины и с множеством локтей, а кисть ее до первого локтя была раскалена и светилась всеми цветами побежалости. и с кончиков ослепляюще белых пальцев срывались и летели по комнате дымные искры и капли. А потом (волосы поднялись у меня по всему телу) левой рукой он ухватился за правую, с хрустом выдернул ее вон и швырнул в угол. Глаза его сделались уже как дыни, он разинул пасть, изрыгнул непонятную, но явную брань, многоэтажную и древнюю, щучьими зубами впился в первый подвернувшийся локоть левой руки, бешено мотнул медной головищей так, что кисточка парика взвилась дыбом, с тем же хрустом выдернул из себя и левую руку и, словно окурочка сигары, выплюнул ее в бездонную тьму за дверь Кабинета.

И сразу стало тихо. Демиург осанисто поводил головой из стороны в сторону и плавно приподнимал то одно плечо-крыло, то другое, как бы демонстрируя нисколько не уменьшившуюся мощь и боеготовность своего организма. Агасфер Лукич сидел на корточках возле топчана, любовно оглаживая, осматривая и даже обнюхивая свой счастливо возвращенный портфель. В углу все еще корчилась, остывшая, страшная рука — скребла по обуглившемуся паркету сосульками оплавленных пальцев. Пахло потом, гарью и медной окалиной.

Потом Агасфер Лукич вдруг, словно бы спохватившись, перекатился на четвереньки и принялся озабоченно оглядывать пол вокруг себя. Не обнаружив искомого, он двинулся вдоль стены на трех конечностях, прижимая четвертой портфель к голому потному боку. Тут я понял наконец: Агасфер Лукич в пылу сражения потерял свое искусственное ухо.

Демиург грянул:

— Да вон же оно, под калорифером! Что вы, в самом деле, будто Иов на гноище!

Агасфер Лукич, не поднимаясь, быстро добежал до калорифера, нащупал драгоценное и, радостно улыбаясь, приладил его на место.

— Благодарствуйте, мой Яхве! — весело сказал он.

Так закончилась еще одна ссора между ними. Правда, раньше до драки дело у них не доходило. Что они не поделили на этот раз? То ли Демиург хотел отобрать что-то в свою пользу у Агасфера Лукича, то ли Агасфер Лукич ухитрил что-то у Демиурга... Бог у бога портянки украл.

16. Вот этот клиент мне окончательно осточертел. То есть я, кажется, уже всяких повидал, но этот был — что-то неопишное. Тощий, старый, бледно-зеленый, с запекшимися губами, с горящими глазами фанатика, он многословно и невнятно, постоянно повторяясь и сбиваясь, излагал свою методику спасения человечества. Мысль его, словно поезд метро, постоянно двигалась по одному и тому же замкнутому кругу. Его можно было прервать, но отвлечь его было невозможно. И этот ужасающий местечковый акцент!..

Все очень просто. Христианство исказило естественное течение человеческих отношений. Учение Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему все новую и новую щеку, это учение поставило человечество на грань

катастрофы. Древний благородный лозунг «око за око, зуб за зуб» оклеветан, забросан грязью, заклеямен как человеконенавистнический. Все беды — именно отсюда. Зло сделалось безнаказанным. Обидчики и нападатели привольно разгуливают по жизни, попирая ими же поверженных. Все дозволено тому, кто нагл, силен и злобен. Нет управы на него, кроме законов человеческих, коим цена — овечье дерьмо. Хулиган безнаказанно измывается над слабым. Чиновник безнаказанно измывается над робким. Наглый безнаказанно топчет скромного. Клеветник безнаказанно порочит правдивого. Властитель безнаказанно попирает всех.

Конечно, сам по себе лозунг «око за око», будучи формулой человеческой, ничего в этом мире изменить не способен. Но теперь, когда его может осенить мистическое могущество, если он воссияет на хоругви, несомой мощными дланями...

Четырежды Демиург давал мне распоряжение проводить. Четырежды ходатай за обиженных замолкал на мгновение, чтобы тут же начать все сначала. Мне пришлось буквально выковыривать его из кресла, затем отдирать от платяного шкафа, за который он уцепился, а затем отклеивать его пальцы от дверного косяка. И все это время он, как бы не замечая моих усилий и своего унижительного положения, втолковывал нам, что единственный способ раз и навсегда защитить обижаемых, унижаемых и оскорбляемых — это наделить их способностью поражать обидчиков своих чем-нибудь наподобие электрического разряда.

Еле я его выпроводил. Когда я вернулся в Приемную, с отвращением обтирая об себя ладони, липкие от холодного пота ходатай, Демиург спросил:

— А как вы полагаете, Сергей Корнеевич, почему третий закон Ньютона не выполняется в сфере человеческих отношений?

Я подумал.

— На самом-то деле он, наверное, выполняется. В конце концов всем известно: как аукнется, так и откликнется. Просто в человеческих взаимоотношениях нет ясных понятий действия и противодействия.

Демиург ничего не сказал на это, и я, подождав минуту, отправился на кухню. Наступало время обеда.

17. Я шел с авоськой по Балканской, направляясь в молочную, и думал о каких-то пустяках, когда произошло событие необыкновенное.

То есть началось-то оно вполне обыкновенно. Грохоча и лязгая, промчался мимо воняющий самосвал и с ходу обдал меня грязью из рытвины в асфальте. С обыкновенным проклятьем я остановился и принялся кое-как стряхивать с плаща и с брюк холодную жижу, как вдруг позади меня забухали приближающиеся сапоги и хриплый задыхающийся голос просительно просипел:

— Позвольте мне! Мне позвольте!

Я и ахнуть не успел, как здоровенный мужик в телогрейке, совершенно незнакомый, рухнул возле моих ног на колени и принялся трясушимися красными лапищами осторожно, как драгоценнейшее произведение искусства, обтирать полу моего плаща, брючину и заляпанный ботинок. При этом он, словно в лихорадке, бормотал:

— Сейчас!.. Моментально!.. Секундочку только, и все...

Я в ужасе огляделся. Никого вокруг не было, и только шагах в двадцати вонял на холостых оборотах давешний самосвал, стоя совершенно наперекосяк. Я шарахнулся, мне было гадко и страшно, но мужик не выпустил полу моего плаща, он побежал за мною, быстро перебирая коленями, и, заглядывая мне в лицо совершенно собачьими глазами, отчаянно прохрипел:

— Языком вылижу! Блестеть будут...

А у меня и голоса не было. Я только рванулся изо всех сил, освободился наконец и самым быстрым шагом пошел прочь, еле удерживаясь, чтобы не перейти на бег. До самого угла я боялся, что он меня догонит, и, поворачивая на проспект Труда, украдкой глянул через плечо назад. Безумец так и стоял на коленях, он только опустил зад на пятки и медленно обтирал руки о ватник, понуриив голову. У него был вид человека, обреченного на казнь.

Душевное равновесие мое было нарушено, и, не сделав по проспекту Труда и нескольких шагов, я налетел на пенсионера самого почтенного вида — в шляпе и с тростью. Собственно, столкновения не произошло, в последнюю секунду я сумел притормозить, и мы только слегка коснулись друг друга плечами. Я пробормотал что-то вроде: «А, ч-ч-ч... Виноват...» Он же с поразительной живостью отступил на шаг, сорвал шляпу и, взяв на отлет свою палку, проговорил словно в театре:

— Мой дорогой! Разрешите принести вам мои глубочайшие извинения! Я позволил себе задуматься и был крайне небрежен.

— А-ап... — сказал я. — А-ас... Собственно, это я был небрежен... Вина, собственно, моя... Еще раз — пардон.

— Мы оба были небрежны, — с видимым облегчением произнес пенсионер и улыбнулся, как мне показалось — фальшиво. — Вообще-то, сейчас время такое, что глаза лучше дома не забывать.

— Правда ваша, — согласился я, чтобы не затягивать сцену, и пошел себе дальше в молочную.

Неприятное предощущение зашевелилось во мне. Где-то под ребрами справа. Все вокруг было до тошноты знакомо. Испещренный трещинами неровный асфальт с вечными лужами и прошлогоднее пятно на нем от пролитой краски перед хозяйственным магазином, похожее на рисунок кроманьонца. Мокрые жалкие прутья садовых насаждений вдоль тротуара, в некоем неприличном контрапункте странно сочетающиеся с гигантским вылинявшим плакатом «Саду — цвесь!» на брандмауэре бывшего доходного дома. Отгородившаяся от неба лоснящимися зонтиками терпеливая очередь за обоями в хозяйственный магазин. Прохожие, прохожие, прохожие, все больше тетки с кошелками, с сумками, с бидончиками, с собаками. И машины, машины, машины, господа, сколько нынче в городе машин!..

Вроде бы все как обычно, но чем дальше, тем страшнее мне становилось. Что-то происходило в городе, только я не мог уловить, что именно, и я не знал, как об этом спросить.

...Решительно, машины двигаются слишком медленно. Правда, на проспекте Труда везде «40», но ведь и вчера здесь было «сорок», а половина шоферов, как водится, никакого внимания на это не обращала... У всех машин включены подфарники по случаю туманной погоды. То есть буквально у всех!..

...Что они мне все улыбаются?! Я эту тетку вижу впервые в жизни, а она мне кланяется и вся расплылась в улыбке, такой же фальшивой, как ее зубы... И эта туда же...

— Здравсьте... И вам здарсьте... Приветствую вас...

Вот оно! Ведь все же прячут глаза... лица прячут... Кто прикрывается зонтиком, кто смотрит под ноги, словно пятак потерял, кто отворачивается к витрине, хотя в витрине ничего, кроме ремонта, нет... Но если уж так выходит, что глаза наши встречаются, тогда сразу пасть до ушей, поклон чуть ли не подобострастный и — «здарсьте! здарсьте вам! доброго денечка!».

Сначала я подумал было, что это моя известность как

личного секретаря Демиурга распространилась вдруг на все население ближайших кварталов. Но я не успел даже продумать последствия такого ошеломляющего предположения. Я обнаружил, что они все друг с другом раскланиваются, все друг другу осклабляются, все желают друг другу добренького денечка.

...Нет, не все, конечно. Им это явно не нравилось, они делали это явно через силу. Они делали это только в том крайнем случае, когда встречались друг с другом глазами и вынуждены были (почему, собственно?) непременно оказать внимание друг другу, как старым добрым знакомым. Можно было подумать, что нынче утром, пока я распинался на службе, власть в городе захватили исступленные почвенники и призвали соотечественников (под угрозой наказания на теле) вспомнить, откуда все они произошли, припасть к чистому источнику древних обычаев, погрузить обе руки в сокровищницу патриархальных нравов и, хотя бы на улицах, вести себя в соответствии.

Смешного тут не было ничего. Я предпочел бы сейчас вернуться домой, пусть даже без кефира и масла, и навести справки у Агасфера Лукича или, по крайности, включить телевизор. Но масла в доме не было никакого, это во-первых, а во-вторых, черт побери, надо было хотя бы попробовать разобраться во всем самому.

В молочной на первый взгляд ничего необычного я не обнаружил. Очередь в кассу была небольшая, за сметаной стояло старух десять, но сметана меня как раз не интересовала. Я набрал в сумку четыре бутылки кефира, обогнул стойку, взял три пакета масла по двести грамм и пристроился в очередь в кассу.

Нет, здесь тоже было нехорошо. Очередь вела себя не как очередь, а словно бы на светском рауте, как я себе это представляю. Они беседовали. Все. Они не стояли друг другу в затылок, как это принято испокон веков, они норвили встать друг к другу вполоборота, чтобы, упаси бог, не оказаться к кому-нибудь спиной.

Физиономию у кассирши, казалось, свело судорогой от перманентной любезной улыбки, руки ее так и порхали — выбивали, отрывали, отсчитывали, выдавали, и с каждым покупателем она здоровалась и каждому говорила спасибо. (Обычно она разговаривает так: «Чего вы все лезете со своими десятками? Нет у меня рублей, ослепли, что ли?» Зовут ее Аэлита.)

В магазине были еще грузчики. Я заметил их не сразу, потому что они были бесшумны. Эти два опухших амбала в грязных черных халатах катали и разгружали свои тележки с продуктами, передвигаясь как бы на цыпочках, мгновенно замирая на месте, если путь им пересекал случайный покупатель. Ни лязга не было слышно, ни грохота, ни своеобразных возгласов: «Валек! На хрен ты, падла, это сюда приволок?.. Эй, мамаша, подбери корпуса!..»

До кассы было восемь человек. От силы десять минут.

В очереди разговаривали:

— Дожди и дожди, а снегу все нет...

— Очень нужен снег. Для урожая.

— Это вы совершенно правильно говорите, дама. Снег зимой — это самое первое дело.

— То-то Рейган радуется!

— У них там — тайфуны. Я вам так скажу, что уж лучше пусть будут дожди, чем тайфуны...

Шесть человек до кассы.

Грузный седой дядька, стоявший передо мною, повернулся ко мне вполборота и, напрягшись, выдавил заветное:

— Осень в этом году. Все тянется и тянется...

Я напрягся и ответил:

— Да. Полгода уже тянется.

— И не говорите. Когда она кончится!

До кассы оставалось всего четверо, но тут из сметанной очереди прискакала бабка и, рассыпаясь в корявых извинениях, пристроилась второй. Она там занимала, оказывается, старая карга.

Дядька передо мной еще раз поднатужился и пошел поновой:

— Когда осень, обязательно дожди. Случая такого не припомню, чтобы осень — без дождей.

Я не успел сообразить ответ, как из-за спины моей уже подхватили:

— Это вы правильно говорите, мужчина. Только в Африке этого нет.

— И в Австралии! — объявил дядька с неожиданным апломбом, но тут же спохватился: — Хотя точно утверждать не могу. В Австралии, может быть, и есть. Южное полушарие все-таки...

Я был уже третьим от кассы, но тут подошла особа в шляпе и с банкой сметаны в руке и сказала моему дядьке:

— Я, кажется, перед вами занимала...

— А, пожалуйста, — сказал дядька с готовностью и потеснился ко мне.

Особа вперлась. Я оглянулся. Народу-то за мной стояло всего два человека. Нет, ей обязательно надо использовать свое право. Ладно, я четвертый, переживу... А вот я и опять третий...

И вдруг раздался странный звук, что-то вроде сдавленного мычания. Что-то треснуло. Банка со сметаной упала на кафельный пол и разлетелась белой многоконечной звездой. Дядька шарахнулся и наступил мне на ногу, а особа в шляпе, хватая воздух пальцами в черных нитяных перчатках, стала медленно падать вбок от очереди. На секунду все замерло. Раздался короткий взвизг. Я стоял столбом в обычном своем для подобных ситуаций ступоре. Особа в шляпе мягко, как волейболист, упала на спину, и сейчас же тело ее противоестественно выгнулось дугой, а голова несколько раз с силой ударилась затылком о кафель.

Я все стоял столбом, уставясь на бьющуюся в судорогах женщину, но уже понимал, что это у нее какой-то припадок, приступ какой-то, и надо броситься и помочь ей, и я сейчас вот брошусь и помогу, только надо куда-то пристроить проклятую сумку с кефиром... Самое страшное, однако, заключалось в том, что люди вокруг, вместо того чтобы броситься женщине на помощь или хотя бы стоять столбом, как я, кинулись врассыпную, кто куда, только бы подальше отсюда, сбивая друг друга с ног, с треском круша стойки и перегородки, нечленораздельно крича и панически взвизгивая.

Тут перед глазами у меня вспыхнуло, и я на некоторое время отключился.

Первое, что я, очнувшись, услышал, был пронзительный душераздирающий вопль Аэлиты:

— Ты что наделал, облом тамбовский? Харя твоя непростая! Это же ученый из нового дома, каждый день сюда ходит!

Я лежал щекой на кафеле, и кто-то осторожно стягивал с меня берет.

— У них такое пятно должно быть лысое за ухом... — виновато и опасливо бормотал незнакомый сипловатый басок.

— За каким ухом-то? За правым? За левым? — спрашивал другой голос, тоже сиплый и напряженно-испуганный.

Голову мою осторожно повернули и положили на кафель другой щекой.

— Нет у него ни хрена, — с явным облегчением и уже

раздраженно сказал второй голос. — Ни за левым, ни за правым... Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие.

— Да я же вам говорю! — снова завопила Аэлита. — Ученый он, из нового дома на Балканской!

— Так а чего он, понимаешь... — агрессивно-виновато сипел басок.

— Чего, чего... В очереди человек стоял, вот чего!

— Так а чего он на нее глядел? Так и вперился, как этот...

— Ладно, давай хоть посадим его, что ли...

Меня взяли под мышки и аккуратно посадили, прислонив спиной к прилавку-холодильнику. Две опухшие сизоватые физиономии возникли перед моим лицом. Амбалы разглядывали меня внимательно и с сочувствием.

— Извини, друг, — просипел тот, что был слева. — Мы тебя за этого приняли... за громобоя... знаешь, который рядом человека бьет... Уж больно ты страшно на эту бабу уставился... Прямо вызверился, как этот...

В магазине не было ни одного покупателя. Припадочная особа тихо лежала головой в луже сметаны. Она уже моргала.

— Продуктов-то сколько потоптали! — завопила Аэлита с новой силой. — Прилавков опять разнесли!.. Ну, чего встали, запойные? Вызывайте милицию! «Скорую» вызывайте!

18. Я сказал Демиургу:

— Я очень прошу вас впредь не делать меня участником ваших экспериментов.

Демиург ничего не ответил, а Агасфер Лукич напомнил мягко:

— Сережа, ведь я же говорил вам: не надо нам кефира, обойдемся! Ведь говорил же!

— Так масла же не было в доме ни крошки, — сказал я растерянно.

19. Остров Патмос на поверку оказался...

Дневник. 19 июля. Утро

У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого совокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя: половой акт должен иметь исключительно функциональное значение. Как называется рассказ? Не помню. И Мишель тоже не помнит.

19 июля, 20 часов 30 минут

Утром позвонил тренер: занятия по субаксу сегодня отменяются. Вообще все тренировки в доме спорта сегодня отменены. Вопрос: «Почему?» Ответ: «Вы что — сами не понимаете?»

В газетах продолжается вчерашнее. По-прежнему гнев, стоны, проклятья, душераздирающие факты. Однако появились некоторые попытки теоретических обоснований.

«Городские известия». В. Кривошапкин, заведующий отделом трудовых ресурсов. «Мы в принципе не против так называемых неедяк, которых все-таки правильнее было бы называть лицами с добровольно редуцированными потребностями (ДРП). Мы достаточно богаты, чтобы прокормить их, одеть и обуть и даже обеспечить жильем. Тем более что уровень потребностей их в три — пять раз ниже среднего в нашем городе, и тем более что большая часть группы ДРП как-никак, а принимает участие в общественно полезном труде, причем берет на себя (пусть даже только периодически) наименее престижные и непривлекательные работы. Я уже не говорю о том, что небезынтересный эксперимент некоторых семейств ДРП, посвятивших себя целиком воспитанию своих детей, не может не привлекать самого пристального и благожелательного внимания. Однако мы решительно против каких бы то ни было крайностей. А Флора, что бы ни говорили сердобольные ее защитники, это и есть та самая отвратительная крайность, с которой мы не можем позволить себе мириться...»

«Университетский вестник». Профессор Н. Микава излагает предварительные результаты первого социологического исследования Флоры в нашем регионе. Лиц мужского пола во Флоре больше, чем лиц женского. Пятнадцатилетних больше, чем шестнадцатилетних. (Ну и что?) Пробовали наркотики хотя бы один раз 96,2% опрошенных. (Это и так все знают.) Алкоголем балуются примерно 30%. (Ну и что?)

Ни выводов, ни рекомендаций, ничего. Только гордое признание в конце: де прозевали мы те сложные объективные процессы в социуме, которые привели к возникновению Флоры, и надлежит теперь нам, социологам, искупить свою вину, вплотную занявшись этим поразительным социальным явлением. И тут же заметка группы студентов: чего вы к ним пристали? вспомните хиппи, вспомните битников, «металлистов», «караканаров», «акутагуев», «шлемни-

ков»... Перебесятся и вернуться к нормальной жизни. Двое из подписавших заметку — сами бывшие фловеры.

Но зато статья проректора — это нечто! Оказывается, это Флора виновата, что в университетских подвалах гнали наркотики. Каленым железом! Поганой метлой! Дустом их, дустом!

«Ташлинский агропром». Сплошной мрак. Средневековье. Ночь. И горит городская свалка.

«Кооператор». Все авторы без исключения предостерегают сограждан от экстремизма — главным образом, от пикетирования предприятий, бьют себя в грудь на тему «не виновата я!» и в качестве доказательства своей абсолютной лояльности призывают пустить на Флору кавалерию. При этом все они категорически требуют не смешивать Флору с мирными не едяками, приводя примерно те же аргументы, что и «Городские известия».

«Молодежные новости». Тоже демонстрируют гордое признание своей вины. Это не только наша беда, это также и наша общая вина. Куда смотрел горком ВЛКСМ? Куда смотрели комсомольские организации предприятий и учебных заведений? Вот они, плоды чрезмерной заорганизованности комсомольской работы — с одной стороны, и чрезмерного потакания самым невзыскательным вкусам — с другой. Одним словом, Что Лично Сделал Ты — Чтобы Твой Друг Не Ушел Во Флору? Замечательная газета. Ты комсомолец? Да! Ужель не поумнеешь никогда?

Все это, впрочем, цветочки, а ягодки — в «Ташлинской правде». Целая полоса. Три статьи. Дискуссия, если можно так выразиться.

Застрельщиком выступает некий Плюхин К.П. Из текста явствует, что к Флоре он никогда и близко не подходил, знает о ней только понаслышке да по рассказам знакомых, так что весь пафос его базируется на отвращении к внешнему виду фловеров, которых он случайно встретил на улице, а также на совершенно разумном тезисе, что труд сделал из обезьяны человека, а тунеядство поворачивает этот процесс вспять. Нынешняя молодежь совершенно незнакома с подлинными жизненными трудностями. Ей далеко до тех, кто осваивал Тюмень и Сургут, строил БАМ и выполнял свой интернациональный долг. И хотя в массе своей наша молодежь «поднялась на здоровой закваске», закрывать глаза на уродливые отклонения от нормы в ее среде у нас нет никакого права.

Тут бы, казалось, самое время вскричать: «Огнем и мечом!» — однако же нет. Оказывается, нам всем надлежит всего-навсего использовать все меры воспитательного, идеологического и политического воздействия, основанные на рекомендациях наших педагогов и социологов. Комсомол должен встать во главе перевоспитательного движения. Правоохранительные органы обязаны пребывать на высоте и не терять бдительности ни на малую секунду. Что же касается отдельных экстремистских тенденций, заявивших себя в городе в последнее время, то их надо рассматривать как паникерские, волонтаристские и столь же опасные, как тенденции к пассивному приятию существующего положения. Социальная пассивность и социальная агрессивность — это две стороны стершейся фальшивой монеты дешевого политиканства.

Таким вот путем.

Дальше на две колонки идет наш Г. А. Горькая и блестящая статья. Очень его, очень личная. Читаешь и все время слышишь его голос.

(Позднее примечание. Статья эта не сохранилась. Я не нашел ее даже в Публичке. И можно только сожалеть, что в ту июльскую ночь я не переписал ее в свой дневник целиком, а только ограничился изложением некоторых ее тезисов, наиболее меня затронувших.)

Флора — разновидность преступного мира? Вздор. Ничего общего. Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а Флора образует свою цивилизацию, свою собственную. Преступники вообще ближе к нам, чем Флора, — и по системе материальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации Флоры совершенно иной. Наши ценности для них — ноль. Их ценности для нас — за пределами нашего понимания, как кошачий язык.

Флора — дикари, не доросшие до нашей цивилизации? Неверно. Флора проросла из нашей цивилизации, как из слоя гумуса. Да, это дикари. Но это дикари совершенно особого типа — племя, вкушившее от нашей цивилизации и с отвращением извергнувшее то, что оно вкусило.

Суть происходящего в том, что никто не понимает Флору. А главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять Флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего, все и так ясно.

Флора не есть что-то отдельное от нас — некий отвратительный и опасный зверь из джунглей, которого надлежит либо уничтожить, либо отогнать на край света. (Кстати, куда

хотите отогнать вы его? В соседнюю область? В соседний регион? В соседнюю республику?)

Флора — это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. Но тогда нужен врач, профессионал, носитель знания и милосердия. И никакого самолечения! Никаких шаманских плясок! Никаких самопальных знахарей — с водкой вместо наркоза и ножовкой вместо ланцета.

А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации, новый образ жизни, новая самодовлеющая культура. И тогда кровь, боль, нечистоты — роды! Младенец непригляден, даже уродлив, он вопит и гадит, но он обречен на рост, и в обозримом будущем он обречен занять свое место в структуре человечества. И если это так, то упаси нас боже от нечистоплотных повивальных бабок и деловитых абортмахеров!

Кто больше всех кричит в нашем городе? Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь, прислушайтесь, задумайтесь!

Очень громко, оглушительно кричат те (как водится), кто больше всего виноват в происходящем, те, кто не сумел воспитать, не сумел увлечь, не сумел привязать к себе — и в первую очередь те, кто был ОБЯЗАН все это делать, числился специалистом, получал за это деньги и премии: плохие педагоги в школах, равнодушные наставники на предприятиях, бездарные культмассовые работники. Они заходятся в крике, чтобы заглушить собственную совесть и оглушить тех, кто рядом с ними пытается разобраться, где же виновные.

Зычно взрываются ответственные лица, те, кто определял на месте, выдвигал, пестовал упомянутых кое-каких, теперь они пытаются свалить вину на своих подопечных, на объективные обстоятельства, на мифических соблазнительей и, уж как водится, на тлетворное влияние извне. А рядом не менее зычно режут пока еще полуответственные, быстро сообразившие, что вот-вот начнут освобождаться места и что сейчас самое время сколотить политический капиталец, продемонстрировав свою объективность, деловитость и готовность решительно исправить положение. О, это вечное племя, призванное отвечать за все и потому не отвечающее ни за что!

И уже заболтали, зачуфыркали, закашляли наши родимые хрипуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времен очаковских и покоренья Крыма, последние полвека познающие жизнь лишь по газетным передовицам да по информационным телепередачам, старые дра-

банты Перестройки, коим, казалось бы, сейчас правнуков своих мирно тетешкать да хранить уют семейных очагов. — нет, куда там! Вперед, развернувши старинные знамена, на которых еще можно разобрать полустертые лозунги: «Тяжелому року — бой! Ненашей культуре — бой! Цветоволосы — с корнем! Синхролайтинги — с корнем! Системки — на помойку! Контакторы — под каблук!»

И залязгали железными голосами ревнители абсолютно-го порядка, апологеты фрунта, свято убежденные в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство: строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона. А с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно: высоко и коротко.

И с каждым часом все громче орут, улюлюкают, горланят в предвкушении веселой охоты соскучившиеся молодцы, почуявшие уже, что наступает времечко, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту свору не будет прощения тем, кто сейчас, вылупивши шары, мечет молнии демагогических словес, вместо того чтобы помолчать и задуматься.

«Я не называл имен, хотя я мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Все, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых — мои ученики и ученики моих учеников. Все, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично — в той мере, в какой может принять ее отдельный человек. И я прошу вас только об одном: замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя».

Замыкает подборку декан социологического факультета. Статья его посвящена главным образом роли тунеядства — и в частности, Флоры как социального явления в обществе начала второй НТР. Все очень разумно, академично и, на мой взгляд, бесспорно. В полемику с Г. А. он явно предпочел не вступать (не знаю уж, из каких соображений), однако чувствуется, что он не согласен с Г. А. практически по всем позициям. Ни с содержанием, ни с формой.

Но мне кажется примечательным одно его рассуждение. Высказавшись в том смысле, что Флора была бы невозмож-

на, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает: «Пока мы еще имеем моральное право осуждать Флору. Не хватает рабочих рук, очень много непривлекательного и непрестижного труда, на который мы с упреком указываем Флоре, но уже недалеко то время, когда вторая НТР завершится (ориентировочно через 40—50 лет), непривлекательный и непрестижный труд будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим Флоре, когда она скажет нам: ладно, давайте вашу работу. Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное время — время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю Флору как некую модель общей социальной ситуации не столь уж отдаленного будущего?»

Что я из всего этого понял?

Редакционной врезки под публикацией нет. Следовательно, горком еще не принял своего решения по поводу намечающейся активности. И вообще заметно, что позиция горкома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны — подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина К. Л. все прописано досконально: и ветеран, и персональный пенсионер, и почетный наставник, и заслуженный рабочий РСФСР. То же и про декана: профессор, членкор, лауреат, депутат... А про Г. А. сказано просто, без затей: Г. А. Носов. Конечно, это можно понимать так, что каждый в городе знает, кто таков Г. А. Носов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намек: мол, сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра — Г. А. Носов, и точка.

Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы: горком никаких крайних акций не допустит — пошумят, погалдят и утихомятся. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобной красотишки Ривы, да и арбитром выбран высоколобый, а не практик. не чиновное лицо.

Все это он изложил нам в вестибюле с чемоданом наперевес. Говорил очень убежденно, но в его положении странно было бы говорить что-нибудь другое, например: да, ребятки, дело ваше говно, ну да ладно, как-нибудь вывернетесь, а мне уж придется в круиз, вокруг Африки.

Едва мы его проводили, как меня вызвал Г. А. и сказал:

«Пойдем». Мы пошли, и по дороге я все гадал, куда это мы идем, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым (несимпатичным), и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он вскричал рыдающим голосом: «Ну что тебе, Георгий? Ну что тебе еще?»

Да, он старый и верный друг Г. А. Да, он до гроба благодарен Г. А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами, и делами. Но сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он неясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет никаких секретов, никаких тайных пружин, и он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет марать свою совесть, а самое малейшее вмешательство в происходящее с неизбежностью приведет к тому, что он будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто «хуже не будет, а лучше — может быть». Будет именно хуже, причем гораздо хуже! Сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир: заведующей горono, председателю Совета ветеранов, главному редактору «Ташлинского агропрома»... Если сейчас в эфир выйдет Г. А., тогда он (волосатый, несимпатичный главный начальник) по простой логике гласности должен будет предоставить эфир всем названным лицам и еще двум десяткам неназванных, которые, как собаки с цепи, рвутся призвать граждан к поганым метлам, каленому железу и ежовым рукавицам...

Кончилось тем, что Г. А. пришлось утешать его, волосатого, несимпатичного, вытирать ему сопли, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда все закручивалось и похлеще, а кончилось благополучно, и в конце концов волосатый несимпатичный совершенно разрыдался — уже не в переносном, а в самом прямом смысле слова, и Г. А. взглядом показал мне, чтобы я вышел.

На обратном пути я спросил Г. А., что он думает о подборке в «Ташлинской правде». Г. А. ответил: «Могло бы быть значительно хуже». Потом помолчал и добавил: «А может быть, еще и будет значительно хуже. Посмотрим». Потом еще помолчал и пробормотал как бы про себя: «Во всяком случае, я больше никуда обращаться не буду. Поздно». Это было ключевое слово: «Поздно, поздно! — кричал Вольф, — продекламировал Г. А., оживившись. — Пена и

кровь стекали по его подбородку». Как всегда, цитата эта привела его в хорошее настроение. Он поглядел на меня повеселевшими глазами и вдруг спросил: «А не кажется ли вам иногда, Князь, что мы сейчас живем на переломе истории? Никогда не появляется у вас это ощущение? На переломе истории ужасно неуютно: сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадежно, но с другой стороны — счастлив. кто посетил сей мир в его минуты роковые... А, Князь?»

В самом деле, каково это — жить на переломе истории? Надо подумать. Что это такое, собственно. — перелом истории? Когда на перекрестках стоят броневики — и чадят костры, на которых догорают старые истины. — это уже не перелом истории, это уже началась новая история. А перелом — это производная по времени. Говорят, сердечники реагируют не на плохую погоду, а на изменение хорошей. Вокруг еще солнышко сияет, тепло, благорастворение воздушных, но давление начало меняться, и сердечник хватается за сердце. Может быть, и с историей так же? Может быть, Г. А. со своей чуткостью реагирует на изменения, которые только-только еще начались? Не удивился бы, хотя сам никаких изменений не ощущаю.

Пикетов еще больше, чем вчера. Лозунги примерно те же. Интуристам страшно интересно, они непрерывно сверкают вспышками и шуршат во все стороны видеокамерами.

Спросил Михея, что он, комсомолец Михей, сделал для того, чтобы его друг, князь Игорь, комсомолец же, не ушел во Флору? Реликтовые звуки были мне ответом.

Рукопись «ОЗ» (19—22)

19. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживленным местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных если и не дорог, то, во всяком случае, тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного ссыльного.

На Патмосе оказалось полным-полно ссыльных. Они называли себя жаргонным словечком прикахты, что соответствует примерно нашему понятию «крестник». Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники

Тиберия. Возомнившие о себе сенаторы, про штрафованные артисты, иноземные князья, мастера и любители красного словца, непоправившие реформаторы — некоторые при семействах и скарбе, а некоторые без ушей, без языка, иногда — без гениталий.

И все это была элита, даже те, кто был без гениталий. Социально близкие. А полуголый, вываренный в кипящем масле, облезлый профессиональный бандит был социально чуждым. Строго говоря, он был даже недостоин ссылки: если уж на него не хватило масла, то место ему было, без всякого сомнения, на кресте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены с точки зрения гордых прикахтов. Они стремились исправить упущение властей — и не преуспели.

Сначала были убиты три собаки — его пытались травить собаками, он убил их и вместе с Прохором съел, за жарив на угольях. Затем были изувечены четверо рабов сенатора Варрона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чем не превосходили своего хозяина.

Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры Четырнадцатого легиона. Облава кончилась ничем: сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили единственный его горшок со вчерашней похлебкой да захватили несколько коз, случившихся неподалеку и вряд ли ему принадлежавших.

Той же ночью поселок прикахтов запылал, подожженный с четырех концов пастухами-фригийцами, а бандит со своим Прохором, нагружившись скарбом сенатора Варрона, ушел в горы. Таким образом, развеселое приключение изнывавших от скуки крестников трех императоров превратилось в тяжелую и бессмысленную войну с аборигенами, окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унижительных условиях.

Иоанн-Агасфер стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал. Приносил воду и добывал пищу Прохор. Иногда приходили пастухи. Не здороваясь, садились у костра и пили кислое вино, принесенное с собой в облезлых мехах. Тогда Иоанн напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на ост-

рове не было. Он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени: ему не надо было работать, и все, чего он желал, было у него под рукой.

Вокруг него ничего не происходило.

Зато внутри него происходили вещи, поистине поразительные, и он с тревогой и изумлением впитывал их в свое сознание часами напролет, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от римского яда, когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у Латинских ворот. И с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясно и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения, яркие и огромные, видения того, что было, того, что будет, того, что есть? Да, очень может быть. Он видел. Он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался. Но он не участвовал.

Долгое время он думал, что это боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию и наделяют его для этого нечеловеческим знанием—все знанием наделяют они щедро его. Но по мере того как сознание его наполнялось, по мере того как Вселенная вокруг него и в нем самом становилась все огромнее, все понятнее, все яснее в своих неисчислимых связях, протянутых в прошлое и будущее, все проще в своей неизреченной сложности, по мере того как все это происходило, он все тверже укреплялся в мысли, что никаких богов нет, и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории, и все то, что озаряет его сейчас, идет не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить вечно, со всей Вселенною внутри.

Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печеную рыбу, или глотал квашеное молоко, или подбирался к похотливой козе, он оставался прежним Иоанном-Агасфером, и даже не Иоанном-Агасфером, а попросту Иоанном Боанергесом — диким, хищным, простодушным галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об Учителе уже потускнела в нем, оставив лишь смутное ощущение неопределенной ласковой теплоты.

Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести и ненависти. В часы бодрствования

сверхзнание его спало в нем, как Левиафан в толще вод. и если бы в такие часы его спросили, например, почему восходят и заходят небесные светила, он просто не понял бы вопроса. И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только удивился неожиданному баловству мысли, узревшей вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался.

Знание просыпалось в нем неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения, когда настигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости, к их рабскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами — богами, жрецами или властями.

Впервые это случилось жарким летним вечером, когда солнце уже зашло и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа под молодое самодельное вино. Обыкновенным путем разговор от женщин перешел на коз, и пастухи с большим знанием дела принялись втолковывать Иоанну и Прохору все тонкости этого приятного занятия: по каким признакам следует выбирать животное; каким образом надлежит подготовить его к употреблению; а главное, какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно и чтобы не случилось скверного — чтобы не зачать чудовище.

Иоанн-Агасфер ничего не имел ни против мужской беседы, ни против козлиного поворота ее. Но когда пастухи понесли чепуху о козлолюдях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, когда вранье пошло громоздиться на вранье, когда наперебой и безудержно пошли мешаться авторитетные ссылки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козьих шкур пошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Иоанн-Агасфер не выдержал. Он заговорил. Он сказал этим крикливым дуракам, что потомство коз от людей невозможно. (Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это, и более того, совершенно точно знает, почему это невозможно.) Он попытался объяснить им, почему это невозможно. Впервые в жизни он ощутил, как это мучительно, когда все понимаешь, но не хватает слов. Лингвистическое удушье.

Они не поняли его. Он стал кричать. Он бил кулаками в каменистую землю. Он сплетал и расплетал пальцы, сясь продемонстрировать механизмы. Он заикался, как па-

ралитик. Он заплел себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один — только Прохор рядышком с привычной сноровкой орудовал стилем по мятому листу грязноватого пергамента. Иоанн заплакал, швырнул в него головешкой и упал лицом в землю.

Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком. И очень скоро обнаружилось в нем четвертое вождение: жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть (если хочешь получить исчерпывающее наслаждение) обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным к слушателю. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь сверхзнание его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь корректной оппозиции. Это заставляло Иоанна искать партнеров.

Он сильно переменялся к интеллигенции. Ему стали нравиться люди начитанные и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собою всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира, но образование вооружало их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное.

Он стал своим человеком в колонии прикахтов.

А Прохор все записывал.

Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам-то Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало втуне. Он начал записывать еще у Латинских ворот. Он продолжал записывать на галере, которая везла их на Патмос, — мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи. На Патмосе, пока сверхзнание вызревало в нем, Иоанн-Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи — горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами.

Он записывал, когда взбешенного Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записал диспут Иоанна с Плинием-старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тивериадским, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным ученым. И еще

многие и многие диспуты записал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка.

Так рождался Апокалипсис, «Откровение Иоанна Божьего», знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн-Агасфер называл не иначе как кешер (словечко из арамейской фени, означающее примерно то же самое, что нынешний «роман» — байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голодания воров в законе). Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счете возникало под стилем Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить.

Иоанн-Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке и не более того. Писал же он и думал, естественно, по-гречески, а точнее — на классическом койне.

Далее. У Иоанна-Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание, и ему все время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю Вселенную от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени, и как ему было объяснить молодому (а хотя бы и пожилому!) уроженцу Херонеи, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое: пищаль, гравилет, ТВЭЛы, питекантроп, мутант, гомункулус, партеногенез, Линия доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, нуль-Т, римско-католическая церковь, магнитное поле, Облачный город, лазер, инквизиция... Он и сам-то, Иоанн-Агасфер, не умел не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего лишь ЗНАЛ о них, он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель и, как все великие писатели, прирожденный мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с самоуверенностью первого прозелита заполнял по своему разумению все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка.

Далее. Прохор изначально убежден был в том, что перед ним — действующий пророк во плоти. Иоанн-Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчества. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это конечно же и именно пророчества. И задачу свою он видел в том, чтобы

растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленил главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл, он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние...

В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся кешер можно множеством способов в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя.

Насколько известно, ни один из толкователей не принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни (как-никак четыре десятка лет) Прохор провел в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора наконец решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самоновейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты, надежды, и Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения.

Так появляется еще одно возможное толкование Апокалипсиса, на этот раз как остросовременного сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилась идея неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце шестидесятых Прохор, переводя с листа, читал Иоанну-Агасферу избранные отрывки из своего Апокалипсиса, пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, похохатывая, приговаривал: «Да, сынок, тут

ты их поддел, ничего не скажешь, молодец...» А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрек: «Имей в виду, Прохор, этой твоей штуке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломаются...»

Конечно, сейчас, спустя две тысячи лет, никто уже не способен воспринимать Апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы. «Божественную комедию» Данте, тоже не воспринимают как политический памфлет, хотя и задумана и исполнена она была именно в этом жанре.

А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну-Агасферу в голову странная мысль: не был Апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах ойкумены, ни политическим памфлетом, а был Апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний-провинций против Рима, титанической диспозицией типа «ди эрсте колонне марширт...», в которой все имело свой четкий и однозначный военно-политический смысл — и вострубление каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и Дева, поражавшая Дракона... И применена была эта диспозиция впервые (некоей своей частью) во времена Иудейской войны и, вполне по Л. Н. Толстому, обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность.

20. Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло, два раза я ронял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я оцарапал щеку о золоченый багет. Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от ужаса, однако все кончилось благополучно. Задыхаясь, из последних сил, я протащил картину через коридор, внес в Комнату и прислонил к стене: полтора на полтора, в тяжеленном багете и под стеклом.

Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич — прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным лучком, уксусом и кинзой.

— М-м-м! — произнес он, остановившись перед карти-

ной и извлекая из жилетного кармана зубочистку. — Очень неплохо, очень... Вы знаете, Сережа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?

— Ни копейки, — сказал я, отдуваясь. — С какой стати? А если не подойдет?

— И как это все вместе у нас называется?

— Не помню... Мотоцикл какой-то... Да там написано, на обороте. Только по-немецки, естественно.

Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только лоснящаяся задница осталась снаружи.

— Ага... — произнес он, выпрастываясь обратно. — Все понятно. «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтагморген». — Он посмотрел на меня с видом экзаменатора.

— Ну, мотоцикл... — промямлил я. — В солнечное утро... Под дверями, кажется...

— Нет, — сказал Агасфер Лукич. — Это живописное произведение называется: «Мотоцикл под окном в воскресное утро».

Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину.

На картине была изображена комната. Окно раскрыто. За окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место: слева — развороченная постель с ненормальным количеством подушек и перин; справа — чудовищный комод с выдвинутым ящиком, на комод — масса фарфоровых безделушек. Посередине — человек в исподнем. Он в странной позе — видимо, крадется к окну. В правой руке его, отведенной назад, к зрителю, зажата ручная граната. Все. В общем, понятно: аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан».

— Больше всего ему должна понравиться граната, — убежденно произнес наконец Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой.

— Лимонка, — сказал я без особой уверенности. — Помоему, у нас они давным-давно сняты с вооружения.

— Правильно, лимонка, — подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием. — Она же «фенька». А в Америке ее называют «Пайнэпл», что означает — что?

— Не знаю, — сказал я, принимаясь снимать пальто.

— Что означает «ананаска», — сказал Агасфер Лукич. — А китайцы называли ее шоулюдань... Хотя нет, шоулюдань — это у них граната вообще, а вот как они называли Ф-1? Не помню. Забыл. Все забывать стал... Обратите вни-

мание, у нее даже запал вставлен... Очень талантливый художник. И картина хорошая...

Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто. И вообще переоделся в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через два кулака, как детишки изображают бинокль.

— Но, во-первых, — сказал он, — во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет «дас моторрад», а на самом деле там у него, скажем, шарманщик. Или, страшно сказать, ребяташки с гитарой... Это во-первых. А во-вторых... — Глаза его закатились, голос сделался страдальческим. — Статично у него все! Статично! Воздух есть, свет, пространство угадывается, а движение где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать — где движение?

— Движение в кино. — сказал я ему, чтобы отвязаться. Мне очень хотелось есть.

— В кино... — повторил он с неудовольствием. — В кино-то в кино... А давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается!

Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу лимонку и бросился животом на пол под подоконник. За окном блеснуло. На нас с Агасфером Лукичем посыпался с потолка мусор. Звякнули стекла — в нашем окне. А за тем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и взвилось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами.

— О! — воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла. — Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл. — Он снова сделал из кулаков бинокль. — И не вообще мотоцикл. Сережа, а мотоцикл марки «Цундап». Хороший когда-то был мотоцикл... — Он возвысил голос. — Кузнец! Ильмаринен! Подите сюда на минутку! Посмотрите, что мы вам приготовили... Сюда, сюда, поближе... Каково это вам, а? «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Реализовано гранатой типа Ф-1. Она же лимонка, она же «ананаска». Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж, сами понимаете, одно из двух: либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее... Правда, интересная картина?

Некоторое время Демиург молчал.

— Могло бы быть и хуже, — проворчал он наконец. — Почему только все считают, что он — пейзажист? Хорошо. Беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему двести... нет, полтора — реста рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите все, что он предложит... Каков он из себя?

Я пожал плечами.

— Бледный... прыщавый... рыхлое лицо. Молодой, черная челка на лоб...

— Усы?

— Усов нет. И бороды нет. Очень заурядное лицо.

— Лицо заурядное, живопись заурядная... Фамилия у него незаурядная.

— А какая у него фамилия? — встрепнулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, силясь прочесть подпись в правом нижнем углу. — Да ведь тут только инициалы, мой Птах. А и С латинское...

— Адольф Шикльгрубер, — проворчал Демиург. Он уже удалился к себе во тьму. — Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит...

Мы с Агасфером Лукичом переглянулись. Он состроил скорбную гримасу и печально развел руками.

21. — ...Трудно мне вас понять, Агасфер Лукич, — сказал я наконец этому страховому лже-агенту. — Все-то вы толкуете о своем всезнании, а о чем вас ни спросишь, ничего не помните. Апостолов — поименно — не помните. Где у Дмитрия стоял запасной полк — не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие... Библиотекарем Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась — показать не можете. Как прикажете вас понимать?

Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным.

— Чего же тут непонятного? Знать — это одно, помнить — совершенно иное. То, что я знаю, — я знаю. И знаю я действительно все. А вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал, — это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия, нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете, когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете про Дорогу жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой дороге. Ну, и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком!

— Ладно, ладно, не горячитесь, — сказал я. — Понял. Только опять вы все перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили.

22. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках Севера обитают на дне хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двустворчатых (бивалвия). Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, до тридцати сантиметров в диаметре и до десяти килограммов весом. Пресноводные — значительно меньше, но зато живут до ста лет.

В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг (в раковинах, разумеется, а не в кальсонах). Строго говоря, и от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц, однако так уж повелось спокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ.

Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает туда по недосмотру или по несчастливой случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет — какая-нибудь колючая песчинка, соринка какая-нибудь, а то и, страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя перламутром своим, слой за слоем, — так возникает и растет жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на тысячу раковин. А стоящие жемчужины — и того реже.

Где-то в конце восьмидесятых годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн-Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида *P. маргаритафера* и существами вида *хомо сапиенс* имеет место определенное сходство. Только то, что у *P. маргаритафера* называлось жемчужиной, у *хомо сапиенс* того времени было принято называть тенью. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой. Навсегда. Постепенно заполняя правобережье (или левобережье?), они бродили там, стеная и жалуясь, погруженные в сладостные воспоминания о левобережье (или правобере-

жье?). Они были бесконечны во времени, но это была неза-видная бесконечность, и поэтому ценность теней, как това-ра, была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю. В отличие от жемчуга.

Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. (Так, может быть, раковины П. маргаритафера воображают, будто каждая из них несет в себе жемчужину.) Иоанн-Агасфер очень быстро обнаружил, что это — заблуждение. Да, каждый хомо сапиенс в потен-ции действительно способен был стать обладателем тени, но далеко не каждый сподобливался ее. Ну, конечно, не один на тысячу, все-таки чаще. Примерно один из семи-восьми.

Некоторое время Иоанн-Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекцио-нера вдруг пробудился в нем. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угады-валась удивительной красоты и стройности схема, удиви-тельная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что зна-чительно позже будет названо теорией вероятностей, мате-матической статистикой и теорией графов. (Он открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его.)

Попервоначально он обрадовался, обнаружив россыпи теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую рос-сыпь. Он еще не понимал, кому и как он будет сбывать тени, однако, будучи человеком практическим и безжалостным, радовался тому, что является единственным в ойкумене об-ладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании. Возбуждение обществен-ного спроса на тени. Массовая скупка товара. Создание рын-ков сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по «шел-ковому пути» к парфянам и дальше, в Китай... Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как пере-живают романтическую любовь.

И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания, природу их образования и развития, он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сли-ваясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и фор-мировать историю вида хомо сапиенс таким образом, чтобы

выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг, в данных условиях более всего привлекают и воспаляют его. Он мечтал уже о селекции и — кто знает? — может быть, о синтезировании их вне раковин... Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими все на свете и неопишимо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза.

Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они не дорого обошлись ему, да они немногого и стоили — мелкий тусклый грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось: он отработывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины, он научился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок.

Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор.

Прохор, сделавшийся к тому времени сухим, жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, драчливым, брюзгливым, вызывающе неопрятным, — этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты!

Апокалипсис Прохора под именем «Откровение пророка Иоанна» уже всю ходил в самиздате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело. Что ни месяц, на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринять жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору.

Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли. Потом по привычке и только строго поправлял паломников, когда те пытались называть его Иоанном. А спустя какое-то время и поправлять перестал. Что и говорить, из них двоих именно

Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился, он так и оставался крепким сорокапятилетним мужиком с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний.

Году этак в девяностом Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помутила его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой, пытался ему диктовать свое евангелие, которое должно было стать лучше всех других, известных к тому времени, вариантов описания жизни Учителя, — самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своем честолюбии и жадно выпрашивал все новые и новые подробности времен ученичества Иоанна в звании апостола.

Его можно было понять. Он был стар. Он проделал огромную и замечательную работу, написав Апокалипсис. Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Боанергесом.

Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого смущенно улыбалась. Каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом, — облезлый козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку.

Начинался новый, бродячий, период жизни Агасфера, Вечного Жида, Искателя и Ловца Жемчуга Человечьего.

Десяток лет спустя, находясь в Иасрибе, в славной лагуне человеческого моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн-Куттабы, странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в девяносто восьмом году в Эфесе.

Замученный жаждой посмертной славы, неутомимый Прохор даже помереть себе не позволил впрямую, по-чело-

вечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа.

Воистину, прав был Эпиктет, сказавши: «Человек — это душонка, обремененная трупом».

23. Теперь их было уже трое. И у каждого...

Дневник (Уже 20 июля. Ночь, 1 час 30 минут)

Около одиннадцати позвонил снизу Ваня Дроздов и предложил встретиться. Срочно. Мы встретились в «Кабачке», и он с ходу объявил мне: «Ну, все. Доигрались вы со своим Носовым». Он был взвинчен до последней степени, я даже перепугался. Оказалось (по его словам), что статья Г. А. привела город в необычайное враждебное возбуждение. Все теперь жаждут его крови, а заодно жаждут стереть с лица земли наш лицей. Как рассадник и гнездо. Завтра с утра ждите пикетов, и еще скажите спасибо, если это будут пикеты от нашего молокозавода, у нас все-таки нет таких обалдуев, как на крупнопанельном или, там, на «Тридцатке». Г. А. одного в город не выпускать ни в коем случае, рядом чтобы не меньше трех мужиков, да поздоровее, не таких, как ты...

Он меня, признаться, совсем запугал было, но я не дался и сказал ему, что ты мелешь, мы с Г. А. весь день по городу ходили, что ты панику разводишь, паникер? «Это вы сегодня ходили, — сказал он. — Завтра уже не ходите. Ты, вообще-то, знаешь, что в городе делается? Про детскую демонстрацию знаешь?» Я сказал, что знаю, потому что решил, что речь идет про ребяташек из специнтерната. Однако оказалось совсем не то.

Оказалось, что эти гады из управления пионерлагерей посадили с три сотни детишек в автобусы, свезли на площадь перед горсоветом и устроили там отвратительный цирк. Между прочим, с полного одобрения огромной толпы идиотов-родителей. Ребятишкам сунули в лапы какие-то дурацкие лозунги, заставили их выкрикивать какие-то дурацкие требования, а вокруг бесновались наши доблестные добры молодцы, порывавшиеся бить в горсовете стекла. Все это Ваня видел своими глазами, потому что стоял в оцеплении и всячески добрых молодцев урезонивал.

Длился этот пандемониум минут двадцать, а потом на своей «ноль-сорок третьей» примчалась ураганом красotka

Рива и учинила всеобщий разгон. Детишек в два счета повезли в Ташлинский центр смотреть новейшую серию «Термократора», родители были расточены, добры молодцы обратились в бегство, а всех остальных Рива уволила на месте. Осталось одно оцепление. Оно постояло-постояло и пошло на работу.

Рассказ этот вызвал у меня самые неприятные ощущения. С одной стороны, конечно, силы разума победили, а с другой — дикость ведь, двадцатый век! Главное, я никак не мог понять: зачем была эта демонстрация? Что им было надо? И кому, собственно? Иван утверждает, что город доволен мэром. Весь город настроился на «субботник», все уже готово, а мэр тянет и тянет. Надо его подхлестнуть, труса мордастого. Вот его и подхлестывают.

«А ты-то куда смотришь? — спросил я, ощутивши вдруг приступ неопишуемой злости. — Тоже на «субботник» настроился? А ведь я тебя держал за приличного человека». И мы тут же поцапались.

Ни в чем я его убедить не смог — может быть, потому, что сам потерял ориентировку. Все-таки это довольно нелепая ситуация — ты говоришь: «Так делать нельзя», а когда тебя спрашивают: «А как нужно?» — ты отвечаешь: «Не знаю».

В конце концов Иван угрюмо сказал: «Ладно. Я сюда не спорить с тобой пришел. У тебя свое, у меня свое. Ты про Носова своего все понял, что я тебе сказал?» Я ответил, что не верю во всю эту чушь. Г. А. в городе — человек номер один, тут и говорить не о чем. Иван возразил мне, что это вчера Носов был человек номер один, а нынче он и на шестерку еле-еле тянет. «Я тебя предупредил, дурака, — сказал он мрачно. — А там уж как знаете».

На том мы и расстались, и я сразу же побежал к Г. А. Оказалось, что у Г. А. в кабинете собрались все. Пока я разговаривал с Иваном, Г. А. сам собрал всех у себя. Он получил ту же информацию по своим каналам и теперь инструктировал нас, как нам должно себя вести в сложившейся ситуации. Спокойствие, выдержка, достоинство. В город выходить только по двое. Девочек — сопровождать. Но! Силовые приемы — только в самых крайних случаях. Субакс не использовать вообще. Говорить, объяснять, спорить. Ситуация хотя и не уникальная, но в наше время достаточно редкая: дискуссия с враждебно настроенной толпой — не с коллективом, а с толпой. Хорошая практика. Такой редкий случай мы упускать не имеем права. И так далее.

Я встал и поднял вопрос о его, Г. А., безопасности. В конце концов, главная злоба города направлена не против нас, не против лицей, а против Г. А. лично. К моему огромному изумлению, Г. А. тут же согласился, чтобы его при выходе в город сопровождал эскорт. Однако при этом он тут же добавил: мы должны знать и помнить, что не только он, Г. А., но и наш лицей как учреждение определенного типа давно уже является бельмом на глазу у некоторой части городского чиновничества. Поэтому в будущих дискуссиях мы должны быть готовы защищать и отстаивать право и обязанность нашего лицей на существование. «То, что под ударом сейчас оказался я, — это полбеды, а самая беда в том, что кое-кто использует ситуацию, чтобы поставить под удар наш лицей и всю систему лицеев вообще».

(Позднее примечание. Напоминаю: действие происходит в тридцать третьем году. В следующем году появится печально знаменитое постановление Академии педнаук о слиянии системы лицеев с системой ППУ, в результате чего долгосрочная правительственная программа создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации окажется подорванной. Глухая подспудная борьба, имевшая целью уничтожение системы лицеев, шла с конца двадцатых годов. Основное обвинение против лицеев: они противоречат социалистической демократии, ибо готовят преподавательскую элиту. По сути дела, антидемократическим объявлялся сам принцип зачисления в лицей — принцип отбора детей с достаточно ярко выраженными задатками, обещающими — с известной долей вероятности — развернуться в педагогический талант. Ташлинский лицей оказался только первой жертвой тогдашней АПН.)

Потом разговор перекинулся на статью. Выяснилось, что все мы восприняли ее по-разному. Но самым разным оказался, как всегда, наш Аскольдик. Он объявил, что эта статья есть большая ошибка Г. А. Ни в какой мере не затрагивая основных положений этой статьи, с которыми он вполне согласен, он тем не менее хочет подчеркнуть, что Г. А. выступил здесь как поэт и социолог, в то время как от него (по мнению Аскольдика) требовалось выступление педагога и политика. В результате вместо того, чтобы утихомирить взбушевавшуюся стихию, он возбудил ее еще больше.

Г. А. возразил, что у него и в мыслях не было кого бы то ни было утихомиривать, он ставил перед собой совсем

другую задачу — заставить задуматься тех людей, которые способны задуматься.

В ответ на это вконец распоясавшийся Аскольд объявил, что и эту свою задачу Г. А. не выполнил. Своей статьей он ухитрился оскорбить весь город, чуть ли не каждого доброго гражданина, так что десять человек в городе, может быть, и задумались, но зато десять тысяч только вконец остервенились.

Г. А. не стал с ним спорить. «Десять задумавшихся — это совсем не так мало, — сказал он примирительно. — Дай бог каждому из вас на протяжении всей вашей жизни заставить задуматься десять человек. Не к народу ты должен говорить, — продолжал он, возвысив голос с иронической торжественностью, — но к спутникам. Многих и многих отманить от стада — вот для чего пришел ты... Откуда?» Никто не знал, и Г. А. сказал: «Нищше. Это был большой поэт. Однако ему весьма не повезло с поклонниками».

И велел всем нам идти спать.

Дневник. 20 июля. 11 утра

Мы в осаде.

В семь утра нас поднял на ноги дикий рев, лязг, гром, одним словом — оглушительная какофония. Я бросился к окну. Вдоль всего фасада растянулась толпа прилично одетых павианов. Добры молодцы. Человек двести, наверное. Все кривляются, все размахивают конечностями и неслышно орут на нас. У каждого функен, включенный на полную мощность, и, кроме того, они приволокли еще десяток стационарных звучков, каждый ватт на сто, и эти звуки тоже работают вовсю. Надо же — не поленились! Не поленились притащить звуки, не поленились подняться в такую рань, не поленились намалевать плакаты. На плакатах: «Носов, убирайся из города!», «Долой дворянское гнездо!», «Лицеисты, стыдно! Вы должны быть с нами!». Морды потные, налитые, волосы дыбом, как у диких, пасти разинуты, но что орут — ничего не слышно за музыкой.

Между ними и лицеем вдоль тротуара стоят редкой цепочкой спиною к нам ребята из городского патруля. (Не без удовольствия узнал я среди них Сережку Сенько, Рената Гиттулина, Рейнгарта Хансена с биологического и — с особенным удовольствием — Ивана моего родимого Дроздова.)

Не знаю, как уж они там договорились с добрыми молодцами, но те ближе чем на два шага к ним не приближаются. Не сразу заметил я в сторонке два «лунохода» и кучку милиционеров. Угрюмых. Происходящее им явно не нравится. Издержки демократии.

Сначала все это показалось мне скорее забавным. Потом, когда я познакомился с лозунгами, я испытал сильнейший приступ естественного раздражения. Но страха вначале не было совсем, это я помню точно.

Однако пять минут спустя мне пришлось принять участие в нелегкой процедуре обуздания и остужения нашего Аскольда. Будучи настоящим суперменом и чемпионом города по субаксу, он побелел лицом, выпятил челюсть и танком двинулся вниз по лестнице к выходу — наводить порядок. Исполненный железной твердости, беспощадной последовательности и абсолютной непримиримости. Девчонки с визгом повисли на нем с двух сторон, но он их даже и не заметил. Пришлось тут уж и мне тряхнуть стариной, и только втроем мы сначала притормозили, а в вестибюле — и остановили его неудержимое движение. Румянец вернулся ему на щеки, он принес нам извинения за свою горячность, и мы все направились к Г. А.

И вот тут на меня накатило. Воображение мое ни с того ни с сего нарисовало мне картину, как Аскольдик вырывается от нас, врезается в толпу, и что тогда начинается? Только в этот момент я понял, что ничего забавного у нас тут не происходит, что все держится на волоске, и стоит этому волоску лопнуть, как волна зверства захлестнет и нас, и ребят из патруля, и милицию — не только в том смысле, что зверье растерзает нас, но и в том смысле, что мы все сами сделаемся зверями.

(Страшная штука — неуправляемое воображение. Я уверен, что и Аскольдика подвело именно оно. Выглянул он в окошко, увидел это кишение зверья и испытал страх — но, будучи суперменом, бросился выбивать клин клином, с каждым шагом к выходу сам все более превращаясь в зверя.)

Пока мы шли к Г. А., мне объяснили, что лицей, оказывается, пуст. Кроме нас, в здании никого нет. Ни повара, ни библиотекаря, ни дежурного преподавателя — никого. Только Серафима Петровна не испугалась. Даже ночной вахтер таинственно исчез. Видимо, драпанул через хозяйственный выход.

Г. А. спустился нам навстречу. Он был совершенно такой,

как всегда. Последовали распоряжения. Зойке и Аскольду — отправиться на кухню, готовить завтрак, а заодно и обед. Се-рафима Петровна уже там, будете на подхвате. Остальным заниматься своими делами. Кстати, где наш де Сааведра?

Де Сааведра тут же появился. Оказывается, все это время он торчал на крыше и снимал осаду на видеопленку, правда, к сожалению, без акустики. Смешной он был — встрепанный, в одних трусах, и аппарат на ремне, как автомат. Г. А. посмотрел на него с одобрением и продолжал: к окнам желательно не подходить. То есть если очень интересно, то подходить, разумеется, можно, но при этом языки не показывать, козу не делать и вообще не совершать аллегорических телодвижений. Стекол жалко.

Мы разошлись по постам.

Пневмопочта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Все-таки настолько всеобщего взрыва озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держалась только «Ташлинская правда». Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты.

Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога... Проповедь ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалам социализма... Ядовитая проповедь провозглашения (проповедь провозглашения!) мира между трудом и тунеядством... Претензии на роль некоего гуру, проповедующего новую религию, проповедь взглядов, идейно разоружающих строителей коммунизма... Приговоры: запретить преподавательскую деятельность; выгнать на пенсию; в двадцать четыре часа выдворить из города — через посредство административной высылки в установленном порядке...

Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны. Но совсем ненамного отстают от них господа наробразовцы, молодежные вожди, заместители деканов и вообще кадровики всех мастей. Несколько рабочих с «Тридцатки», пара мастеров-наставников с крупнопанельного и даже трое каких-то неедяк, видимо насмерть перепуганных размахом происходящего. И уж совсем ни к селу ни к городу — военный комендант.

Что характерно: Ревекка не выступила. Милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рев — действительно глас народа. Видимо, Г. А. своей статьей попал в самое больное место, я даже не понимаю, в какое именно. О Флоре — почти ни

слова. Такое впечатление, что про нее забыли совсем. Мне даже пришло в голову, что Г. А., может быть, нарочно выступил со своей статьей, чтобы перевести огонь на себя. Чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него.

В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намеки. Можем ли мы доверять подготовку будущих педагогов человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных, личных делах? Не следует ли предположить, что трогательная забота о тунеядствующей Флоре вызвана соображениями совершенно личными, весьма далекими от философии, социологии, педагогики? И снова: не следует ли Г. А. Носову разобраться сперва с собственными, частными делами, а потом уже заниматься общественными?

Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул на меня и спросил: «Ты что — не знаешь, что ли?» Я не знал. «Вырастешь, Ига, узнаешь». — пробурчал Михей, и я вдруг понял, что узнать не хочу. Это какая-то гадость, ну ее к черту.

Ура! Наконец-то наш Ташлинск попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии — цитирую дословно из «Известий»:

«Ташлинск, 19 июля. На два месяца раньше срока запущена полностью автоматизированная линия по производству высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачева...» и так далее.

А мы-то, дураки, тут переживаем!

Имеет место определенная эволюция звуков, раздающихся снаружи. Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело (сами, видимо, оглохли), и они принялись развлекаться: громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело. Принялись паясничать: «Внимание, внимание! Через пять минут здание лица будет взорвано на воздух! Предлагается всем находящимся в здании капитулировать. Выходить без оружия по одному с интервалом в тридцать секунд, держа руки за головой. Первым выходит Носов, лично...» На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным фырканием и хрюканием. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько сцепок пустились в пляс.

Аскольд наладил мегафон и предложил Г. А. выступить. «Чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся». Г. А. резко ответил: «Нет. Мне все равно, что они думают. Я не люблю их сейчас. Я не хочу с ними разговаривать».

23. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый из них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, представления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне.

Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Петр Петрович был аскет. Канцелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой — скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней — Библия в издании Московской патриархии. Простой — и даже простейший — стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены: ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство. Трезвость и целеустремленность. Умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным багажом — под койкой.

Парасюхин же был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить. Он дорвался. Из моей приемной Марк Маркович уволок (сам, лично, обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения): половину чудовищной невообразимой кровати; два телевизора цветного изображения; два застекленных шкафа невыясненного назначения; книжную стенку вместе с мляжами книг; толстый рулон весом тонны в полторы (это оказались ковры, я думал, он умрет под этим рулоном, но он уцелел); картину с Сусанной, старцами и penisом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло со стальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены: плащ-болонья (испачканный), мужской костюм-тройка (новый, на три размера меньше, чем ему требовалось), мохнатое пальто мужское (одно), мужские сорочки разных размеров (двенадцать, дюжина), бюстгальтеры женские разных размеров (семь)... Много чего он уволок, мне в конце концов надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упер что-нибудь из моего рабочего инвентаря.

В результате кабинет Парасюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры. Роскошные покрывала. Огромный письменный стол с огромным письменным прибором (представления не имею, откуда прибор), на

одной стене — Сусанна в тяжелой золоченой раме, на другой — портрет святого Адольфа, украшенный дубовыми листьями и черной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку, над роскошной постелью — бессмертное творение кисти великого человека «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтагморген». Кресло с шипом приспособлено для посетителей: на шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки — подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встает, тому Бог дает». В дальнем углу — огромное старинное зеркало, местами потемневшее. — перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность. Нордическая лень и неколебимая уверенность. Славянская широта и арийский гемютглихькайт. И запахок, как в борделе.

А вот кабинет или, точнее, обиталище Матвея Матвеевича Гершковича (Мордехая Мордехаевича Гершензона) являл собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней едой. Подоконник здесь был вечно заставлен кастрюльками, судками и особыми баночками — Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинет ему в бульон чего-нибудь трэфного. (Не то чтобы он был таким уж верующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток.)

Если, войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол натерт и блестит, на аптечной тумбочке — ни пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ранжиру, зеркало платяного шкафа свежее промьгто, фикус в углу тщательно полит и даже обрызган из специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель, стул будет помещен на столе вверх ножками, огромный дедовский сундук неаппетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками и высохшими стержнями из-под авторучек, а сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченный и восторженный, и в который уже раз с наслаждением перечитывает роман «Во имя отца и сына».

В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремленности, чтобы убрать свою комнату от альфы до омеги. Он теоретик. Он великий моралист-

теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично. Как сам Иегова. Око за око, зуб за зуб. Поднявший меч от меча да погибнет. Если враг задирает, его уничтожают. Мне отмщение, и только мне... Казалось бы, дай ему волю, и полмира насилья ляжет в дымящихся развалинах. Но не хватает целеустремленности. черт ее подери совсем. Мешает, черт ее подери совсем. природная незлобивость, а также врожденная убежденность, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось.

Он из тех знаменитых евреев, которые способны вызвать приступ острого антисемитизма у самого Меира Кахане или даже у теоретика сионизма господина Теодора Гершля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать непроспавшемуся и злобному Парасюхину, что совсем уже почти договорился со вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион. Пять рублей в день, ну и что? Это недорого. Обед и ужин, а завтракать он будет здесь, он всегда имеет возможность достать свежие яечки и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по рубль тридцать. Вот я вижу, вы всегда берете яйца по рубль тридцать. А я могу брать по девяносто, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые, хорошие яечки. Вы — молодой человек, вы этого не понимаете, что главное — это устройство с питанием...

Кто может выдержать такое? Разве что Петр Петрович Колпаков. Он стоит к Матвею Матвеевичу вполоборота, всжливую улыбаются и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос, куда ему отнести Матвея Матвеевича. К злакам или к плевелам? К агнцам или к козлищам? Истребить его в запланированном армагеддоне или, наоборот, возвысить?

Непроспавшийся же и злой антисемит Парасюхин конечно же не выдерживает. В кухне становится черным-черно, как в известном письме известного писателя известному историку.

Однако, в отличие от известного историка, Матвей Мат-

веевич (Мордехай Мордехаевич) ни эфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир заполонили дурные, своекорыстные люди, везде блат, по знакомству можно достать все, а без знакомства человек ничто, особенно если он не сумел как следует устроиться с питанием.

Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марек Парасюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать овсяную кашу, чтобы не подгорела, и потому лишенный даже возможности бежать, заткнувши уши, испускает из себя освященную веками нутряную иступленную жалобу: «Да господи же боже мой! Ну нигде же нет от них спасения! Куда ни сунься — везде ведь они!»

Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрепанный после душа Агасфер Лукич. В правой руке у него чашечка кофе, в левой — бисквитик, а на устах — бессмертное: «Если в кране нет воды, значит, выпили жида...»

Происходит двойной взрыв. Парасюхин взрывается потому, что усматривает в дурацкой частушке Агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками, глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу. Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишен даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает недвусмысленное и очевидное оскорбление своего национального достоинства.

Дуэт:

— Здесь нет ничего смешного, Агасфер Лукич! Довольно странно, что вы, при вашем опыте, при ваших знаниях, норовите отделаться шуточками, когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации! Ведь вы же русский человек! Что вы тут нашли смешного? Да, выпили! Если нет воды, значит, именно они и выпили! В прямом или в переносном смысле! И ничего смешного!..

— Что значит — жида? При чем здесь опять жида? Почему у вас во всем и всегда виноваты жида? Как вам только не стыдно, Агасфер Лукич? Ведь вы же сами — древний еврей! И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста! Пейте! Открывайте кран и пейте!..

Петр Петрович Колпаков неопределенно улыбается, видимо размышляя, куда ему отнести Марек Парасюхина.

Агасфер Лукич доволен. Кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я и, сдерживаясь из самых последних сил, осведомляюсь:

— Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкуру и носом — в унитаз, в унитаз!..

Двадцать первый век на пороге. Коммуналка. Тоска. И над всем этим — черным фломастером по белому кафелю кухонной стены — напоминание: «Lasciate ogni speranza»*

Что держит меня здесь? На что я еще надеюсь? Почему давным-давно не сбежал?

Держит что-то. Надеюсь на что-то. Чего-то еще жду.

Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так сжился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены.

Вот сейчас, например. Пожалуйста. Я пишу в своей камерке и точно знаю, что за четыре стены от меня Парасюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привел с «плешки». Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и, в особенности — славяно-арийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или (в особенности) какой-нибудь пархатый семит. Шлюха немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполслуха. О половых аппаратах она знает все.

Сегодня шестнадцатое ноября. Опять. И опять все та же слякоть на мостовых и падающий с серого неба то ли дождь, то ли снег.

А может быть, это Сверхзнание начинает прорастать во мне, превращая меня в нового Агасфера?..

24. Разговор начался с того, что Агасфер Лукич, сияя как блюдо с красной икрой под яркой люстрой, явился предо мною и с легким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний «Астрофизикл джорнэл», и он, по крайней мере, наполовину был посвящен моим «звездным кладбищам».

Ган, Майер и Нисикава, независимо друг от друга, при-

* «Оставь всякую надежду». Данте, «Ад», песня Третья.

носили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и наперебой сообщали о наблюдениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Манохиным. Запущенный в начале ноября «Эол» сделал свое дело.

Ничуть не отставая от них, Семен Бирюлин, используя данные нашего «Луча», подтверждал мои «кладбища» в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. И Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых все выглядит именно так. И еще большая методологическая статья Де-Прагеса... и еще два письма каких-то незнакомых китайцев...

Удивительно, но все это оставило меня совершенно равнодушным. Как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения. Как будто никогда я не мучился угрызениями совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошел в свое время в дикую унижительную и странную службу ради того фактически, чтобы полистать такой вот выпуск «Астрофизикл джорнэл» или хотя бы «Астрономикл леттерз».

Столько раз представлял себе, что буду листать его жадно, впиваясь глазами и упиваясь злорадным облегчением и утоленной гордыней, а теперь вот листал его равнодушно, совершенно безразлично и думал более о том, что вот пуговица у меня на манжете оторвалась и ускользнула в карман и теперь вот придется идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в «Галантерею»...

И когда поднял глаза на Агасфера Лукича, я обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. «Что же это вы, голуба моя?» — с обидой и упреком произнес он и тут же сделал мне выговор.

Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, Агасферу Лукичу, чтобы подвинуть известное лицо на выполнение этого моего научно-исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики? Сколько упреков было обрушено, сколько досады было вымещено — вообще сколько времени было потрачено, драгоценного, невозполнимого времени известного лица? И наконец, известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе,

за которой начинается абсолютное небытие. — и все для чего? Для того только, чтобы овеществить, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шкодливого пера капризного, избалованного теоретика!..

Большую часть все это было мне неизвестно, поскольку ни во что это меня не посвящали, так что я оставался вполне равнодушен под градом его упреков и диатриб. Оказывается, я уже основательно забыл, с чего началась эта моя история. Все бывшие чувства мои увяли, горечь выветрилась, а яд высох, как говаривал сэръ Редьярд Киплинг. Гигантский груз новых впечатлений, нового знания и новой ответственности буквально выдавил, выгеснил, выпарил из моего прежнего С. Манохина с его маленькими амбициями, детскими капризами и совершенно микроскопическими вожделениями. В сущности, я давно перестал быть С. Манохиным. Я был теперь мелким лемуром в безотказном услужении у непостижимого чудовища, только в отличие от фаустовских лемуров я сохранял способность сознавать и все еще пытался разобраться в происходящем, упростить его до такой степени, чтобы оказаться способным его понять и, следовательно, — хоррибле дикту! — влиять на него...

Агасфер Лукич конечно же разобрался во всех этих моих мыслях и тут же направил огонь своих репримандов на другой фланг. Оказывается, уже довольно давно я вызываю у него определенное беспокойство. Я плохо ем. Я почти не улыбаюсь. Я перестал шутить. Опыт с женщиной, который Агасфер Лукич произвел, имея в виду мое духовное и физическое здоровье, окончился скорее неудовлетворительно...

Ему, Агасферу Лукичу, совершенно понятна причина этого духовного и физического увядания. Я потерял ориентировку. Я утратил представление о конечных целях. И все это потому, что с самого начала, вот уже много месяцев, я пребываю в состоянии хронического недоумения по поводу того мира, который окружил меня.

Сначала я (впопыхах и сгоряча) вообразил себе, будто оказался секретарем, мажордомом и лакеем Антихриста, явившегося наконец на Землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием Страшный Суд. Эта безумная при всей своей примитивности идея заметно травмировала мою психику закоренелого атеиста, потому что продралась в мое сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретенных материалистических представлений, с одной стороны, и железной логи-

кой наблюдения — с другой. Это было время, когда мое душевное здоровье находилось под самой серьезной угрозой, ибо нельзя последовательному материалисту надолго погрузиться в мир объективного идеализма безнаказанно.

К счастью, дальнейшее накопление наблюдаемых данных (скажем, появление в доме таких перлов мироздания, как Марек Парасюхин, участковый Спиртов-Водкин и неопишуемая Селена Благая) благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасен, однако ненадолго.

Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического Антихриста трансформировалось в некоего Космократа, фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого — вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей Космократ обрушил свое внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент, суть коего для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь, в этой квартире без номера, людей и людишек, одержимых самыми конкретными идеями как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить несчастное человечество. Зачем? А затем, чтобы Космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления.

Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного на гноище неопишуемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным вивисекциям, и привело меня сейчас на грань отчаяния и безнадежности, за которыми вновь встает призрак безумия.

Ибо, несмотря ни на что, я все-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей. Несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценою самых высоких наслаждений духа. Несмотря на потоки глупостей, подлостей, мерзостей, предательств, преступлений, уже тысячелетиями порождаемых и извергаемых из себя и на себя этой огромной массой людей. И несмотря, наконец, на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы, частицей которого я, несмотря ни на что, остаюсь.

Любовь, как известно, зла. Она порождает удивительные

намерения и провоцирует любящего на поступки противостественные и благородные, благородные до неестественности, до извращенности даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такова: раз уж Космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так, может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним? Ведь с научной точки зрения это одно и то же, то есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Дело лишь за искусством экспериментатора, а в нем сомневаться не приходится. Что же касается подопытного материала, то вот он, здесь, перед вами! Грядите и приступайте!

Глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением, Агасфер Лукич всплескивал короткими лапками и повторял: «Какое нелепое простодушие! Какое благородное убожество! Какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образца! Стыд! Изуверство! Какое беспомощное изуверство!..»

Признаюсь, ему таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно — ощущать себя просматриваемым насквозь, да еще глазом бывалого микропсихолога. И в то же время я испытывал определенное облегчение человека, болезнь которого наконец названа и признана пусть тяжелой, стыдной, неприличной, но излечимой. Я искал слова, чтобы достойно ответить, и слышал уже энергические и раздражительные толчки пульса в висках, уже просыпалась во мне целительная злоба, однако нужные слова найти я не сумел, и Агасфер Лукич продолжал.

Откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания? Что за инфантильный мазохизм? Разумеется, он, Агасфер Лукич, понимает, откуда у меня все это. Но ведь я же все-таки научный работник, сама профессия моя, сама моя идеология обязывает, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно и с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту.

По складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них. Ради бога! Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные, что меня же самого норовят свести с ума? Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу?

Почему бы не предположить, например, что известное лицо, вконец отчаявшись затопить Вселенную добром, решило, по крайней мере, избавить ее от зла? Как мне это понравится: собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных, безапелляционных, неисправимых и настырных носителей разнообразного зла, а собравши — утопить в Тускарорской впадине? «Всех утопить!» Фауст. Пушкин.

Я ни в коем случае не должен воображать, будто эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей. По рангу своему, по своей глубине она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней, по крайней мере, одного преимущества — преимущества оптимизма?

Нетрудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтанья в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступам сколько-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаестественность. Его грубость. Его брезгливость ко мне подобным. Его истерики. Наконец, его манера тарашить глаза, каковая манера даже Агасфера Лукича приводит в рефлекторное содрогание...

Все это так. Но за всем тем не мог же я не заметить его постоянной изнуряющей занятости. Его метаний. Его измученного, но неутолимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах невидимого мне, непонятого, но явно тяжкого креста. Этой его забывчивости, этих странных его оговорок и невнятных распоряжений... Да в силах ли я понять, что это такое: пребывать сразу во всех восьмидесяти с гаком измерениях нашего пространства, во всех четырнадцати параллельных мирах, во всех девяти извергателях судеб!

Да в силах ли я понять, каково это: вернуться туда, где тебя помнят, чтут и восхваляют, и выяснить вдруг, что при всем том тебя не узнают! Никто. Никаким образом. Никогда. Не узнают до такой степени, что даже принимают за кого-то совсем и чрезвычайно другого. За того, кто презираем тобою и вовсе не достоин узнавания!.. Проклятые годы. Что делают они с нами!..

Да в силах ли понять я, каково это: быть ограниченно всемогущим? Когда умеешь все, но никак, никак, никак не можешь создать аверс без реверса и правое без левого... Когда все, что ты имеешь, и можешь, и создаешь доброго, —

отягощено злом?.. Вселенная слишком велика даже для него, а время все проходит, оно только проходит — и для него, и сквозь него, и мимо него...

Агасфер Лукич разволновался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничтожения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут, в самый патетический момент, грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздраженного презрения:

— На кухне! Из четвертого котла утечка! Опять под хвостами выкусываете?

25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, и не было. Я проснулся оттого, что неподалеку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи — гортанно, яростно, с придыханиями, на совершенно незнакомом языке.

Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих Агасфер Лукич, а затем, как водится, начал разбирать и о чем они бубнят, сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни, в особенности, все возвышающийся тон мне решительно не понравились, я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестопер и высунулся в коридор.

В коридоре было темно и пусто, вся наша контора спала, но в прихожей горел свет, и я увидел Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне и, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом — Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не пускал.

Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели: был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне еще по гостинице Степной, из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясицу в предчувствии подступающего радикулита, он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром...

Невидимый мне визитер гортанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости Милостивого, ибо сказано: рабу не дано сражаться, его дело — доить верблюдиц и подвязывать им вымя. В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич уже совершенно для меня внятно произнес, почти пропел, явно цитируя:

— «Свои пашни обороняйте, ищущему милости дайте убежище, дерзкого прогоняйте». Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджжа ибн-Мурара? Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?

Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопер на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал даже — жирный старик в синих шелковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары еле держались у него на бедрах, низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом, по-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежесбрита круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его, черное от солнца, тоже было в саже, и белая растрепанная борода была захватана грязными руками, а черные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чем остановиться.

Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо нее огромный треугольный проем, и из этого проема высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра (совершенно так же, как давеча вместе с Бальдуrom Длинноносым вывалился в прихожую огромный сугроб ноздреватого оттепельного снега). Абитуриент стоял на своем ковре. То ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зеленый линолеум.

— Демон зла и падения Абу-Сумама! — после некоторого молчания возгласил абитуриент. — Снова и снова заклинаю тебя: перед тобой смертный, который нужен Рахману!

— Муджжа ибн-Мурара, — явно пародируя, отвечивал Агасфер Лукич. — Ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени своего Масламу Йемамского, снова и снова отвечаю тебе: ты не нужен Рахману!

Муджжа ибн-Мурара произвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема.

Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь тлел там — то ли костер, то ли жаровня, — и колебались на сквозняке огоньки светильников, и отсвечивало что-то металлическим блеском — вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белесое лицо с черными, исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта.

— Я свидетельствую: ты лжешь, Абу-Сумама! — прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления. — Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!

— Он не захочет, — равнодушно сказал Агасфер Лукич. — И Омар ибн ал-Хаттаб обойдется без тебя. Он заберет Египет мечом Амра. И без особенной крови, между прочим...

— Омар ибн ал-Хаттаб — жалкий пес и выскочка! — взвизгнул толстяк. — Он стал халифом только потому, что Пророк по упущению Рахмана остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери! Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом, кроме этой дочери, нет ничего у Омара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем!

— Клянусь ночью мрачной и волком смелым, — отвечал Агасфер Лукич, — у тебя, Муджжа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману.

Толстяк рванул себе бороду обеими руками. Глаза его выкатились.

— Я не прошу службы, — прохрипел он. — Я прошу милосердия... Я не могу вернуться назад. Доподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи... Пусть Рахман оставит меня у ног своих!

— Нет тебе места у ног Рахмана, Муджжа ибн-Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя, ибо сказано: ближе нас есть у тебя семья — извечно несытый; пятнистый короткошерстый; и гривастая вонючая... Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут — слишком ты сделался стар и жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет...

Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне все время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и все же пропустит его пред светлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит. Ни за что. Никогда.

И, как видно, толстый старый Муджжа тоже понял это. Выкаченные глаза его сузились и остановились наконец, чтобы испепелить ненавистью.

— Лишенный стыда и позволивший называть себя именем Абу-Сумама, — просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу. — Я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху, Нахар ибн-Унфува, прозванный Раххалем! Клянусь

самумом жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком!

Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался.

— Клянусь пустым кувшином и высосанной костью, — сказал он с усмешкой. — Ты никому ничего не отрубишь, Мудджа ибн-Мурара. Здесь тебе не Йемама, смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее. Уходи вон, или я прикажу своим ифритам и джиннам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатер.

Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Все были дезабилье, даже Селена Благая. Только Петр Петрович Колпаков счел необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Адидас».

Наверное, с точки зрения средневекового араба мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и, уж во всяком случае, — фантастическое. Однако Мудджа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукою и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лукича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша.

— Ты, Раххаль, — произнес он, захлебнувшись. — Шелудивый бродяга и бездомный пес. Ты смеешь называть меня предателем. предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Мусейлиме!..

— А я запомнил времена, когда этого презренного ты называл милостивый Маслама! — вставил Агасфер Лукич, но Мудджа его не слушал.

— Трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника! Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн-Зейда, которого даже презренный Мусейлима отпустил с миром, не решившись преступить справедливость и обычай? Посланником Пророка был Хабиб ибн-Зейд, а ты велел схватить его, мирно возвращавшегося, и отрезать ему обе руки и обе ноги — ты, Раххаль, да превзойдут зубы твои в огне гору Оход!

— Пустое говоришь, — снисходительно сказал Агасфер Лукич, — и в пустом меня обвиняешь, ибо отлично знаешь сам: презренный Хабиб умертвлял младенцев, отравлял колод-

цы и осквернял поля. Все, получившее благословение Масламы, он отравлял, чтобы погибло. Я всего лишь приказал отрубить ноги, носившие негодя, и руки, рассыпавшие яд.

— Свидетельствую, что ты лжешь! — отчаянно выкрикнул Мудджа и вытер трясущейся ладонью пену, проступившую в уголках рта. — Лучше меня знаешь ты, что именно благословения фальшивого Мусейлимы были ядом для детей, для земли и для воды йемамской! Ты, Раххаль, раб лжепророка, предавший и его, вспомни сражение у Акрабы! Может быть, стыд наконец сожжет тебя? Ты, бросивший свое войско перед самым началом битвы, покинувший лучших из лучших Бену-Ханифа умирать под саблями жестокого Халида! Ты бросил их, и все они легли там, у Акрабы, все до единого, кроме тебя!

— А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают, твои братья по племени...

— Лжешь ты и лжешь! Железо оков проело мясо до костей моих, слезы прожгли кровавые вадн на щеках моих, но, когда пришло время, я спас от жестокого Халида женщин и детей Бену-Ханифа, я обманул Халида!.. Ты, бросающий лживые обвинения, вспомни лучше, почему ты ускакал от Акрабы, будто гонимый черным самумом! Это похоть гнала тебя! Клянусь черным волком, похоть, похоть и похоть! Ради бабы ты бросил все — своего лжепророка, которому клялся всеми клятвами дружбы и верности; и сына его, Шурхабиля, которого Мусейлима доверил твоей верности и мудрости; и друзей своих, и своих воинов, которые, даже умирая, кричали: «Раххаль! Раххаль с нами!» Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подложил под бессильного козла Мусейлиму, надеясь заполнить таким образом его душу...

— Я не советую тебе говорить об этом, — произнес Ага-сфер Лукич таким странным тоном, что меня всего повело, словно огромный паук побежал у меня по голой груди.

Но Мудджа уже ничего не слышал.

— ...однако лжемилостивый оказался слишком стар для твоего подарка, и ты остался с носом — и без вожеленной души его, и без своей вожеленной бабы! Ты, Раххаль, дьявол при лжепророке, преуспевший во зле!

Мудджа замолчал. Он задыхался, борода его продолжала шевелиться, будто он еще говорил что-то, и, клянусь, он улыбался, не отрывая жадного взгляда от окаменевшего

лица Агасфера Лукича. А тот медленно проговорил все тем же страшным, кусающим душу голосом:

— Ты просто чувствуешь приближение смерти, Муджжа. Перед самой смертью люди часто говорят то, что думают, им нечего больше скрывать и незачем больше таиться. Я вижу, ты сам веришь тому, что говоришь, и трижды заверяю я тебя, Муджжа: не было этого, не было этого, не было.

Тогда Муджжа засмеялся.

— Записочку! — проговорил он, захлебываясь смехом и пеной. — Записочку вспомни, Раххаль! — хохотал он, задыхаясь и всхлипывая, тряся отвислыми грудями и огромным брюхом. — Вспомни записочку, которую передали тебе накануне битвы... Ты помнишь ее, я вижу, что ты не забыл! Так слушай меня и никому не говори потом, что ты не слышал! Твоя Саджах нацарапала эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. Ты знаешь его — это Бара ибн-Малик, горячий и бешеный, как хавазинский жеребец, вскормленный жареной свининой, искусный добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол Раххаль, терзаемый похотью, покинул войско Мусейлимы на чаше верных весов!

И сейчас же, без всякой паузы:

— Ты позволил себе недозволенное, — произнес Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раххаль. — Ты должен быть строго наказан.

«Милиция!» — ужасно взвизгнул у меня над ухом Матвей Матвеевич. Он понял, что сейчас произойдет. Мы все поняли, что сейчас произойдет. И уж конечно, Муджжа ибн-Мурара понял, что сейчас произойдет. Рука его нырнула во тьму треугольного проема и сейчас же вернулась с широким иззубренным мечом, но Раххаль шагнул вперед, мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук, широкое черное лицо над испачканной бородой враз осунулось и стало серым... храп раздавался, наподобие лошадиного, и страшный плеск жидкости, свободно падающей на линолеум.

Тут я, видимо, на некоторое время вырубился.

Вся прихожая была залита. Ужасно кричал Матвей Матвеевич. «Милиция! — кричал он. — Милиция!» Уткнувшись головой в зеркало, неудержимо блевал Марек Парасюхин... А Агасфер Лукич, фарфорово-белый, совершая выпачканными лапками выгалкивающие жесты, бормотал нам успокаивающе:

— Тише, тише, граждане! Ничего страшного, все будет путем. Идите, идите, я тут все сам приберу...

Exit Мудджа ибн-Мурара, наместник йемамский.

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад...

Дневник. 20 июля, 13 часов

Мы остались без Мишеля.

За ним приехал отец из Новосергиевки. Всю ночь гнал на машине как сумасшедший. Была очень тяжелая сцена. Мишель, конечно, уезжать отказывался, но отец сказал ему, что мать лежит в тяжелом приступе (начиталась газет, наслушалась слухов, в Новосергиевке ходят ужасающие слухи) и Мишель ее просто убьет, если не приедет тотчас же. Огромный седоголовый красавец, а глаза тоскливые, губы трясутся, руки трясутся — я не стал на это смотреть, ушел по добру-поздорову.

Конечно, Мишель сдался. И я бы сдался. Любой в таком положении сдался бы. Тем более что у нас здесь ничего страшного не происходит, толпа основательно подрассосалась — надоело, опять же и обедать пора. Ребята из патруля уже не стоят цепочкой, а столпились у крыльца и покуривают. Только милиция по-прежнему на своем посту, но смотрит уже явно не так угрюмо, как раньше.

Мишель демонстративно не взял с собой ничего. Он объявил, что через два дня снова будет здесь.

Без Мишеля тускло.

20 июля, 15 часов

Плохо дело.

В два часа в дверь позвонили. Это явился Первый и с ним еще какой-то деятель в элегантнейшем костюме и фотохромных очках. Я им открыл. Точно помню, что уже тогда подумал: плохо дело — хотя еще не понимал, что именно плохо и почему.

Первый поздоровался, представился и сказал, что хочет видеть Г. А. Я повел их под перекрестными взглядами жалких остатков нашего гарнизона, сбежавшегося на дверные

звонки. На лестнице Первый изволил пошутить: «Ну как вы тут, осажденные? Крыс уже всех подъели?» Мне было не до шуток.

Я запустил их в кабинет Г. А. и остался сидеть в приемной. Девочки и Аскольд посидели со мной немного, а потом разошлись по своим делам. Все они были настроены совершенно оптимистично. Логика: раз уж сам Первый нанес визит, значит, все будет ОК.

Из кабинета не доносилось ни звука. Я ждал. И чем дольше я ждал, тем яснее мне становилось, что ничего хорошего ожидать не приходится. Раз уж сам Первый в такое время и в такой ситуации наносит визит Г. А., это может означать только одно: дорогой Георгий Анатольевич, мы вас высоко ценим и глубоко уважаем, однако вы должны понять нас правильно... демократия... позиция первичных партийных организаций... наробраз... комсомол... невозможно, да и неверно было бы идти против воли всего города, выраженной настолько определенно... разумеется, мы учтем все ваши соображения, они представляют большую ценность, мы тщательно изучим их при формировании долгосрочной политики в будущем, но сегодня, сейчас... и не обращайтесь внимания на выпады экстремистов... культура дискуссий у нас пока еще далека от совершенства, и вы погорячились, и они вот теперь горячатся... но все мы ни на минуту не забываем, что вы — гордость нашего города, всего края, всего Союза, наконец!..

Все это я представлял себе так ясно, как будто слышал своими ушами. (А может быть, я действительно все это слышал? Только не ушами. Со мной и раньше такое бывало, когда доводили меня до крайности.)

Когда они вышли от Г. А., я еще владел собой. Пока пожимались руки и происходил обмен прощальными любезностями, я все еще сдерживался. (Лицо у Г. А. было такое, что я только разок глянул на него и больше уж не смотрел.) И я еще сдерживался, пока вел их по главному коридору, вывел на лестничную площадку и вот тут сдерживаться перестал. (Г. А. с нами уже не было, он вернулся к себе.)

К сожалению — а может быть, к счастью, — я плохо помню, что я им говорил. И спросить не у кого — никого из наших поблизости не оказалось. Допускаю, что я назвал их предателями. Вы предали его, сказал я. Он так на вас надеялся, он до последней минуты на вас надеялся, ему в этом городе больше ни на кого не оставалось надеяться, а

вы его предали. (Щеголь в фотохромных очках, кажется, пытался остановить меня: «Не забывай, с кем ты разговариваешь!» — и я тогда сказал ему: «Молчите и слушайте!») Может быть, вы вообразили себе, что ваши комплименты и все ваши красивые слова что-нибудь для него значат? Да не нужны ему ни ваши комплименты, ни ваши фальшивые похвалы. Ему нужна была ваша поддержка!..

И еще что-то в этом роде, совсем не помню. А помню, как он прервал меня и спросил с искренним удивлением: «Так ты что же — веришь во все эти его фантазии?» — «Нет, — сказал я честно. — К сожалению, нет. Умишка у меня не хватает в это поверить. Но я одно знаю: пусть это фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошибка в сто раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения. И в сто раз нужнее всем нам».

Они обошли меня с двух сторон и пошли спускаться по лестнице, а я говорил им вслед. А может быть, и не говорил, может быть, только думал. Вы сейчас послали его на крест. Вы замарали свою совесть на всю свою оставшуюся жизнь. Наступит время, и вы волосы будете на себе рвать, вспоминая этот день, — как вы оставили его одного в кабинете, раздавленного и одинокого, а сами нырнули в эту толпу, где все вам подхалимски улыбаются и молодцевато отдают честь...

И с лютым наслаждением ловил я токи растерянности, недоумения и недовольства собой, исходящие от их прямых спин и аккуратных вороних затылков.

20 июля. Половина шестого вечера

Подуспокоив нервы, отправился к Г. А. посмотреть, как он там. Все наши уже сидели у него. Серафима Петровна принесла плюшки. Мы пили чай и молчали. Иришка как-то странно на меня посматривала, а Зойка все время подкладывала мне плюшки. Видимо, они все-таки елышали, как я орал на Первого. А может быть, ничего они не слышали, а просто вид у меня был недостаточно успокоенный.

Потом Г. А. посмотрел на часы и включил телевизор. Оказывается, голова наш Петр Викторович вознамерился сегодня, на неделю раньше срока, выступить с ежемесячным обращением к своему городу.

Обычная двадцатиминутная речь. Как всегда жовиален, прост, округл, хитроват и задушевен. Наши немалые дости-

жения и главным образом наши недоделки, недостатки и недодумки. Средства освоены, с одной стороны, сроки не выдерживаются, с другой стороны; приток валюты, с одной стороны, отток квалифицированной рабочей силы, с другой стороны; не умеем еще как следует работать, с одной стороны, отдыхать совершенно разучились, с другой стороны...

И только в самом конце, без особого нажима, как о делах, всем хорошо известных, а потому не требующих никаких специальных пояснений, — сначала о работе санэпидслужбы города (недостаточный надзор за очистными сооружениями, успешная ликвидация сезонной эпизоотии у сусликов), и только потом уже наконец: «В окрестностях города у нас который год регулярно возникает нездоровая в гигиеническом отношении обстановка, особенно на десятом километре, в излучине Ташлицы. Не могу сказать, что мы ничего не предпринимали. Уговаривали, предупреждали, вели разъяснительную работу. К сожалению, безуспешно. Васька, понимаете ли, слушает, но по-прежнему ест. Все необходимые меры мы уже давно подготовили. Упрекнуть нас ни в чем нельзя, разве что в излишней неторопливости, которая происходила от нашей излишней, может быть, терпимости. Могу сообщить, что сегодня нами сделано последнее и окончательное предупреждение. Всякому терпению приходит конец, и у нашего города терпения больше нет». И снова — об осушении Ереминского болота, о мерах против бродячих животных, еще минуту для жовиальности и простодушия и: «До следующей встречи, спасибо за внимание».

Вот так. Спасибо тебе, Петр Викторович. «На мэра надейся, но и сам не плошай... Кто за доброе дело, тот мой союзник».

Г. А. выключил телевизор. На нас он не глядел, и мне подумалось, что ему стыдно сейчас глядеть на нас, своих учеников. За все человечество перед нами стыдно. Мне, во всяком случае, было стыдно, и я старался ни на кого не глядеть — только на Г. А., да и то исподлобья.

Тут Г. А. пододвинул к себе телефон и набрал номер. На экранчике появился Михайла Тарасович, вяловатый и безмятежный. Вид у него был такой, словно его грубо оторвали от заслуженного отдыха. Впрочем, обнаружив, кто его беспокоит, он очень натурально обрадовался, приветствовал Г. А. шумно и многословно и тут же принялся с добродушной укоризной высказывать свое мнение по поводу вчерашней статьи.

Г. А. прервал его немедленно. Что же это такое? Значит, завтра все-таки акция? Михайла Тарасович подувал и со вздохом развел руки: что поделаешь, такова жизнь. Г. А. сказал очень резко: «Как же вам не стыдно? Вы же обещали!» Михайла Тарасович перестал улыбаться и сказал заносчиво: «Что это я вам обещал? Ничего я вам не обещал!»

Г. А. Стыдно, Кроманов. Стыдно! Перед людьми за вас стыдно! А что будет, если я расскажу всем о нашей договоренности?

М. Т. О какой еще такой договоренности? Не было никакой договоренности... Вы, Георгий Анатольевич, говорите, да не заговаривайтесь. Я при исполнении служебных обязанностей. Я вам не кто-нибудь, я в договоренности с частными лицами не вступаю!

Г. А. молча глядит на него, приспустив набрякшие веки, и чем дольше он глядит, тем более каменеет и бронзовеет Михайла Тарасович, превращаясь уже не просто даже в образцового начальника гормилиции, а в памятник образцовому начальнику гормилиции.

М. Т. (чеканит): Я бы попросил вас не забываться. Намеков и оскорблений я терпеть не намерен. Пусть вы даже и заслуженный человек, но тогда тем более извольте знать меру и понимать порядок...

И еще что-то в этом же роде. исполненное достоинства и служебной добродетели самой высокой пробы.

Г. А. все молчит. Он уже не просто глядит на него, а откровенно его рассматривает. И Михайла Тарасович не выдерживает этого рассматривания. Он приостанавливает свои речи, надувает щеки и медленно выпускает воздух.

М. Т. (тоном ниже): В вашем положении я бы вообще, извините за выражение, помалкивал. Договоренность... Какая может быть в таких делах договоренность? Я ведь, знаете ли, мог бы и дело против вас возбудить!.. Соккрытие информации, важной для следствия... пособничество преступлению, между прочим... укрывательство. если угодно! Это все, знаете ли, не шутки. Тут не только депутатского мандата, тут всего можно лишиться...

Он отводит глаза, потом бегло взглядывает на Г. А., потом снова отводит глаза и произносит совсем уже миролюбиво:

— Да не переживайте вы так, Георгий Анатольевич! Ничего там страшного не будет в этой операции. Главные хулиганы у меня посажены, по закону сорок восемь часов

будут сидеть как миленькие. Личный состав проинструктирован, эксцессы будем пресекать в зародыше... Что ты, в самом деле, Георгий Анатольевич? Мне же самому нужно, чтобы все прошло гладко, без драки, без крови... Неужели ты не понимаешь?

Г. А. выключает телефон.

Он оглядел нас всех по очереди очень внимательно, словно надеялся обнаружить в нас что-нибудь обнадеживающее, не обнаружил и сказал:

— Все. Вот теперь уж окончательно все. «...Всегдашний прием плохих правительств — пресекая следствие зла, усиливать его причины». Откуда?

— Ключевский, — сейчас же ответил Аскольд.

— Правильно, — проговорил Г. А. уже рассеянно. — Впрочем, один шанс у нас еще остался...

Он набрал какой-то номер, и на экране возникла недовольная старуха. Г. А. кротко поздоровался с нею и попросил к телефону Гарика. Через десять секунд на экране возник Гарик. Это был тот самый зеленый куст, который давеча прибегал в лицей с репьями в голове. Произошел примерно следующий разговор.

Г. А. Гарик, мне надо срочно увидеть нуси.

Гарик. Нуси в ложе.

Г. А. Пусть придет, когда выцветет.

Гарик. Он выцветет к дождеванию.

Г. А. Скажи, чтобы пришел как можно скорее. Я буду его ждать.

Гарик. Трава на ветру (или что-то в этом роде).

Ребята из этого разговора не поняли ничего. Никто из них не был во Флоре, никто не знал, кто такой нуси, но я-то знал и, хотя жаргона не разобрал, догадался, что Г. А. вызывает к себе главаря Флоры, скорее всего — чтобы уговорить Флору сняться и уйти до утра. Действительно, это и есть, наверное, последний шанс. И самый лучший выход — и для них, и для нас, и для всего города. Только уж больно мал этот последний шанс. Если бы это было так просто — уговорить их уйти, — Г. А. давным-давно бы их уговорил.

Г. А. усталым и виноватым тоном попросил нас оставить его одного, и мы поднялись, чтобы уходить. И тут Аскольд вдруг спросил: «А как понимать все эти слова — про сокрытие информации, про преступление?» (Поразительно все-таки холодная задница, этот Аскольд!) Г. А. молчал так долго, что я решил, он вообще отвечать не будет. Но он

все-таки ответил. «Это надо понимать так, — сказал он, — что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников».

20 июля. Семь вечера

Потому что тогда он сразу переставал быть учителем. И в истории он как учитель уже не значился.

Хотел пойти поговорить с Ванькой Дроздовым и прочими — как они насчет завтрашнего? Пойдут все как один? С развернутыми знаменами? Может быть, еще и хлебнут для храбрости? Акция ведь все-таки — дело новое, непривычное!

Поздно спохватился. Перед лицеем уже никого нет, одни окурки катаются, да кучка добрых молодцев, окружив последний звонок, препираются, кому его отсюда тащить. И еще два стража порядка прохаживаются в отдалении. («В отдалении реяли кварталные».)

Появился Иракий Самсонович. Длинно и путано объясняет, что утром его не пропустили. Готовит на завтра хаши.

Объявилась библиотекарша. Сделала мне выговор, что не вернул на место сегодняшние газеты. Нагрубил ей. Хамло я этакое.

Тоскливо. Аскольда видеть не хочу. (Что дурно.) Зойка в миноре, а Иришка твердит как заклинание, что все будет хорошо.

Рукопись «ОЗ» (26—27)

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер и первый арабский халиф Абу-Бекр принялся приводить к исламу Аравийский полуостров.

Был некто Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раджаль или Раххаль, что означает «много ходящий пешком», «много путешествующий» или, говоря попросту, «бродяга», «шляющийся человек». Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда, жил при нем в Медине, читал Коран и утверждался в исламе. А потом Мухаммед послал его своим мис-

сионером и связником в Йемаму, к Мусейлиме, вождю и вероучителю племени Бену-Ханифа.

Конечно, в то время никто не называл Мусейлиму Мусейлимой. Все звали его тогда: почтенный Маслама, пророк Маслама и даже милостивый Маслама, то есть бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда своим собратом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны, однако имелись различия, которые, будучи применены к политической практике, развели собратьев настолько, что в Медине перестали называть Масламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Мусейлима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде «Масламышка задрипаный».

Раххаль выбрал Масламу. Он остался в Йемаме, в этой житнице Аравии, и сделался правой рукой Масламы, исполнителем самых деликатных поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами, которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Йемаму.

Слава о нем распространилась широко, но это была недобрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинуетя, а потому и преуспевает во зле. Сам Пророк незадолго до смерти говорил о Раххале как о человеке, зубы которого в огне превзойдут гору Оход. (Видимо, Оход был вулканом, и странную эту фразу надо понимать в том смысле, что, когда Раххаль будет гореть в аду, зубы его запылают пламенем вулканическим.)

Наследник Мухаммеда халиф Абу-Бекр в первую голову решил заняться усмирением Йемамы. Однако никакого боевого опыта у его военачальников тогда еще не было. Лихие кавалерийские наскоки Икримы ибн-Абу-Джахля, равно как и Шурхабиля ибн-Хасана были благополучно отбиты на границах, и тем не менее положение Йемамы сделалось тяжелым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн-Хасан, с востока — ал-Ала ибн-ал-Хидрими, с юга грозил подойти отбитый Икрима, а тут еще с севера обрушилась на Йемаму и дошла до самого харама (обиталища Масламы) христианская пророчица Саджах из Джезиры с двумя корпусами диких темимитов на конях и верблюдах.

Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу-Бекра в одинаковой степени. Она была христианка. Ислам ей был отвратителен, как святотатственное извращение учения

Христа. Она пришла в Йемаму за зерном и вообще за добычей.

Масламе удалось заключить с нею оборонительно-наступательный союз, хотя обе договаривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Йемамцы презрительно называли кочевников-темимитов «люди войлока», а темимиты говорили йемамцам-земледельцам: «Сидите в своей Йемаме и копайтесь в грязи. И первый, и последний из вас — рабы».

Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скабрёжном виде. Совершенно напрасно: Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни. Да и по возрасту, если уж на то пошло.

Не было скабрёжности в этой истории. Была любовь. Огромная, фантастическая, рухнувшая в одночасье на двух совершенно разных людей — на бешено фанатичную красавицу темимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, не верящего ни в бога, ни в дьявола Раххалья, друга, руководителя и клеветника самого Масламы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом-салуком (которого называли иногда вторым Антарой ибн-Шаддадом) в поэме «Мать запутанных созвездий», то есть «Полярная звезда». Текст поэмы, к сожалению, не дошел до нас.

Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север. То ли влюбленный дьявол Раххаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала ее присутствия в Месопотамии. Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того — в отсутствие своей предводительницы темимиты возмутились против него. Абу-Бекр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На Йемаму двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн-ал-Валида.

И тут на сцене появляется наш знакомец Муджжа ибн-Мурара. Был он шерифом, то есть принадлежал к воинской знати Йемамы. И был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать — спихнуть Масламу и властвовать в Йемаме.

В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения Йемамы — с тем, чтобы по окончании всего Абу-Бекр сделал его, Муджжу ибн-Мурару, там заместителем.

Этот план предусматривал не только хитроумное удале-

ние от войска йемамцев дьявола Раххалия в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побежденных после окончания военных действий. Раххалия предстояло удалить с помощью подложной записочки от его возлюбленной Саджах (а может быть, и подлинной, кто знает?). Сам Муджжа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестоким Халидом: он будет ходить закованным в кандалы, полумертвым от голода и жажды, а в нужный момент он «обманет» Халида, и Халид «попадется» на этот обман, и слава Муджжи ибн-Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть свирепого полководца, широко распространится по всей поверженной Йеме, и все Бену-Ханифа будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки.

Все прошло как по маслу. То есть замысел Муджжи реализовался целиком и полностью.

Правда, отсутствие Раххалия, противу всяких ожиданий, никакой особенной роли не сыграло. И в битве под Акрабой, и при взятии харама Масламы йемамцы бились бешено и неистово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. Мать Хабиба (которому Раххаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионско-диверсионные дела), давшая клятву, что не будет мыться, пока не будет убит проклятый Мусейлима, дралась как безумная и в битве за харам потеряла руку и получила двенадцать боевых ранений. Шурхабиль, сын Масламы, перед боем призвавший войско сражаться за своих жен и за свою честь — о вере он упомянуть забыл, — так вот Шурхабиль задохнулся насмерть под грудой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше «бешеный и горячий» Бара ибн-Малик при взятии харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену харама — там, окруженный воющей толпой йемамцев, он как безумный пробился к воротам, впустил внутрь харама свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство...

В этих сражениях полегло десять тысяч йемамцев. Как военная сила Бену-Ханифа перестали существовать. Но и потери мусульман были ужасны: список одних только знатных, погибших на поле боя, достигает тысячи двухсот человек.

Муджжа ибн-Мурара исправно разыгрывал свою роль. Изможденный и несчастный, лязгая кандалами, подталки-

ваемый в спину ножами жестоких конвойных, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида. Он опознал труп Мухаккима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы — Шурхабиля. И конечно же он опознал труп Раххаля, так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Йемаме.

Над телом Масламы, малорослого, желтого, тупоносого человечка, между Муджжой и Халидом при большом стечении свидетелей произошел следующий диалог.

— Вот это и есть главный враг ислама, — объявил Муджжа. — Теперь вы избавились от него.

— Быть того не может! — с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Халид. — Неужели этот облезлый привел вас туда, куда он вас привел?

— Да, именно так оно и случилось, Халид, — сказал Муджжа сокрушенно. Но тут же гордо выпрямился и произнес на всю округу: — Однако, клянусь богом, не радуйся слишком рано. Пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых, а по-настоящему опытные ждут тебя в крепостях, и с ними тебе непросто будет справиться.

И действительно, когда Халид подступил к Хаджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах — весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле это все были женщины да подростки, настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось.

Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, спросил: «Что скажете, почтенные?» Почтенные тут же высказались в том смысле, что, мол, хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно: желтое и белое (золото и серебро) — все, какое есть; кольчуги и кони — все, какие есть; а от пленных — только половину.

Переговоры начались. Муджжа выступил делегатом от Халида, и все закончилось даже легче, чем опасались в Хаджре. И наконец, последняя сцена.

Ворота крепости распахиваются, Халид входит в город, и очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади, полной народа, Халид в великолепной ярости топает ногами, хватается за саблю и орет на Муджжу: «Ты обманул меня!» — а тот, изможденный, но гордый, высоко поднимает голову и отвечает в том смыс-

ле, что да, обманул, однако поступил так исключительно во имя и ради своего народа. Буря восторгов. Все валятся ниц. Занавес.

О дальнейшей судьбе Мудджи ибн-Мурары известно немного. Он болсе или менее благополучно правил Йемамой, обращенной в ислам, исправно платил подати халифу и железной рукой подавлял беспорядки. Умер он как-то странно. Существует версия, будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти. И действительно, в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях зарезанным. Кто его зарезал и почему — осталось тайной. Знающие люди связывали это убийство с претензиями Мудджи возглавить поход мусульман на Египет.

27. Саджах.

О Саджах!

Саджах из Джезиры!

Грудь твою...

Получив записку, Раххаль не размышлял и минуты. Записка была на арамейском: «Любимый! Я жду тебя в Басре. Спешь, ибо ты можешь опоздать». Четыре месяца он ждал этого зова и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он встал и вышел из шатра. Военный совет остался у него за спиной. Он уже забыл о нем. Он распорядился вполголоса. Верблюдов снаряжали целую вечность. Наконец доложили, что все готово, он принял из рук Молчаливого Барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам приторочил к седлу Белобрюхого.

Через десять минут Акраба, спящая армия и поле завтрашной битвы остались у него за спиной. Он уже забыл о них. До Басры было тридцать караванных переходов. Следовало пройти этот путь за десять суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного. Под ними были лучшие дромадеры Аравии, и всадники были лучшими в Аравии: двадцать бывших таридов, изгоев без роду и племени, двадцать телохранителей, двадцать поэтов, двадцать побратимов, преданных друг другу до последнего и почитающих его, Раххалья, как самого бога. А может быть — как дьявола. Они никогда ни о чем не спрашивали его, как никогда и ни о чем не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях.

Он был безумен. Любовь старого человека производит обычно впечатление несколько комическое. Тем летом Рах-

халю исполнилось шестьсот тридцать четыре года. Любовное же безумие старика не способно вызвать уже ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. Раххаль сейчас был неудержим, ничто не могло его остановить. Ни войско, ни самум, ни землетрясение. Ни даже море. Ни даже смерть. Так, по крайней мере, он ощущал себя. Он сам был страшнее любого самума, землетрясения или смерти. Его снова назвали любимым, и он рисковал опоздать.

Саджах.

О Саджах!

Саджах Месопотамская!

Бедра твои...

(С непривычно и неприятно стесненным сердцем следил я украдкой за Агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатушке, то и дело сшибая плечом со стены развешанное оружие, с хрустом выкручивает себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упершись слабыми ручками в косяки, то с размаху кидается в мое колченогое кресло у стола и колотит кулачками по столешнице рядом с иззубренным йеменским мечом Мудджи ибн-Мурары, маленький, нелепый, безобразный. — и говорит, говорит, говорит...)

Отряд стремительно мчался по пустыне, и шайки разбойных темимитов, уже нацелившиеся было наброситься, в ужасе разворачивали коней и словно стаи вспугнутых уток опрометью разлетались кто куда.

Басра.

Ее здесь нет уже. Был бой, персы отбросили ее, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умиравший от ран танухид клянется богом своего племени: ушла на Хиру, здорова, прекрасна, но не весела. Неужели опоздал? Неужели я нужен был ей здесь, под Басрой? Проклятые персы!

Купцы каравана, попавшегося под ноги, валяются ничком на раскаленный песок, в мыслях своих расставшись уже и с желтым, и с белым, и с мягким, и с сухим, и с жидким, и с самую жизнью в придачу. Некогда! Потом, братья, потом! Вперед!

Хира.

Она была здесь. Еще дымятся развалины гарнизонной казармы, еще причитают, исходя проклятиями, женщины на порогах своих глинобитных халуп, вывернутых наизнанку, еще болтается веревка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского попа, знаменитого звер-

скими своими расправами над несторианами... Слава всем богам, удача сопутствовала ей здесь, она разгромила ромеев и пошла на Алеппо... Куда? На Алеппо? Она тоже обезумела. С толпой дикарей она одна идет на всю мощь ромеев! Несомненно, это любовная тоска. Он понимает ее. Она готова сейчас грызть железо только потому, что любимого нет рядом с нею. Он вспоминает: лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов — словно табуны диких жеребцов сутки напролет дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска Саджах. А любимый слишком медлителен, он еле ползет по бесконечным пескам... Коней! Где взять коней?

В двух переходах от Хиры он натывается на кочевье неизвестного племени. Кони. Много коней. Но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много и они могут сделать выгодный обмен. Тем хуже для них, потому что торговаться некогда. Это неизвестное племя — оно навсегда останется неизвестным, больше о нем никто никогда не услышит. А мы сохраним в сердцах наших брата Шарана, брата Серого и брата Хасана Беззубого. Не хоронить! Некогда! Вперед!

Сиффин.

Она не дошла до Алеппо. Под Сиффином ее встретила бригада панцирной кавалерии под командованием генерала Аммона и пресвитора Евпраксия. Они убили ее. Им удалось взять ее живой, и вот здесь, на Бараньем Лбу, пресвитор Евпраксий предал ее ужасной смерти как еретичку и лжепророчицу.

Саджах.

О Саджах!

Саджах, дочь танух и тамим!

Лоно твое...

Тысячи и тысячи женщин были у него, он никогда не был аскетом, он был лакомка, он и сейчас не пройдет мимо сдобной булочки, несмотря на годы свои и на свою невзрачную внешность. Почему же из этих тысяч и тысяч всегда глодала его душу, мучительно гложет сейчас и, видно, вечно будет глодать память о ней одной? Почему эта любовь так болит? Ведь ее давно нет, она была тринадцать веков назад! Почему же так мучительно ноет, ломит и саднит она, словно мочка отрубленного уха в дурную погоду?

О Саджах.

Насмерть перепуганный сиффинец не только показал,

по какой дороге ушли ромеи, но и согласился быть проводником. Уже на третий день Раххаль увидел дымы их костров. Дальше все было делом техники. На рассвете четвертого дня они уже скакали назад. Рядом с Молчаливым Барсом перекинутый через спину подсаженного жеребца дергался и мычал ковровый мешок, содержащий в себе пресвитора Евпраксия (взятого в полевом нужнике со спущенными штанами).

На Бараньем Лбу в присутствии стонущих от ужаса свидетелей гибели Саджах проделал Раххаль с пресвитором все то, что было проделано с любимой. Разумеется, с необходимой поправкой на мужские статьи. Пресвитор Евпраксий кричал, не переставая, все два часа. Раххаль не слышал его. Чувства в нем отключились. Он только вспоминал.

Губы твои...

Глаза твои...

Что же все-таки произошло на самом деле с этой достопамятной запиской? Может быть, следует поверить появившимся позднее слухам о том, что записка была подложной, — умный враг состряпал ее для того, чтобы в нужный момент заставить грозного дьявола бросить все и умчаться на север, где никто не ждал его и где никому он не был нужен? Ведь и действительно, если судить по всем действиям Саджах, она к тому времени уже напрочь выбросила бывшего возлюбленного из головы и сердца и жила в свое удовольствие — лихо, дерзко, кроваво. Ей и в голову не могло прийти, что он спешит к ней, а потому и не было от нее к Раххалю ни связных, ни гонцов, ни пересельщиков. И только в любовном своем безумии способен был объяснить хитрый многоопытный осторожный Раххаль поступки ее, как любовное безумие хитрой многоопытной осторожной вительницы.

Гипотеза о подложной записке долгое время утешала его. Из этой гипотезы следовало, что она вовсе и не ждала его помощи, нисколько не рассчитывала на него и в последние страшные минуты свои не искала сквозь кровавый туман на горизонте блеска его сабель. И тогда можно было проклинать злобного врага, подсунувшего ему эту фальшивку, только за то, что фальшивка была подсунута слишком поздно. Ведь получи ее Раххаль хотя бы тремя днями раньше, все обернулось бы по-другому.

Ну конечно же возлюбленный у нее был. Трезвой частью своего существа он сознавал, он знал наверняка, что воз-

любленный был — молодой, горячий, неутомимый. Людская молва называла одного абиссинца, старшего сына смельчака Вахши ибн-Харба, того самого, что зарубил Масламу на пороге харама. Однако Раххаль не мог ревновать. Он точно знал: абиссинец дрался за Саджах до последнего своего вздоха — утыканный ромейскими стрелами, иссеченный ромейскими мечами, проткнутый ромейскими пиками, залитый своей и чужой кровью так, что не видно было ни одежды его, ни лица.

А вот блестящий пустоголовый жеребец Бара ибн-Малик быть ее возлюбленным не мог. Это было совершенно невозможно. Не получалось по времени. Мудджа ибн-Мурара в своем мучительном предсмертном стремлении уколоть побольнее — солгал. Хотя, конечно, он точно рассчитал, что нельзя представить себе соперника, более достойного сжигающей ревности, нежели Бара ибн-Малик.

Да разве в сопернике дело? Какая разница — абиссинец, Бара ибн-Малик, еще кто-то, — они насчитывались десятками. Не было мужчины, который, увидев ее, не превратился бы в воспламененного леопарда. Ей оставалось только выбирать. И никак не Раххалю, прекрасно понимавшему свое физическое несовершенство, следовало угнетаться ревностью. Ему достаточно было и того, что Саджах выбрала его хотя бы на несколько дней...

Мудджа ибн-Мурара заскорузлым пальцем ткнул в затянувшуюся рану и сделал очень, очень больно. Потому что открылось, что письмо могло и не быть фальшивым. И вмиг воспламенившееся воображение нарисовало картину поистине адскую: молодой, ловкий наемный любовник, мастер и ходок, подосланный расчетливым негодяем, диктует задыхающейся от страсти Саджах, что ей надлежит сделать и что написать.

Почему эта мысль, такая простая, такая естественная, не пришла ему в голову тогда, тринадцать веков назад? Он бы нашел этого наемника. А сейчас даже глины не найти, в которую обратились его кости...

Уста твои, страстной неге навстречу раскрытые,
Лоно твое, как нехоженный луг, молодыми сочащийся травами.
Кипящая жизнью, нетронутая, нежная мякоть груди,
И затуманенный взгляд призывающий твой...

(Я смотрел, как он плачет мутными старческими слезами, и поражался ему, и не понимал его, и думал: нет, видно,

никогда не распадается цепь времен, ибо воистину как смерть крепка любовь, люта как преисподняя ревность, и стрелы ее — стрелы огненные.)

28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа...

Дневник. 20 июля. Около полуночи

Странно, мы никогда не думали о семейной жизни Г. А. Знали понаслышке очень немного, и этого нам хватало вполне. Это было для нас неважно. Знали, что жена его умерла пятнадцать лет назад. Кажется, она была эпидемиологом, заразилась во время первой эпидемии «африканки» и погибла. Знали, что у него двое детей, сын и дочь, но где они, кто они — никого это не интересовало. Г. А. для нас всегда был Г. А. — одинокий, единственный и самодостаточный. Без приложений. Мы не нуждались ни в каких к нему приложениях. Наверное, они бы даже мешали нам.

Г. А. провожал нуси к выходу, а я подслушивал. Это был безнадежный конец какого-то безнадежного разговора. И нуси сказал: «Папа, зря ты меня позвал, и зря я к тебе пришел. У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас, папа, своя правда, а у нас — своя». Они говорили еще что-то, но я стоял как пыльным мешком трахнутый и ничего больше не слышал и не понимал. «Папа!» Понимаешь теперь, на что эти гниды намекали? Не знаю, что писать. В голове не помещается.

21 июля. Два часа ночи

Это ничего не значит. Во-первых, всегда можно сказать, что на детях гениев природа отдыхает. А во-вторых, если подумать, нуси-то ведь тоже учитель — и причем самого высокого класса! Держать в подчинении такое стадо, оплодотворить эту безмозглую пустыню идей.

Неужели Г. А. угадал, и они в конце концов заставят нас потесниться, будучи в полном праве, как равные, а в перспективе, может быть, — и в большинстве... Господи, бедный Г. А.

А может быть, не такой уж и бедный? Пусть даже это его педагогическая ошибка, но зато какая! Она равна открытию!

Гордись, Игорь Всеволодович, ты хорошо сказал сегод-

ня: «Если он даже ошибается, каждая его ошибка в сто раз значительнее и важнее, чем все ваши правильные решения».

«The uncommon man wants to leave a world different from what he found; a better, enriched by his personal creation. For this he is willing to sacrifice much or all of the happiness that the common man enjoys»*

Рукопись «ОЗ» (28—29)

28. Я ходил в сберкассау и проторчал там в очереди три четверти часа, до самого обеда.

Когда я вернулся, он уже сидел на кухне и хлебал из эмалированной миски югославский пакетный суп. Был он тощий, нелепый, угловатый, костлявый, с чешуйчатыми от грязи плоскостопными ножищами. Тонкая прыщавая шея, гигантский шмыгающий нос, выпученные глаза со слезой, скудный лобик под всклокоченной пегой шевелюрой. Дрисливый гусенок. Лет ему было, наверное, не более шестнадцати, голос у него ломался, а унылую физиономию его покрывали «бутон лямур».

Когда я вошел в кухню, он шарахнул в мою сторону паническим взглядом, но, не обнаружив, по-видимому, во мне никакой опасности, провел пальцем под носом и снова вернулся к хлебову. Я только глянул на его неопиcуемый бурнус и сразу понял, где источник того странного запаха, который я почувствовал еще в прихожей. Этот бурнус не стирали. Никогда. И не снимали тоже. Его только носили. И днем и ночью. В нем даже наверняка ни разу не тонули.

— Кто таков? — спросил я грозно.

Бригада моя, сочувственно окружавшая носителя бурнуса, безмолвствовала — как мне показалось, трусливо и виновато.

— Кто впустил? — продолжал я, беря тоном выше. — Почему не сделали санобработку? Инструкция не для вас писана? По холере соскучились?

Кто его впустил — так и осталось неизвестным. В конце

* «Незаурядный человек хочет оставить по себе мир иным, нежели тот, в который он явился, — лучшим, обогащенным его собственным творчеством. Для этого он готов пожертвовать большей частью радостей или даже всеми радостями, которыми наслаждается человек заурядный» (англ.).

концов, может быть, и на самом деле никто не впускал, а просто внесло его в нашу прихожую — и всех делов. Бывали такие случаи. И не раз. А вот пакетным супом (овошным со специями, тридцать семь копеек пакет, счет прилагается) его накормил сердобольный Марек Парасюхин, в коем, как известно, всегда сочетались нордическое милосердие и славянская широта натуры.

Дохлабав угощение до последней капли, он вылизал миску, да так быстро и ловко, что мы и рук протянуть не успели, а она уже была как новенькая. Потом он принялся говорить — так же торопливо, жадно, брызгаясь и захлебываясь, как только что ел.

Вначале, кроме постоянно повторяющейся просьбы оставить здесь и спрятать, мы ничего не понимали. Какие-то жалобы. Что-то там у него было с родителями, то ли мать померла, рожая его, то ли сам он чуть не помер при родах... отец был богатый, а денег на него совсем не давал... И все его били. Всегда. Пока он был маленький, его били ребятишки. Когда он подрос, за него взялись взрослые. Его обзывали: выблядком, тухляком, говешкой, прорвой ненасытной, мосолыгой, идиотом, говночистом, говнодралом и говноедом, сирийской рыбой, римской смазкой, египетским котом, шавкой, сязкой и зелепухой, колодой, дубиной и длинным колом... Девицы не хотели иметь с ним дела. Никакого. Никогда. Даже киликийские шлюхи. И все время хотелось есть. Он съел даже протухшую рыбу, которую подсунили ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже свинину ел, если хотите знать... Ничего не было для него в этом мире. Ни еды. Ни женщин. Ни дружбы. Ни даже простого доброго слова...

И вот появился Рабби.

Рабби положил руку ему на голову, узкую чистую руку без колец и браслетов, и он почему-то сразу понял, что эта рука не вцепится ему в волосы и не ударит его лицом о выставленное колено. Эта рука источала добро и любовь. Оказывается, в этом мире еще оставались добро и любовь.

Рабби заглянул ему в глаза и заговорил. Он не помнит, что сказал ему Рабби. Рабби замечательно говорил. Всегда так складно, так гладко, так красиво, но он никогда не понимал, о чем речь, и не способен был запомнить ни слова. А может быть, там и не было слов? Может быть, была только музыка, настойчиво напоминавшая, что есть, есть, есть в этом мире и добро, и дружба, и доверие, и красота...

Конечно, среди учеников он оказался самым распослед-

ним. Все его гоняли. То за водой, то на рынок, то к ростовщику, то к старосте. Вскопай огород хозяину — он нас приютит. Омой ноги этой женщине — она нас накормила. Помоги рабам этого купца — он дал нам денег... Опасный Иоанн со своим вечным страшным кинжалом бросает ему сандалии — чтобы к утру починил! Ядовитый, как тухлая рыба, Фома для развлечения своего загадывает ему дурацкие загадки, а если не отгадаешь — «показывает Иерусалим». Спесивый и нудный Петр ежеутренне пристает с нравочениями, понять которые так же невозможно, как и речи Рабби, но только Рабби не сердится никогда, а Петр только и делает, что сердится да нудит. Сядет, бывало, утром на задах по большому делу, поставит перед собой и нудит, нудит, нудит... тужится, кряхтит и нудит.

И все равно — это было счастье. Ведь рядом всегда был Рабби, протяни руку — и коснешься его. Он потреплет тебя за ухо, и ты весь день счастлив, как птичка.

...Но когда они пришли в Иерусалим, сразу стало хуже. Он не понимал, что случилось, он видел только, что все сделались недовольны, а на чело Рабби пала тень тревоги и заботы. Что-то было не так. Что-то сделалось не так, как нужно. Что тут было поделывать? Он из кожи лез вон. Старался услужить каждому. В глаза заглядывал, чтобы угадать желание. Бросался по первому слову. И все равно подзатыльники сыпались градом, и больше не было шуток, даже дурацких и болезненных, а Рабби стал рассеян и совсем не замечал его. Все почему-то ждали Пасхи. И вот она настала.

Все переоделись в чистое (кроме него — у него не было чистого) и сели вечерять. Неторопливо беседовали, по очереди макали пасху в блюдо с медом, мир был за столом, и все любили друг друга, а Рабби молчал и был печален. Потом он вдруг заговорил, и речь его была полна горечи и тяжких предчувствий, не было в ней ничего о добре, о любви, о счастье, о красоте, а было что-то о предательстве, о недоверии, о злобе, о боли.

И все загомонили, сначала робко, с недоумением, а потом все громче, с обидой и даже с возмущением. «Да кто же? — раздавались голоса. — Скажи мне! Назови нам его тогда!» — а опасный Иоанн зашарил бешеными глазами по лицам и уже схватился за рукоять своего страшного ножа. А он тем временем украдкой, потому что очередь была не его, потянулся своим куском к блюду, и тут Рабби вдруг сказал про него: «Да вот хотя бы он» — и наступила тишина,

и все посмотрели на него, а он с перепугу уронил кусок в мед и отдернул руку.

Первым засмеялся Фома, потом вежливо захихикал Петр, культурно прикрывая ладонью волосатую пасть, а потом и Иоанн захохотал оглушительно, откинувшись назад всем телом и чуть не валясь со скамьи. И захохотали все. Им почему-то сделалось смешно, и даже Рабби улыбнулся, но улыбка его была бледна и печальна.

А он не смеялся. Сначала он испугался, он решил, что его сейчас накажут за то, что он полез к меду без очереди. Потом он сообразил, что его проступка даже не заметили. И тут же почему-то понял, что ничего смешного не происходит, а происходит страшное. Откуда у него взялось это понимание? Нсизвестно. Может, родилось оно от бледной и печальной улыбки Рабби. А может быть, это было просто звериное предчувствие беды.

Они отсмеялись, погалдели, настроение у всех поднялось, они все рады были, что Рабби впервые за неделю отпустил шутку и шутка оказалась столь удачной. Они доели пасху, и ему было велено убрать со стола, а сами стали укладываться на ночь. И вот, когда он мыл во дворике посуду, вышел к нему под звездное небо Рабби, присел рядом на перевернутый котел и заговорил с ним.

Рабби говорил долго, медленно, терпеливо, повторял снова и снова одно и то же: куда он должен будет сейчас пойти, кого спросить и, когда поставят его перед спрошенным, что надо будет рассказать и что делать дальше. Рабби говорил, а потом требовал, чтобы он повторил сказанное, чтобы он запомнил накрепко: куда, кого, что рассказать и что делать потом.

И когда, уже утром, он правильно и без запинки повторил приказание в третий раз, Рабби похвалил его и повел за собой обратно в помещение. И там, в помещении, Рабби громко, так, чтобы слышали те, кто не спал, и те, кто проснулся, велел ему взять корзину и сейчас же идти на рынок, чтобы купить еду на завтра, а правильное сказать — на сегодня, потому что утро уже наступило, — и дал ему денег, взявши их у Петра.

И он пошел по прохладным еще улицам города, в четвертый, в пятый и в шестой раз повторяя про себя: кого; что рассказать; что делать потом — и держал свой путь туда, куда ему было приказано, а вовсе не на рынок. И он удивлялся, почему черное, звериное предчувствие беды сейчас,

когда он выполняет приказание Рабби, не только не покидает его, но даже как будто усиливается с каждым шагом, и почему-то выдвинулись ему в уличных голубых тенях бешеные глаза опасного Иоанна и чудился леденящий отблеск на лезвии его длинного ножа...

Он пришел, куда ему было приказано, и спросил того, кого приказано было спросить, и сначала его не пускали, и мучительно долго томили в огромном, еле освещенном единственным факелом помещении, так что ноги его застыли на каменном полу, а потом повели куда-то, и он предстал, и без запинки, без единой ошибки (это было счастье!) проговорил все, что ему было приказано проговорить. И он увидел, как странная, противоестественная радость разгорается на холемом лице богатого человека, перед которым он стоял. Когда он закончил, его похвалили и сунули ему в руки мешочек с деньгами. Все было именно так, как предсказывал Рабби: похвалят, дадут денег — и вот он уже ведет стражников.

Солнце поднялось высоко, народу полно на улицах, и все расступаются перед ним, потому что за ним идут стражники. Все, как предсказывал Рабби, а беда все ближе и ближе, и ничего невозможно сделать, потому что все идет, как предсказывал Рабби, а значит — правильно.

Как было приказано, он оставил стражников на пороге, а сам вошел в дом. Все сидели за столом и слушали Рабби, а опасный Иоанн почему-то припал к Рабби, словно стараясь закрыть его грудь своим телом.

Войдя, он сказал, как было приказано: «Я пришел, Рабби» — и Рабби, ласково освободившись от рук Иоанна, поднялся и подошел к нему, и обнял его, и прижал к себе, и поцеловал, как иногo сына целует отец. И сейчас же в помещение ворвались стражники, а навстречу им с ужасающим ревом, прямо через стол, вылетел Иоанн с занесенным мечом, и начался бой.

Его сразу же сбили с ног и затоптали, и он впал в беспмятство, он ничего не видел и не слышал, а когда очнулся, то оказалось, что валяется он в углу жалкой грудой беспомощных костей, и каждая кость болела, а над ним сидел на корточках Петр, и больше в помещении никого не было, все было завалено битыми горшками, поломанной мебелью, растоптанной едой и обильно окроплено кровью, как на бойне.

Петр смотрел ему прямо в лицо, но словно бы не видел его, только судорожно кусал себе пальцы и бормотал, большей частью неразборчиво. «Делать-то теперь что? — бормо-

тал Петр, бессмысленно тараща глаза. — Мне-то теперь что делать? Куда мне-то теперь деваться?» А заметивши наконец, что он очнулся, схватил его обеими руками за шею и заорал в голос: «Ты сам их сюда привел, козий отброс, или тебе было велено? Говори!» — «Мне было велено», — ответил он. «А это откуда?» — заорал Петр еще пуще, тыча ему в лицо мешочек с деньгами. «Велено мне было», — сказал он в отчаянии. И тогда Петр отпустил его, поднялся и пошел вон, на ходу засовывая мешочек за пазуху, но на пороге приостановился, повернулся к нему и сказал, словно выплюнул: «Предатель вонючий, иуда!»

На этом месте рассказа наш гусенок внезапно оборвал себя на полуслове, весь затрясся и с ужасом уставился на дверь. Тут и мы всей бригадой тоже посмотрели на дверь. В дверях не было ничего особенного. Там стоял, держа портфель под мышкой, Агасфер Лукич и с неопределенным выражением на лице (то ли жалость написана была на этом лице, то ли печальное презрение, а может быть, и некая ностальгическая тоска) смотрел на гусенка и манил его к себе пальцем. И гусенок с грохотом обрушил все свои мослы на пол и на четвереньках пополз к его ногам, визгливо вскрикивая:

— Велено мне было! Велено! Он сам велел! И никому не велел говорить! Я бы сказал тебе, Опасный, но ведь он никому не велел говорить!..

— Встань, дристан, — сказал Агасфер Лукич. — Подбери сопли. Все давно прошло и забыто. Пошли. Он хочет тебя видеть.

29. Сегодня наступило наконец семнадцатое, но не семнадцатое ноября, а семнадцатое июля. Солнце ослепительное. Грязища под окнами высохла и превратилась в серую расстрескавшуюся твердь. Тополя на проспекте Труда клубятся зеленью, сережки с них уже осыпались. Жарко. В чем идти на улицу — непонятно. Самое летнее, что у меня есть, это нейлоновая майка и трусы.

Прямо с утра Парасюхин облачился в свой черный кожаный мундир ээсовского самокатчика (а также — патрона «Голубой устрицы») и пристал к Демиургу, чтобы тот откомандировал его в Мир Мечты. Мир — с большой буквы и Мечта — тоже с большой буквы. Трижды Демиург нарочито настырным, казенно-дидактическим тоном переспрашивал его: Мир чьей именно Мечты имеется в виду? Даже я, внутренне потешаясь над происходящим, почувал в этом настоя-

чивом переспрашивании какую-то угрозу, какой-то камень подводный, и некое смутное неприятное воспоминание шевельнулось во мне, я даже испытал что-то вроде опасения за нашего Парасюхина. Однако румяный болван не учуял ничего — со всей своей знаменитой нордической интуицией и со всем своим широко объявленным Внутренним Голосом. Он пер напролом: Мир только одной Мечты возможен, все остальное — либо миражи, либо происки... Мечта чистая, как чист хрустальный родник, нарождающийся в чистых глубинах чистой родины народа... его, парасюхинская, личная Мечта, она же мечта родов народных...

С тем он и был откомандирован. Вот уже скоро обедать пора, а его все нет.

Явилась пара абитуриентов. Юнец и юница, горячие комсомольские сердца. Оба в зеленых выгоревших комбинезонах, исполосованных надписями БАМСТРОЙ, ТАМСТРОЙ, СЯМСТРОЙ, такие-то годы (в том числе и 1997-й, что меня несколько удивило). Лица румянятся смущением и пылают энтузиазмом.

К стопам был повергнут проект «О лишении человечества страха». Фундамент и отец нашей цивилизации — страх... Совесть зачастую тоже базируется на страхе... и тому подобное. Вообще весь проект построен на микроскопическом личном опыте и на вычитанной где-то фразе: «Поскребите любое дурное свойство человека, и выльнет его основа — страх». (Сказано в манере Бернарда Шоу, но это не Бернард Шоу.) Страх сковывает и угнетает: чувство справедливости, прямоту-честность-откровенность, гордость сюда же, собственное достоинство, принципиальность...

Демиург запутал их играючи. Нельзя ведь отрицать, что страх сковывает и угнетает также: садизм-мазохизм, стремление к легкой наживе, склонность к лжесвидетельству, мстительность, агрессивность, потребительское отношение к чужой жизни, склонность к анонимкам, идиотскую принципиальность... Кроме того, если поскристи кое-какие ДОБРЫЕ свойства кое-каких людей, то и в этом случае частенько вылезает наружу все тот же страх... Впрочем, сама по себе мысль не дурна, есть о чем поразмыслить, однако требуется тщательная и всесторонняя доработка. Проводить! Угостить нашим морсом! Подать пальто!

Какие пальто в середине июля. Я повел их на кухню поить морсом, и тут объявился Парасюхин.

Он обвалился в коридоре, как пласт штукатурки с потоло-

ка, и огромным мешком с костями дробно обрушился на линолеум. Я только рот разинул, а он уже собрал к себе все свои руки-ноги, заслонился растопыренными ладонями, локтями и даже коленями и в таком виде вжался в стену, блестя сквозь пальцы вытаращенным глазом. Волна зловония распространилась по коридору — то ли он обгадился, то ли его недавно окунали в нужник, — я не стал разбираться. Я просто крикнул бригаду. Бригада набежала, и я распорядился. Парасюхина волоком поволокли в санобработку — Колпаков, как обычно, с молчаливой старательностью, Матвей Матвеевич — с визгливыми причитаниями, а Спиртов-Водкин — поливая окрестности сквернословием, словно одержимый болезнью де ля Туретта.

И вот тогда-то я осознал наконец смутные свои опасения, отчетливо и в деталях вспомнив о своем собственном печальном опыте в Мире Мечты Матвея Матвеевича Гершковича...

Мир Мечты, назидательно сказал я юнице и юнцу, взиравшим на происходящее с трепетом и жадным любопытством, Мир Мечты — это дьявольски опасная и непростая штука. Конечно же, мечтать надо. Надо мечтать. Но далеко не всем и отнюдь не каждому. Есть люди, которым мечтать прямо-таки противопоказано. В особенности — о мирах.

Юнец с юницей меня не поняли, конечно. Да я и не собирался им что-либо втолковывать, я просто собирался напоить их морсом, что и сделал под разнообразные элоквенции, явственно доносящиеся из санпропускника.

А совсем уже к вечеру объявился Агасфер Лукич, и не один.

«Эссе хомо!» — провозгласил он, обнимая гостя за плечи и легонько подталкивая его ко мне. Гость растерянно улыбался — небольшого роста, ладный человек лет пятидесяти, в костюме странного покроя. На правой скуле его розовело что-то вроде пластыря, но не пластырь, а скорее остаток небрежно стертого грима. И с левой рукой у него было не все в порядке — она висела плетью и казалась укороченной, кончики пальцев едва виднелись из рукава.

Таким я увидел его в первый раз — немного растерянным, не вполне здоровым и очень заинтригованным.

— Прошу любить и жаловать. — произнес Агасфер Лукич весело. — Георгий Ана...

(Примечание Игоря В. Мыгарина. На этом рукопись «ОЗ» обрывается. Продолжения я никогда не видел и не знаю, су-

ществует ли оно. Скорее всего, весь дальнейший текст был изъят самим Г. А. — например, из соображений скромности. Я вполне допускаю, что вся изъятая часть рукописи посвящена главным образом Г. А. Разумеется, возможны и другие объяснения. Их даже несколько. Да только какой смысл приводить их здесь? Все они слишком уж неправдоподобны.)

Необходимое заключение

По понятным причинам на двадцатом дне июля мои записи прерываются и возобновляются уже только зимой. Прошло сорок лет, и я не способен сейчас подробно и связно изложить события утра двадцать первого июля. Почему мы все оказались рядом с Г. А. около его автомобиля в холодных предрассветных сумерках? Как ухитрились подняться в такую рань после треволнений предыдущего дня? Может быть, мы и вовсе не ложились? Может быть, мы догадывались, какое решение примет Г. А., и всю ночь дежурили, чтобы не упустить его одного? Не помню.

Помню, что сразу же сел за руль.

Помню, как Г. А. непривычно грозным и повелительным голосом объявляет, что девочки не поедут никуда.

Помню, как Зойка без кровинки в лице кусает себе пальцы, запустив их кончики в рот, — словно в какой-то старинной мелодраме, ей-богу.

Помню, как Иришка рвется в машину, заливаясь громким плачем, и слезы у нее летят во все стороны, будто у ревушего младенца.

И очень хорошо помню Аскольдика — как он решительно выдвигается, крепко берет Иришку сзади за локти и успокаивающе сообщает Г. А.: «Не беспокойтесь, поезжайте, я ее придержу».

На всю жизнь я запомнил это: **ВЫ ПОЕЗЖАЙТЕ СЕБЕ, А Я ЕЕ ЗДЕСЬ ПРИДЕРЖУ.**

(Понимаю и догадываюсь, Аскольд Павлович, наверное, тебе очень неприятно читать сейчас эти твои слова. Допускаю даже, что ты за сорок лет успел совсем позабыть их. Допускаю даже, что ты в то время вообще не придавал им значения: слова как слова, не хуже других. Однако в свете того, что произошло потом, они звучат сейчас, согласись, достаточно одиозно. Что делать? Из песни слова не выкинешь. Да и кому это нужно — выкидывать слово из песни?)

Почти совсем не помню проезда нашего по городу. Смутно брезжит только в моей памяти ощущение недоумения по поводу того, что в такую рань на улицах так много народа.

Помню скотомогильник в предрассветных сумерках. Мне показалось тогда, что кости шевелятся, а черепа провозжают нас пустыми глазницами.

Флора не спала. Множество костров догорало, и бродили между кострищами понурые зябкис фигуры. Воняло пригорелой кашей, аптекой, волглым тряпьем. Запахи почему-то запомнились. Вот странно!

Г. А. подошел к самому большому костру и сел у огня. Рядом с нуси. Рядом со своим сыном. И сейчас же все вокруг заговорили. Ни одной фразы я не запомнил, тем более что говорили в общем-то на жаргоне, помню только, что это были жалобы и проклятья. Они проклинали Г. А. за ту беду, которую он на них накликал, и жаловались ему, как им страшно сейчас и обреченно. Г. А. молчал, он только обводил взглядом кричавших, плакавших, задышавшихся в истерике.

Потом все куда-то исчезли, и у костра нас осталось только трое, и нуси принялся уговаривать отца уйти, пока не поздно. Он говорил что-то о смысле и бессмыслице, что-то о судьбах и жертвах, что-то о надежде и отчаянии. Нормальным, я бы сказал даже — нормированным русским языком, безукоризненно чисто и правильно. Г. А. ответил ему: «У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас своя правда, у нас — своя» — и нуси ушел.

Помню, как мне было страшно. Зуб на зуб не попадал. Наверное, так чувствуют себя перед казнью. Ни одной жилки не было спокойной в моем теле. Г. А. обнял меня за плечи и прижал к себе. Он был горячий, надежный, твердый; и в то же время такой маленький, такой щуплый, такой незащищенный, и я впервые обнаружил, что я ведь на целую голову длиннее его и вдвое шире в плечах.

И тут у костра оказался этот толстенький, лысоватый, в дурацком костюмчике с дурацким разбухшим портфелем под мышкой.

(Я ведь и сейчас толком не понимаю, кто он такой, — то ли в самом деле выплыл из прошлого, то ли все-таки соскочил со страниц этой странной рукописи. Ощущаю я в нем какое-то беспощадное чудо, если только не примерещился он мне тогда у костра, потому что в то утро мне могло примерещиться и не такое. Тогда же, помнится, ни о какой

рукописи я и не подумал — был он для меня просто раздражающе чужаковатый и неуместный тип, не к месту и не ко времени прицепившийся к моему Г. А.)

Они поговорили о чем-то. Коротко и невнятно. Деталей не помню никаких. Помню только, что чужаковатый тип говорил голосом и тоном, совсем не подходящим ему ни по виду его, ни по ситуации. Ах, как жалею я сейчас, что не прислушался я тогда к их разговору. А запомнились мне лишь последние слова Г. А. — видимо, я тут же отнес их к самому себе: «Да перестаньте вы, в самом деле. Ну какой я вам терапевт? Я самый обыкновенный пациент...»

Солнце уже высунулось из-за холмов, и я увидел на западе, там, где проходила дорога, ярко и весело освещенную, желтую клубящуюся стену. Это была пыль. Колонна свернула с шоссе и двигалась к нам.

1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Хромая судьба

роман

5

1. Феликс Сорокин. Пурга
7
2. Банев. В кругу семьи и друзей
26
3. Феликс Сорокин. Приключение
62
4. Банев. Вундеркинды
83
5. Феликс Сорокин. «...и животноводство!»
123
6. Банев. Возбуждение к активности
147
7. Феликс Сорокин. «Изпитал»
188
8. Банев. Гадкие лебеди
218
9. Феликс Сорокин.
«...Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?»
260
10. Банев. Exodus
281

Отягощенные злом, или Сорок лет спустя

роман

305

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

Хромая судьба

роман

**Отягощенные злом,
или Сорок лет спустя**

роман

Иллюстрации *И.В.Варавина*

Оформление *А.Т.Яковлева*

Редактор *А.И.Мирер*

Художественный редактор *И. Г. Сауков*

Стругацкий А., Стругацкий Б.

С 87 **Хромая судьба: Роман. Отягощенные злом, или Сорок лет спустя: Роман.** — М.: Текст, ЭКСМО, 1997. — 479 с.

ISBN 5-7516-0083-5

В книгу вошли известнейший фантастический роман «Хромая судьба», а также последнее крупное произведение, написанное Стругацкими совместно, — фантастический роман «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя».

ББК 84 Р7-4

Лицензия № 063402 от 26.05.94

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 26.12.96. Формат 84×108^{1/32}. Усл. печ. л. 25,02.
Уч.-изд. л. 29,37. Тираж 20 000 экз. Изд. № 205. Заказ 2963.

Набор и оригинал-макет подготовлены издательством «Текст»
125190 Москва, А-190, а/я 89

Издание осуществлено при участии ЗАО Издательство «ЭКСМО»
123298 Москва, ул. Народного Ополчения, 38

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.





АРКАДИЙ
и
БОРИС
СТРУГАЦКИЕ
ОТЯГОЩЕННЫЕ
ЗЛОМ

